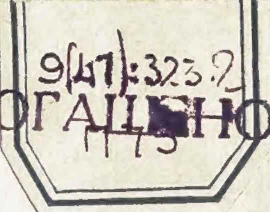
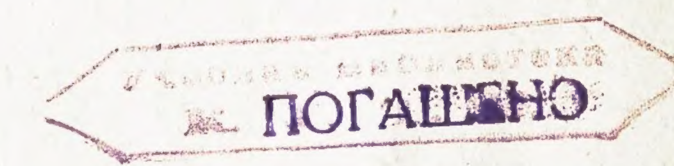
А. П. ПРИБЫЛЕВА-КОРБА



„НАРОДНАЯ ВОЛЯ"

ВОСПОМИНАНИЯ о 1870—1880-х г.г.

С приложением планов тюрем на Каре
и 4 портретов А. П. Прибылевой-Корба



1 9 2 6

Москва. Главлит № 63.744. 5.000 экз.

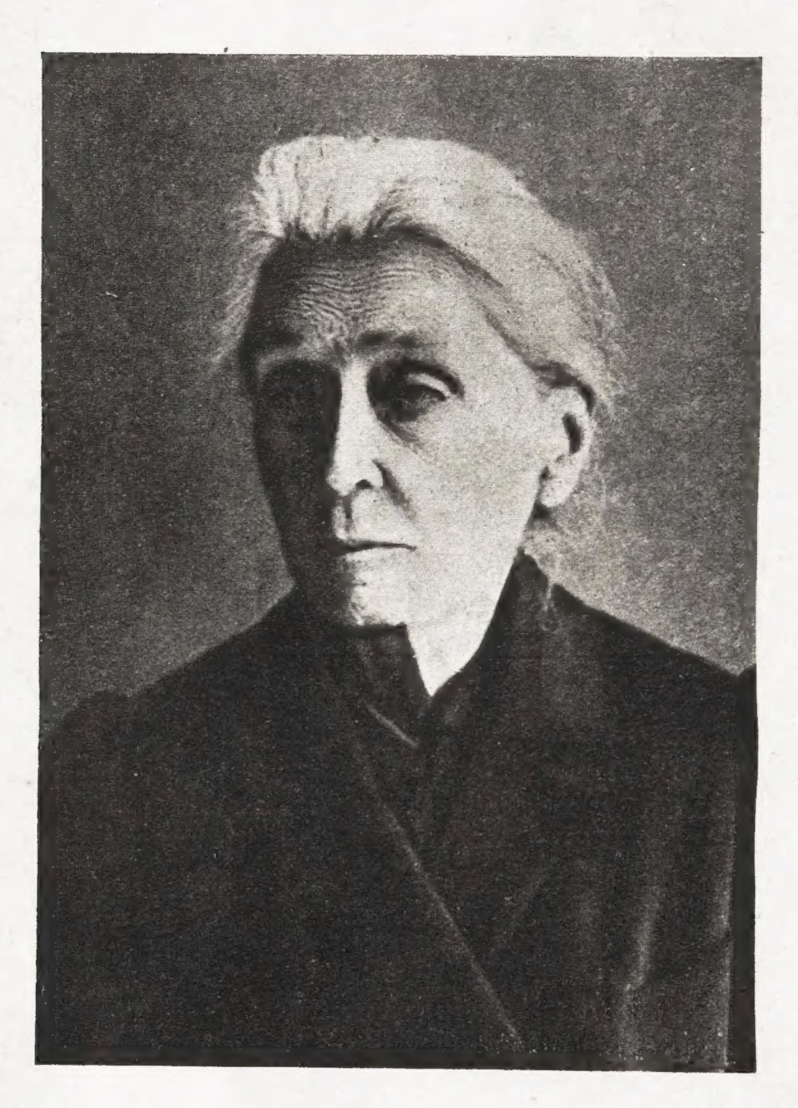
«Мосполиграф», 16-я тип., Трехпрудный, 9.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

К книге приложены 4 портрета А. П. Прибылевой-Корба.

ОПЕЧАТКИ:

Стр.	Строки	Напечатано	Нужно
133	7 снизу	А. М. Зунделевич	А. И. Зунделевич
146	25 „	С. П. Богда-	С. Б. Богда-



1925 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Статьи моего «Сборника» писались на протяжении 22 лет. Этот огромный срок зависел отчасти оттого, что мне всегда требовался внешний повод, чтобы я взялась за перо. С другой стороны, непомерно растянувшийся промежуток времени об'ясняется моими скитаниями после тюрьмы и каторги.

Первой из всех статей «Сборника» была написана статья о Дегаеве. Она возникла летом 1903 года вследствие призыва В. Л. Бурцева к товарищам в Сибири: «Пишите и пишите для будущей истории». В то время эпопея Дегаева была еще очень свежа в моей памяти, и прежде всего я принялась за нее.

Эту статью я писала в маленькой деревушке, расположенной против Сретенска, на правом берегу Шилки. Здесь я провела короткое сибирское лето с своей дочерью, тогда еще бывшей ребенком. Этой статье необычайно повезло. Когда она была окончена и погода стала нестерпимо холодной, я решила перебраться обратно в Сретенск. Через несколько дней после того ко мне пришла молодая девица, изучавшая медицину за границей, и спросила, не хочу ли я через нее послать что-либо Бурцеву в Женеву, куда она уезжает на другой же день. Нечего говорить, что это предложение доставило мне большое удовольствие.

Девица увезла мою рукопись и благополучно вручила ее Бурцеву, который вскоре напечатал ее в заграничном «Былом», которое он тогда издавал в Женеве.

Статье повезло еще в другом отношении. Она вызвала одобрение В. Г. Короленко, мнением которого я, разумеется, очень дорожила. Когда в 1919 году в Полтаве я пришла проститься с Владимиром Галактионовичем перед своим от'ездом в Харьков, он сказал мне: «Хорошо, что вы зашли; я хотел вам сказать, что на-днях я перечел еще раз вашу статью о Дегаеве, и опять она произвела на меня хорошее впечатление. Так надо писать биографии»,—добавил он.

Я привожу здесь этот отзыв В. Г. не из тщеславия, а потому, что память о его словах мне чрезвычайно дорога.

Прошло *три* года после того, как была написана статья о Дегаеве, и вместе с тем протекла целая эпоха русской истории.

Мы пережили начало забастовочного движения 1905 года в Одессе, всеобщую забастовку в Киеве, и здесь же дождались появления манифеста 17 октября и манифеста об амнистии для политических заключенных и ссыльных, были свидетелями возмутительного еврейского погрома.

Железнодорожное сообщение между Киевом и Москвою возобновилось 21 октября, и мы тотчас выехали в Москву. Здесь мы пережили знаменитое «московское восстание», расстрел Пресни, расправу с рабочими царского правительства и прочие ужасы.

Затем последовал расцвет борьбы с.-р.-овской партии с самодержавием.

Весной 1906 года приехал в Москву В. Л. Бурцев и посещал нас. Он убедил меня сотрудничать в «Былом», и тогда же мною были написаны статьи об Ал. Дм. Михайлове, о Желябове, о письме Исполнительного Комитета к Александру III и статья «По поводу процесса 17-ти».

В марте 1909 года произошел наш арест—Александра Васильевича и мой. Началось его заключение в Таганской тюрьме, я же была выпущена через сутки в виду того, что малолетняя дочь наша оставалась в квартире одна с прислугой. Мне дан был совет ликвидировать квартиру и имущество, так как департамент полиции решил не оставлять меня в Москве.

В июне состоялось мое переселение из Твери, куда я была выслана на два года, в Минусинск. Сюда же Александр Васильевич был выслан этапным порядком, при чем срок ссылки ему назначался пятилетний.

В мае 1911 года кончался срок моей высылки из столиц, и я решила поселиться с дочерью в Полтаве, где жил наш друг и товарищ по «Народной Воле» и ссылке—М. П. Орлов.

В начале 1912 года появились в «Русском Богатстве» по случаю годовщины смерти П. Ф. Якубовича сочувственные о нем статьи. Образ поэта-революционера, замученного Акатуйской тюрьмой, встал, как живой, в моем воспоминании. Я видела перед собой прекрасное лицо русского интеллигентного человека, для которого существует только одна цель в жизни, это—благо и счастье родного народа. Тогда я написала статью о П. Ф. Якубовиче, которая была напечатана в «Русском Богатстве».

Радушный прием, который статья встретила в редакции журнала, воодушевил меня на дальнейшую литературную работу. В ту же весну мною были приготовлены к печати статья о Мальшинском и критическая статья по поводу книги Богучарского о «Народной Воле».

В следующем году писались обе части «Воспоминаний о Каре». Первая часть их появилась в «Р. Б.» в 1913 году. Печатание второй части было отложено по моему желанию на неопределенное время.

Зиму 1916—17 г.г. мы прожили опять в Москве и здесь дождались февральской революции.

В Москве осенью 1916 года писались и были напечатаны в «Голосе Минувшего» мои «Воспоминания о «Народной Воле», а также была написана заметка под заглавием «Черта характера А. Ив. Желябова».

В 1918 году мы снова в Киеве, и здесь во время гражданской войны и стрельбы на улице, где мы жили, мною написана статья: «Исполнительный Комитет и учредительное собрание», напечатанная в «Былом» в том же году.

В 1919 году мы снова в Полтаве, и мною здесь написаны статьи: «Крестьянский сын, Н. И. Ананьин» и «А. О. и М. О. Сыцянки», которые теперь впервые печатаются.

В 1921 году мы переезжаем в Ленинград, где в 1922 году я пишу заметку «Легенда о С. Л. Перовской» и в 1923 году «Воспоминания о Желвакове и Емельянове», а также статью под заглавием «Аресты народовольцев в январе, феврале и марте 1880 года», разоблачающую предательства Окладского. Последние две статьи моего «Сборника» вызваны клеветническими выходками Л. Гр. Дейча против «Народной Воли».

Отдавая теперь свою книгу на суд читателей, я могу указать в ее пользу на одно несомненное ее качество—это не совсем обычная книга: в ее страницах хранятся обрывки жизни «Народной Воли» и ее работников.

А. Прибылева-Корба.

12 марта 1926 г.

I. Процесс „17-ти народовольцев“.

РЕЧЬ НА СУДЕ[1].

Виновною себя не признаю, но признаю принадлежность к партии и полную солидарность с ее принципами, целями и взглядами. Но партии, излюбленный путь которой есть кровавый путь, такой партии я не знаю, и вряд ли она существует, иначе мы слышали бы о ней. Может быть, такая партия и возникнет со временем, если революции суждено разлиться широким потоком по России. Но, если я буду жива к тому времени, я не примкну к такой партии.

Что же касается партии «Народной Воли», то она придерживается террора не потому, что это излюбленный ею путь, не потому, что это удобнейший или кратчайший путь для достижения целей, поставленных ей историческими условиями России, а потому, что это единственный путь. Горестные, роковые слова, носящие в себе залог величайших несчастий.

Г. г. сенаторы! Вам хорошо известны основные законы Российской империи. Никто в России не имеет права высказываться за изменение государственного строя; никто не может даже помыслить об этом; в России запрещены даже коллективные петиции. Но страна растет и развивается; условия общественной жизни усложняются с каждым годом; наступает момент, когда страна начинает задыхаться в узких рамках, из которых нет выхода...

Председатель: Это ваше личное мнение.

Я перейду теперь к целям партии. Историческая задача партии «Народной Воли» заключается в том, чтобы расширить эти рамки, добыть для народа самостоятельность и свободу. Тактика ее находится в непосредственной зависимости от правительства. Партия не стоит непреоборимо упорно за террор, рука, поднятая для нанесения удара, опустится немедленно, как только правительство заявит намерение изменить политические условия жизни страны. У партии достанет патриотического самоотвержения, чтобы отказаться от мести за кровавые раны, нанесенные ей лично. Но от чего она не может отказаться, не совершив предательства и измены против русского народа, это—от завоевания для него свободы и благосостояния.

---

[1] Напечатано в книге «Литература «Народной Воли».

В подтверждение того, что цели партии совершенно миролюбивы, я прошу прочесть письмо к императору Александру III от Исполнительного Комитета, написанное вскоре после 1 марта. Из него вы увидите, что партия желает реформ, но реформ искренних, полных, жизненных.

ПО ПОВОДУ ПРОЦЕССА „17-ТИ“ [1].

Еще в то время, когда мы, осужденные по процессу «17-ти», находились в Сибири, до нас доходили отрывочные и неясные сведения о том, что о нашем процессе циркулировали в 80-х годах неблагоприятные слухи, которые проникли в год нашего осуждения даже в народовольческую печать. Писать в Сибири по поводу нашего процесса, опровергать мнения, обидные для нас, но в то же время в наших глазах явно ошибочные, было невозможно по двум причинам. Во-первых, в Сибири мы никогда не имели уверенности, что написанное и отправленное дойдет по назначению. Письма нередко терялись где-нибудь на далеком пути; мы, по крайней мере, не получали ответных извещений о том, что посланное получено. Во-вторых, опровергать то, чего не знаешь в точности, не читал своими глазами, очень трудно, если не невозможно.

В настоящее время обстоятельства совершенно иные. Передо мною лежат подлинные страницы нелегальных изданий, в которых помещены упомянутые мною упреки по адресу судившихся в 1883 году; а также копии с гектографированного издания речей подсудимых.

Перечитывая эти копии, я признаю их, насколько я помню сказанное нами на суде, довольно достоверными, хотя и это я могу сказать только при оговорках самого серьезного свойства, которые я приведу позднее.

В № 1 «Листка Народной Воли», помеченном 20 июля 1883 г. и изданном в Петербурге, напечатано следующее:

«Широковещательные обещания, которые расточались направо и налево нечестивыми устами придворных старателей и полицией (в видах предотвращения непредполагавшегося даже покушения), могли вводить в заблуждение разве только очень наивных людей да лишенных возможности ориентироваться в действительности наших заключенных товарищей, *которых просили, даже умоляли, убедить нас—ничего не предпринимать* по случаю *коронации,* которым давали обещания относительно всеобщей политической амнистии и перемены политики в смысле простора для мирной социалистической деятельности.

---

[1] Напечатано в журнале «Былое», 1906 г., декабрь.

«Когда они нам писали об этом, мы отвечали им, что покушение все равно не предпринимается, но что их, тем не менее, бессовестно обманывают; что падающий порядок до того расшатан, что прибегает ко лжи, что в действительности можно ожидать от правительства только того, что мы высказали в брошюре, выпущенной по случаю коронации, то-есть ничего для мысли, свободы и чести и очень много для всего, им противоположного. Так все это и случилось. Конечно, чиновники получили много чинов, орденов и наград; купечество—льготы и привилегии».

Далее говорится о ряде правительственных действий, сопровождавших коронацию, и этим кончается статья.

Обращаю особенное внимание читателей на подчеркнутые строки и, вообще, на всю приведенную выписку. Она является одним из источников обвинений против нас и притом—первоначальным источником.

Мне придется сейчас сделать еще одну очень длинную выписку, но сократить ее невозможно, так как она содержит те обвинения, против которых мне приходится писать.

В № 1 «Вестника Народной Воли» (он издан был в Женеве в августе 1883 года) читаем:

«Речи некоторых подсудимых произвели на революционную среду тягостное впечатление какого-то крайнего компромисса с существующим строем и даже с самодержавной монархией. Многие невольно задают себе вопрос: неужели это действительно взгляды партии? И, если нет, то каким образом подсудимые со столь громкими именами могли высказываться в таком смысле публично? Мы считаем совершенно излишним напоминать читателям, что народовольчество резче, чем кто бы то ни было, отрицало способность русской монархии вести социальное возрождение русского народа. Но не лишне будет сказать, что едва ли и в среде подсудимых процесса «17-ти» могли существовать искренние мнения противоположного характера. Мы не хотим оправдывать наших судившихся товарищей и не думаем, чтобы они по своим соображениям о требованиях минуты имели какое-нибудь право высказывать мнения, идущие в разрез с мнениями партии. Но мы хотим только сказать, что, по нашему убеждению, они действовали именно не искренно, «политиканствовали». Смешно и преступно было бы допускать хоть малейшую мысль, что подсудимые могли в этом политиканстве руководиться какими-нибудь личными мотивами. Дело, разумеется, не в этом. Подсудимые полагали, что они действуют в интересах общественной пользы. Июльский (1883 г.) «Листок Народной Воли» говорит о «широковещательных обещаниях», которые ввели в обман «лишенных возможности ориентироваться в действительной жизни заключенных». Им обещали во время коронации «всеобщую амнистию политических преступлений и перемену политики в смысле простора для широкой социалистической деятельности», все это в случае, если не будет покушений

на жизнь царя. *И заключенные действительно «просили, даже умоляли ничего не предпринимать по случаю коронации»*. Нетрудно. догадаться, полагаем мы, что и поведение заключенных на суде определялось теми же обстоятельствами: подсудимые, очевидно, старались устроить для правительства золотой мост. Мы не говорим, что это хорошо. Напротив, самые элементарные правила партийной организации не допускают со стороны нескольких лиц такого распоряжения партийными принципами, и в данном случае подсудимые имеют против себя еще то отягчающее вину обстоятельство, что, по словам «Листка», вольные товарищи предупреждали их, что их, заключенных, «бессовестно обманывают», что «в действительности от правительства можно ожидать только того, что высказано в брошюре, выпущенной по случаю коронации, т.-е. ничего для мысли, свободы и чести и очень много для всего, им противоположного». Так говорили заключенным вольные товарищи их.

«Тяжело делать упреки людям, которые томятся в царских казематах и на каторге, но, задаваясь целью способствовать об'единению русских социально-революционных сил в одну могучую партию, мы не имеем права оставить со своей стороны без возражения крупную ошибку, совершенную, по нашему мнению, подсудимыми процесса «17-ти». Для того, чтобы создать партийную силу, нужно выше всего, выше всех расчетов минуты держать святыню своих принципов, и в такой же мере необходимо действовать не по личному усмотрению одного или нескольких отдельных лиц, а по соглашению общепартийному».

Если читатель прочел эту длинную выписку и подчеркнутые в ней слова, то он должен был заметить, что она сильно отличается от статьи в «Листке Н. В.». В «Листке Н. В.» не говорится, что «лишенные возможности ориентироваться заключенные товарищи» и есть судившиеся по процессу «17-ти»; тогда как «Вестник Нар. Воли» считает вопрос о том, кто эти «заключенные товарищи», не подлежащим оспариванию и прямо относит свои упреки к «осужденным по процессу 17-ти». В действительности же, в 1882 и 1883 годах до суда над нами и во время его в Доме предварительного заключения, кроме нас, было очень много политических заключенных, а поэтому с достоверностью нельзя сказать, о каких «заключенных товарищах» говорит «Листок».

Далее, в «Листке» говорится лишь о заключенных, *«которых просили, даже умоляли, убедить нас—ничего не предпринимать по случаю коронации»*, а в «Вестнике Н. В.» заявляется уже категорически, что *«заключенные действительно просили, даже умоляли—ничего не предпринимать по случаю коронации»*.

По словам «Листка», «заключенные писали товарищам, находящимся на воле, о предложениях правительства, и в ответ на это их известили, что «правительство их бессовестно обманывает». Если даже признать, что «заключенные товарищи», это—мы, судившиеся

по процессу «17-ти», то и тогда «Листок», собственно, ни в чем нас не обвиняет,—зато «Вестник Н. В.» идет гораздо далее. По его словам, «заключенные» «политиканствовали», «старались устроить для правительства золотой мост», и «имеют против себя еще то отягчающее вину обстоятельство, что вольные товарищи их предупреждали о том, что их бессовестно обманывают». И все эти *обвинения* выводятся яко бы из подлинных слов «Листка», который никаких обвинений «заключенным» не пред'являет.

В настоящее вреям трудно доискаться, каким образом произошла фальсификация отзыва об участниках процесса «17-ти» и кто истинный ее автор. Я допускаю, однако, возможность, что это был не кто иной, как Дегаев, уже состоявший в августе 1883 г., когда появился за границей «Вестник Н. В.», агентом охранного отделения и находившийся в это время в Петербурге. Меня побуждают так думать следующие соображения. Весь этот инцидент с обвинением нас является чем-то неслыханным в революционной среде. Небывалая вещь, чтобы на основании ложных, непроверенных данных революционеры предали публичному осуждению своих товарищей, только-что приговоренных к смерти, замурованных навсегда в крепости или отправленных на каторгу! Подобное явление вовсе не вяжется с нравами русских революционеров. Тем более оно непонятно, что в революционной среде у нас, осужденных по процессу «17-ти», не было личных врагов; напротив того, заграничные наши товарищи, народовольцы-эмигранты, были для большинства из нас личными друзьями, связанными с нами узами уважения и симпатии. Если они решились напечатать о нас отзыв, заключавший по нашему адресу тяжкие обвинения, то это значит, что в их руках были «доказательства» нашей мнимой виновности, в которые они безусловно верили. Возможно, что вся статья в «Вестнике» написана самим Дегаевым, уже бывшим в то время предателем и тайным полицейским агентом. Я думаю, что в то время только Дегаев мог передернуть фразу «заключенных просили, даже умоляли»... в фразу: «заключенные просили, даже умоляли»... и т. д.

Легко понять, какая громадная услуга была оказана правительству статьей в «Вестнике Н. В.»! Оно только-что проглотило живьем более десятка людей и готовилось их переваривать на досуге. Но для него важно было, чтобы смерть их прошла бесследно для России и чтобы имена этих людей забылись, или было бы еще лучше, если б имена их стали произноситься с неуважением и порицанием.

Могу с своей стороны категорически заявить, что никаких переговоров с судившимися по процессу «17-ти» правительство не вело и не могло вести, потому что никто из нас не стал бы выслушивать его агентов, если бы они явились в тюрьму с предложениями о компромиссах.

Перехожу теперь к речам, сказанным подсудимыми по процессу «17-ти». Из обвинений «Вестника Н. В.», специально касающихся речей подсудимых, самое важное, конечно, состоит в том, что мы говорили не только не согласно с программою «Народной Воли», но высказывали положения, прямо противоположные ей.

«Мы считаем совершенно излишним напоминать читателям,—говорится в статье «Вест. Н. В.»,—что народовольчество резче, чем кто бы то ни было, отрицало способность русской монархии вести социальное возрождение русского народа».

Выражение «социальное возрождение»—настолько широкое понятие, что, конечно, содержит в себе также идею политического возрождения. В программе «Н. В.», разумеется, нет места для самопроизвольной преобразовательной деятельности и инициативы русской монархии. Но и программа допускает возможность, что «правительство пойдет на уступки и даст свободы, при которых возможно направить силы партии на деятельность в народных массах». Это сказано в документе, носящем название «Подготовительная работа Партии».

На 1 марта 1881 г. Исп. Ком. партии «Народ. Воля» смотрел, как на поворотный пункт, когда могла наступить перемена в политике правительства. Особенной уверенности, что правительство захочет изменить курс внутренней политики, у Комитета не могло быть. Тем не менее, предложения в этом смысле были сделаны с его стороны в «Письме к императору Александру III». Они делались искренно, с твердым намерением выполнить условия, изложенные в «Письме». В нем говорится: «Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два: 1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени... 2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями».

Я привела эти отрывки из партийных документов, чтобы доказать, что и партия и ее Исп. Ком. признавали возможность наступления такого исторического момента, когда правительство, под давлением революционного движения в России, приступит к преобразованию государственного устройства в России, и что такое преобразование повлекло бы неминуемо за собой глубокие социальные изменения в стране.

Теперь для того, чтобы сами читатели могли судить о том, были ли принципы «Н. Воли» действительно искажены в речах подсудимых по процессу «17-ти, я приведу из этих речей те места, которые имеют программное значение и так или иначе затрагивают принципы и стремления партии «Народная Воля».

Замечу еще, что, говоря о речах подсудимых процесса «17-ти», я не имею в виду речей Стефановича и его защитника. Стефанович всего



Конец 70-х г.г.



1890-ые г.г.



С фотогр. департамента полиции.

за несколько месяцев до своего ареста вступил в партию «Народная Воля». Он не слился с нею всеми силами ума и сердца, как большинство из нас, в его глазах деятельность, значение, самые принципы партии не имели той громадной цены, которую мы им придавали. Эти обстоятельства, несомненно, отразились на речах Стефановича и его защитника. Выяснение всего этого потребовало бы слишком много времени и места, и потому я не имею возможности заняться разбором обеих речей в предлагаемой читателям заметке.

Но текст немногих слов, сказанных мною лично на суде, требует раз'яснения.

В прежнем, заграничном, издании «Былого» моя заключительная фраза была напечатана в таком виде: «В подтверждение того, что цели партии совершенно миролюбивые, я прошу прочесть письмо к императору Александру III от Исполнит. Комитета, напечатанное вскоре после 1 марта. Из него вы увидите, что партия желает реформ сверху, но реформ искренних, полных, жизненных».

В таком виде фраза эта попала в предисловие Г. Плеханова к книге профессора Туна—«История революционного движения в России».

Разумеется, такой фразы я не могла сказать, потому что принципы «Народной Воли» были моими собственными принципами, воодушевляли меня и были мне бесконечно дороги, а эти принципы, конечно, не укладывались в формулу «реформы сверху».

Доказательство того, что я, действительно, не произнесла этой фразы, состоит в следующем. Когда Кеннан находился в Сибири, он виделся с очень близкими моими друзьями, которые передали ему текст того, что было мною сказано на суде и записано моею рукою. Г-н Кеннан поместил мои слова в своей книге, чем оказал мне, как увидит сейчас читатель, большую услугу. В его книге фраза, о которой идет речь, напечатана так: «В доказательство наших мирных стремлений я прошу прочесть письмо, отправленное нашей партией императору Александру III после 1 марта. Из этого письма вы увидите, что мы стремимся только к реформам, но к реформам искренним, полным и жизненным».

Итак, в тексте моей речи у Кеннана нет слова «сверху», поставленного рядом с «реформами».

Мои слова были перепечатаны Владимиром Львовичем Бурцевым в прежнем заграничном издании «Былого» с гектографированного экземпляра речей в том виде, как последние ходили по рукам. Следовательно, маленькое, но коварное слово «сверху» было вставлено ранее, чем наши речи попали в публику. Чья-то услужливая рука сделала маленький подлог в надежде, что он свое дело сделает рядом с большим подлогом в статье «Вестника Народной Воли» и поможет скомпрометировать судившихся по процессу «17-ти» еще более в глазах революционной России. Невольно приходится думать, что и в речи Теллалова некоторые пропуски сделаны не случайно. В самом деле, вместо вполне разумной фразы: «Мы вперед отказываемся при



изменившихся условиях политической жизни страны от каких-либо бунтов и обратимся к тем законным средствам, которые будут доступны всякому русскому гражданину», осталось: «Мы вперед отказываемся от организации каких-либо бунтов и обратимся к тем законным средствам, которые доступны всякому русскому гражданину» Это в 1883 году-то! законные средства, доступные всякому граждa нину! Во всяком случае, такой фразы Теллалов на суде не говорил,— это могут подтвердить оставшиеся еще в живых наши сопроцессники.

Благодаря «закрытым дверям» суда, агентам русского правительства легко было делать подлоги в материалах, относившихся к нашему процессу. Материалы эти пускались в обращение нашими товарищами без проверки, так как они летом 1883 года еще не подозревали измены Дегаева, а впоследствии материалы эти никем не были пересмотрены.

Стоит ли после всего сказанного серьезно заниматься защитой речей наших погибших товарищей от наветов в измене партийным принципам? Савелий Златопольский, Теллалов, Богданович, Грачевский,—все они погибли славною смертью героев; погибли, оставаясь до конца представителями и выразителями принципов «Народной Воли», т.-е. борцами за свободу и политические права народа.

II. Заключение в Петропавловской крепости.

КАТОРГА И ПЫТКА В ПЕТЕРБУРГЕ В 1883 ГОДУ.

(Письмо из Петропавловской крепости)[1].

Друзья и братья!

Пользуемся случаем, столь редким у нас, чтобы сообщить вам сведения об истинном положении нашем в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Простите, если письмо это окажется написанным кровью сердца, а не простыми чернилами,—письменные принадлежности здесь «строго запрещены».

В публике всегда ходили неблагоприятные о здешних местах слухи, но они так же мало похожи на действительность, как юношеские грезы. Никому на воле не придет в голову, что здесь формально открыто отделение каторги, и положение каторжан столь фантастически ужасно, что его нельзя назвать иначе, как ежеминутной, непрерывной пыткой. Вот почему мы имеем полное основание воскликнуть: каторга и пытки в столице! Каторга и пытки в 5-минутном расстоянии от Невского! Каторга и пытки под окнами дворца или настолько близко, что из них можно любоваться зданием тюрьмы! Ожидали ли услыхать что-нибудь подобное благодушные петербуржцы?

Мы оговариваемся заранее, что комментариев не будем делать, иначе пришлось бы написать .несколько томов, а в нашем распоряжении очень мало времени. К числу лиц, находящихся здесь на каторжном положении, принадлежат все, приговоренные судом к различным срокам каторги или же приговоренные к смерти и «помилованные»; есть бежавшие из Сибири и разных тюрем и вторично взятые; есть и такие, которых не судил и не будет судить никакой суд, и выход которых отсюда тем более проблематичен.

Положение до и после приговора столь резко различно, что ошеломляет вас неизбежно. Притом же приговор исполняется внезапно, как и все, что здесь происходит,—большею частью спросонков. Процедура следующая: рано утром вас схватывают с постели, куда-то ведут, приведши, раздевают до-нага, облачают в арестантское белье,

---

[1] Напечатано в книге «Литература «Народной Воли».

онучи, перевязанные веревками, коты, подбитые большими железными гвоздями, надевают арестантский халат с тузами, арестантскую шапку и снова куда-то ведут. На этот раз вы очутитесь в одном из самых мрачных казематов тюрьмы. При входе вас обдает затхлым запахом сырости и гнили; темнота так велика, что вы не сразу отличите окружающие предметы. Небольшое окно тускло от никогда не смываемой грязи и заслонено стеной в нескольких шагах расстояния. Скоро, однако, глаз откроет, что каземат совершенно пуст. В нем помещается кровать с соломенным матрацем, прикрытым грязным, тонким, как лист бумаги, одеялом; в головах небольшая подушка, чугунный столик вделан в стену, в углу грязное ведро, в другом—кран умывальника, вот и все. Да у стенки небольшая икона. Зачем она здесь? Вы не успели войти, как уже вас пробирает холод. Вот ваше жилище. На сколько времени?—на год, на два, на пять, навеки?.. Эти вопросы вихрем проносятся в голове; они стучат об ваш череп, и, вам кажется, вы слышите, как заколачивается крышка собственного гроба. Сердце сжалось... оно более не оправится. Никогда, никогда более оно не будет стучать спокойно и ровно...

Но вы спохватываетесь... Вы задаете себе вопрос, как жить без всяких вещей. В прежней камере житье было незавидное, но там ваш столик был всегда заставлен разными, самыми необходимыми, предметами; вы зовете служителя, вы спрашиваете, почему у вас отняли чай, сахар, табак, мыло, гребенку, собственную кружку, а главное—книги, книги, даже евангелие. «Не полагается»,—отвечает он вам.—«Как, ничего не полагается»?—«Ничего».—«Нет, нет, этого не может быть. Зовите смотрителя».—Вы ходите, или, вернее, кидаетесь из угла в угол каземата; звук шаркающих по каменному полу котов гулко раздается под сводом. Смотритель входит в сопровождении нескольких жандармов и служителей и храбро наступает на вас.—«Вы требуете вещей? Вещей вы не получите, а я покажу вам правила, которым вы теперь подчиняетесь, после которых вы перестанете требовать чего бы то ни было»,—поворачивается и уходит. Засовы запираются, шаги умолкают, заглушаемые ковром, и вы одни. Нет, вы не одни. Вместе с вашими вещами у вас не отняли многочисленных потребностей, неразрывно связанных с вашей человеческой природой, и сотни раз вы себя спрашиваете, как жить, не имея ни малейшей возможности удовлетворить их. У вас вырывается крик, зачем вас не убили, потому что только труп лишен всяких потребностей и только труп может существовать в условиях, в которые вас поставили. Для чего привели вас сюда, чтобы жить или умереть? Спросите у этих стен, насыщенных убийствами, и они ответят вам; спросите, что сделали они с жертвами, томившимися здесь до вас, и они скажут вам, оскалившись, что пожрали их... Вам приносят «правила», и вы берете их с ледяным равнодушием: странно писать правила для человека, заключенного в гроб, но вскоре они поглощают все ваше внимание. Друзья, «правила» эти—целое откро-

вение. Они без подписи. Напрасно поворачиваете вы лист на все стороны, ища подписи, вы ее не найдете, потому что ее нет; лишь писец какой-то засвидетельствовал верность копии с подлинником. Число и год составления тоже не обозначены, и вы лишены возможности определить, каким ветром они навеяны. Заглавие следующее: «Правила для лиц, находящихся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости». Далее содержание: «Лица, находящиеся на каторжном положении в Трубецком бастионе Петропавловской крепости (в скобках означено: холостые мужчины), остаются здесь четверть всего срока каторги, определенного им судом; лица, осужденные на бессрочные каторжные работы, остаются здесь неопределенное время, и срок нахождения для них зависит от особого распоряжения». Вышеупомянутые лица содержатся в Трубецком бастионе на общем каторжном положении. Собственные вещи у них отбираются, и взамен они получают: 3 рубахи, 3 пары подштанников из арестантского холста; 2 пары онуч, 2 пары котов, подбитых железными гвоздями, 1 пару штанов из арестантского сукна, подшитых холстом, 1 куртку, также подшитую холстом, халат с двумя тузами, шапку из равендукского сукна; на зиму полагается сверх сего: пара суконных онучей, тулуп, доходящий до колен, шапка с ушами, завязывающимися под бородой, и с лоскутком, прикрывающим затылок. Пища отпускается «обыкновенная арестантская». Но какая и в каком количестве, не перечислено. «Покупка с'естных припасов и лакомств на собственные деньги строго воспрещается. Также строго воспрещается курение табаку. Лица, находящиеся на каторжном положении, лишаются права пользоваться книгами из библиотеки, состоящей при бастионе. Постель состоит из войлока и подушки, набитой соломой». В примечании кто-то прибавил: «впредь до особого распоряжения постели остаются те же, какими пользовались .заключенные ранее», но это неправда, так как волосяной матрац и вторая подушка отбираются. «Заключенные вполне подчиняются администрации крепости. В случае совершения преступления они передаются суду, который присуждает их к наказаниям, определенным законом для ссыльно-каторжных». Соответствующие статьи закона любезно выписаны. По ним: «за менее важные преступления суд приговаривает к шпицрутенам до 8-ми тысяч ударов, к плетям до 100 ударов, к розгам до 400 ударов; за проступки заключенные подвергаются административным взысканиям, и администрация крепости может присудить к содержанию в карцере от 1 до 6 дней на хлебе и воде, к плетям, но не более 20 ударов, к розгам, но не более 100 ударов». «Вопрос относительно занятий заключенных еще не решен. Лица, находящиеся на каторжном положении, пользуются прогулками наравне с другими». В действительности, мы, каторжане, гуляли по 10 минут в 48 часов, тогда как, состоя под следствием, мы пользовались ежедневно прогулками. Часто прогулки при теперешнем нашем положении совершенно отме-

няются в продолжение 3—4 дней без всякой видимой причины. «Вопрос относительно ношения кандалов и бритья головы еще не решен утвердительно, но обе эти меры могут быть введены во всякое время». Бритье голов, действительно, давно введено. «Относительно пользования банею, врачебною помощью и правом призыва духовника, состоящего при крепости, никакой перемены не происходит».

Познакомившись с «правилами», вы соглашаетесь со смотрителем, что никаких вещей требовать не будете. Если на ваше заявление о самых насущных нуждах отвечают угрозами, что подвергнут вас ударам плетей и шпицрутенов, давно отмененных законом, вы, естественно, станете молчать. Вам останется страшный, безмолвный протест голодовками, и к нему на собственную погибель вы будете отныне прибегать.

Однако, надо же выяснить, кто автор этих правил, чья воля в течение годов будет вас держать над медленным огнем, не давая ни жить, ни умереть. Вы звоните, и к вам с шумом врывается служитель в сопровождении жандарма. «Вы понапрасну не звоните,—кричит служитель,—мы сами знаем, когда притти. Прочитали правила?».—«Я прочитал правила, но в них многое не ясно; я желаю поговорить со смотрителем. Позовите его ко мне».—«Смотрителя дома нет».—«Когда же он придет?».—«Придет, когда будет время: сегодня иль завтра, а, может быть, через три дня или через три недели». Благорасположенные посетители удаляются. Вы кидаетесь на грязную постель и снова вскакиваете, вы мерите каземат шагами... Вы переживаете агонию, самую адскую агонию живого существа. Вы чувствуете, что глаза ваши принимают выражение раненого на-смерть. Уже вы находитесь в новом положении; уже вы чувствуете на себе его стопудовую тяжесть, и все же ум отказывается в него верить: как из часа в час, изо дня в день, из года в год сидеть в четырех отвратительных стенах, без дела, без возможности остановить на чем-нибудь измученную мысль? Это неминуемо роковым образом должно повести к умопомешательству. Вскоре вы откроете новые опасности. Вам станет ясно, что темнота и отсутствие воздуха быстро обескровят вас, холод и сырость в соединении с негодной пищей предадут ваше тело цынге; десятки других болезней явятся ей на помощь. Но вот он, самый злейший из ваших новых врагов. Как бы сильны вы ни были душой, вы не решаетесь оглянуться на него. Страшным, страшным призраком стоит он за вашей спиной, и самое дыхание его содержит в себе тысячу смертей... Это—время.

Так проходит для вас первый день. Вечером зайдет смотритель и скажет, что правила введены 6 лет тому назад и одобрены в новейшее время департаментом государственной полиции, и что ни он, ни комендант не имеют права что-либо изменить в вашей судьбе. Итак, вот кто изобретатели наших мук: это — бывшие заправилы III отделения, это—Оржевские, Плеве и прочие. Известная доля

авторского права неот'емлемо принадлежит генералу Ганецкому, так как действительность еще превзошла «правила», и этот плюс целиком должен быть отнесен на его счет. Если он не имеет права облегчать нашу участь,—он имеет полнейшее право ухудшать ее, и он не преминул подложить полено в общий костер. Но Оржевский, Плеве и Ганецкий—все это только исполнители высшей воли. В личной яростной мести царствующего дома кроется источник наших мук. Это ясно из того, что мы попадаем сюда по *высочайшему повелению,* и никто не может быть переведен отсюда в положение ссыльно-каторжных иначе, как по *высочайшей милости.* Но, если отправка в каторгу считается величайшею милостью, то при дворе не могут не знать подробно нашего здешнего положения. Конечно, заслуживает серьезнейшего внимания, что ненависть высочайших особ нашла себе услужливых и быстрых на руку исполнителей во всех слоях русских людей. Начиная с сановников и министров и кончая последним крепостным тюремным служителем, все это кинулось истязать нас—и истязать с сладострастием, с горящими глазами, оскаленными челюстями, раздутыми ноздрями, трепещущими членами. Зверская жестокость кроется под наружным видом русского благодушия... Но не станем слишком строго порицать народный характер. В действиях этих спослешников обнаружился характер всякой сбродной толпы, всегда готовой на акты исступленной жестокости...

Мы обречены на верную, безусловную смерть. Вот, например, состав нашей пищи; утром и вечером в 7 часов—кружка кипятку, большею частью, мутного и вонючего и порция ржаного хлеба в 3 фунта; в 11 часов—полкружки квасу; в 12 час.—обед, состоящий по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам из чашки щей и гречневой размазни, без масла и остывшей так, что нет возможности ее есть; в щах плавают крошечные кусочки мяса числом 4—5. Вечером в 6 часов—ужин: остатки утренних щей, разбавленных водою, но уже без признаков мяса. По средам и пятницам постная пища. Посты эти введены генералом Ганецким. К обеду—гороховая похлебка и гречневая каша в весьма умеренном количестве, то и другое подправлено постным маслом. К ужину та же похлебка, разбавленная водою. В воскресенье манный суп с несколькими волоконцами мяса и в 7 раз в неделю гречневая каша. Хлеб часто имеет примесь песку, а гречневая каша сплошь да рядом затхлая. При этом пища всегда подается остывшею.

Братья! Вооружитесь мужеством, чтобы продолжать чтение письма. Дорого дали бы мы, чтобы вам не приходилось читать эти строки, но вы должны знать, что здесь происходит. Здесь не делают различия между здоровым и больным человеком. Дизентерия и цынга здесь—обыкновенное явление, и захворавшим этими болезнями не дают иной пищи, кроме нами перечисленной и превращающейся для них в яд. Силы больного при таких условиях быстро падают, он лишается употребления ног, он не может более вставать для отпра-

вления естественных надобностей. Но здесь не полагается лазаретной прислуги. Что же далее? Больной остается лежать и гнить в собственных извержениях, пока служителю заблагорассудится переложить его на чистую солому. Если бы вы видели наших больных! Год тому назад цветущие юноши, теперь—сгорбленные, дряхлые старики: спинной хребет отказывается поддерживать их, ноги не служат более. Многие уже не встают с постели и, как мы только что сказали, преданы гниению до того, что они, живые, издают трупный запах. Но врач, неужели же нет врача?—спросите вы. Их два. Один старший, другой младший. Старшему лет 80. Он ходит с клюкой, носит очки с шорами. Иногда он отменяет лекарства, прописанные младшим врачом, и свидетельствует трупы. Младший посещает тюрьму ежедневно, заходит в некоторые камеры, всегда сопровождаемый жандармами и служителем, которые в камере больного становятся по обе стороны доктора и не спускают с него глаз. Вследствие такого неотступного смотрения за ним, врач страдает хроническим перепугом. Глаза его устремлены на вас в ужасе, он останавливается от вас на расстоянии 5—6 шагов, не смея не только выслушать вас, но даже сосчитать вам пульс. Чаще всего вы услышите от него: «от вашей болезни у нас нет лекарств», или же он вам пропишет средство, которое вы с пользою можете не принимать; наконец, в некоторых случаях лекарства, прописанные им, отменяются старшим врачом. И что может он сделать, когда по законам тюрьмы не полагается ни лазаретных порций, ни лазаретной прислуги, и вдобавок вода, которую мы пьем, совершенно испорчена от проржавевших труб. Не находят себе снисхождения даже умалишенные, а вы можете себе представить, сколько их на нашей Голгофе. Считают излишним отправлять их в больницу для излечения и справляются с ними здесь по-своему. По целым дням вы слышите исступленные крики над собой или где-нибудь в отдалении; это ударами истязуется умалишенный, привязанный горячечной рубашкой к кровати. Число смертей, самоубийств, умопомешательств—ужасающее. Если б чудом открылись двери нашей темницы, многих и многих вы не досчитались бы. Пройдет еще некоторое время, и места всех нас очистятся для новых страдальцев. По разным причинам мы не назовем всех погибших, скажем только, что Исаев—в числе помешанных, а Терентьева—умерла внезапно, какой-то загадочной смертью. Ее будто бы нечаянно отравили, дав ей яду вместо лекарства, после чего оба врача—как старший, так и младший—остались на своих местах. Умирает от чахотки еще какая-то женщина, имя которой никому из нас неизвестно.

В начале письма мы описали одну из камер нижнего этажа бастиона, но это—лучшие помещения для каторжных; есть еще казематы в подвальном этаже здания—это мрачные казематы. В них—заключенные, наиболее возбудившие против себя вражду правительства. Немногих слов этих достаточно, чтобы догадались, кто из нас поль-

зуется этими помещениями[1]. Окно такого каземата находится на уровне земли и заслоняется толстыми прутьями решетки и облепившей его грязью. И если в лучшие камеры никогда не заглядывает луч солнца, то легко вообразить, какая здесь царствует тьма. Стены покрыты плесенью, и по ним струятся грязные потоки воды; что в них поистине ужасно, это—крысы. В каменном полу оставлены большие отверстия для прохода крыс; мы выражаемся так, потому что, если б повреждения в полу были случайны, их легко было бы исправить, тогда как все ваши заявления и просьбы произвести починки пола остаются без последствий, и крысы врываются постоянно в камеру, поднимают отвратительную возню, стараясь взобраться на вашу кровать. Казематы отделены друг от друга помещениями для жандармов. В этих трущобах проводят последние дни осужденные к казни. Здесь прожили предсмертные часы Квятковский, Пресняков и Суханов. Теперь, между прочим, сидит здесь женщина с грудным ребенком. Это—Якимова. День и ночь стережет она ребенка, чтоб его крысы не с'ели... Мужественная, великая мать! Окруженная со всех сторон призраками смерти, ты не перестаешь вдыхать жизнь в своего ребенка. Кормясь пищей, от которой груди твои должны наполняться водою, ты заставляешь свой организм вырабатывать молоко, чтобы спасти свое дитя от голодной смерти. Находясь в условиях, ежеминутно разрывающих твое сердце на части и заставляющих тебя содрогаться за будущее твоего ребенка, ты не приходишь в отчаяние, не разбиваешь ему голову о ненавистные стены, чтобы сразу положить конец и его страданиям, и твоим собственным.

Условия, нас окружающие, рассчитаны на то, чтобы отнять у нас человеческий образ. Тогда как тело истощается, хиреет, лицо, напротив того, получает отеки, увеличивается до необыкновенных и уродливых размеров. Почти у всех нас трясение рук, потому что нервные центры должны были ослабеть. Можно было ожидать, что глаза сохранятся в темноте, но они воспаляются, и в них чувствуется сильная резь; веки тяжелеют от отеков и, наконец, с трудом закрываются. Тело чернеет от неупотребления мыла; у нас отняты гребенки, и при таком условии бритье головы является облегчением, но, ведь, здесь есть женщины, и им по годам не дают возможности

---

[1] Этот подвальный этаж—в сущности, Екатерининская куртина. В письме я опасалась говорить о ней, чтобы не возбудить подозрений правительства в том, что существуют сношения между Трубецким бастионом, Алексеевским равелином и Екатерининской куртиной. На самом деле, между этими тюрьмами не было и не могло быть сношений, вследствие их полной изолированности друг от друга. В Екатерининской куртине была заключена Анна Вас. Якимова со своим младенцем; здесь провели последние часы перед казнью Квятковский, Пресняков и Суханов. Когда я писала это письмо, еще не было известно, что из осужденных по процессу «20-ти» 10 человек было отправлено в Алексеевский равелин в марте 1882 года. Все описание подвального этажа есть изображение обстановки, в которой находилась А. В. Якимова в 1882 году.

чесать волосы. Да, друзья, наших сестер едят вши. У нас, мужчин, вши заводятся в бороде, и тогда приходится выбривать лицо. Как бритье головы является облегчением при нашем образе жизни, точно так же арестантское платье для нас благодетельно. Не будь оно придумано полстолетия назад для уголовных арестантов, нам сумели бы дать другое, много раз неудобнее, а, главное, менее теплое. Это не пустые слова. Подследственные сильно страдают от недостатка одежды; у них отбирают верхнюю одежду, оставляют их в одном белье и дают надевать сверху никуда не годный тюремный халат, коекак сшитый из дрянного, жесткого, как бумага, сукна. Вы видите, что сравнительно с этим костюмом арестантский составляет положительную роскошь.

Нечего говорить, что нам не дают ножниц; и отказываются стричь нам ногти. Из всех человеческих потребностей за нами признаны только две: мы можем принимать небольшое количество пищи и извергать ее; мы низведены на степень дождевых червей. Но есть сила, которая даст нам возможность, если не жить (потому что это физически невозможно), то, по крайней мере, страдать; это— мысль, что мы служим точкою опоры для рычага революции. Как добрый гений, эта мысль неотступно при нас, она делает нас нечувствительными к своим страданиям. Ночью она не отходит от нашего изголовья, колышет и убаюкивает нас. Утром, когда нас будит лязг отпираемых замков и засовов и торжествующее бряцание шпор и мы готовы проклясть народившийся день,—она уже снова около нас, застилает непроницаемым покровом от наших взоров неприглядную действительность и на своих могучих крыльях уносит нас за пределы тюрьмы, за пределы одичалого, бесстыдного варварства и раскрывает перед нами книгу судеб человечества. Чем больше страданья и унижения, которым нас подвергают, тем выше становится полет наших мыслей. Современность кажется жалкой и мелкой, ум поражается ленивою небрежностью и медлительностью, с которою человечество подвигается к своим идеалам, ожидающим его в будущем.

Поразительный факт. Люди, унижающие нас, не смеют нас презирать. Мы видим это ясно в замешательстве какого-нибудь административного лица, случайно столкнувшегося с нами, когда мы, слабые, плетемся на прогулку, или когда это лицо после полугодового отсутствия заходит к нам в камеру. Перед больным, согбенным арестантом для чего этот трепет, этот стан, невольно сгибающийся в почтительный поклон, этот взор, полный ужаса и вместе с тем уважения? Видят ли они в это время сияние на наших лицах и венец мученичества над нашими головами?.. Во избежание столь тягостных для них впечатлений начальство тюрьмы предпочитает скрываться от нас. Лесника (смотрителя) невозможно дозваться, а комендант и совсем не показывается. Мы всецело предоставлены власти солдат и служителей, которые контролируются постоянно всюду сопровождающими их жандармами. Служитель иначе, как в присутствии

жандарма, не имеет права подойти к дверной форточке заключенного, а еще менее—войти к нему в камеру. Связь с жандармами, хотя и навязанная, потушила последнюю искру человечности в служителях. На отвратительную экзекуцию они идут, как на пир. Фролов (палач) по сравнению с ними—невинное дитя; у них постоянно руки по локоть в нашей крови. Обращение их с нами до и после приговора очень различно. Пока человек под следствием, в особенности, когда он при деньгах и может содержаться на собственный счет, они прислуживают даже с некоторым удовольствием. Не то после приговора. Они нахальны и злы. Конечно, и инструкции, получаемые ими, соответственны. Они отказываются исполнять справедливейшие из ваших требований, отвечать на самый простой ваш вопрос, и вы скоро перестанете обращаться к ним за чем бы то ни было. Для вас наступает абсолютное молчание. Молча подходят к вашей дверной форточке и подают вам еду; для прогулки перед вами молча отпирают двери, и вы так же при первом бое курантов возвращаетесь обратно. Если вы зададите вопрос: какое сегодня число,—вы не получите ответа. Вот почему у нас нередки случаи, что заключенный, потеряв возможность сообщаться с товарищами, сбивается во времени и уже не имеет возможности исправить ошибку. Сначала он путается в днях, потом в месяцах; так живет он в хаосе времени, а если он болен и не выходит на прогулки, не видит, следовательно, клочка природы, называемого тюремным садиком, он потеряет даже возможность определить времена года: в камере всегда холодно и сыро.

Осуждать ли безусловно служителей? Называть ли их преступниками? Они стали бессознательно преступны, не бывши никогда сознательно невинны.

Случается, наша гробовая жизнь нарушается таинственными посещениями. По ночам бесшумно открываются садовые двери, ведущие в общий коридор, окружающий бастион с внутренней его стороны. Кто-то торопливыми шагами в сопровождении служителей и жандарма направляется к одной из камер и остается в ней по часу, по два. Не утешитель ли явился? Не прольет ли он живительный бальзам на больное тело или в больную душу? Нет, здесь нет доступа добру; здесь рыщут гиены и шакалы. Сюда явился представитель учреждения, недавно еще славившегося либерализмом, а ныне превратившегося в контору сыска и продажи душ. Сюда пришел прокурор судебной палаты Муравьев,—и горе человеку, к которому направляются его шаги. Человек этот уже не принадлежит себе, он уже совершил запродажv своей совести, своего доброго имени, жизни друзей и знакомых. Покупщик явился за своей добычей. Страшные муки превзошли человеческие силы, и человек пал. И все же, надо правду сказать, падших между нами немного. Сад, о котором мы упомянули, находится среди бастиона, окружен пятью его стенами. Он служит для разных таинственных целей: через него проносят покойников

и через него же проводят заключенных в случае внезапных из'ятий, дабы не возбудить внимания соседних камер. В нем совершаются прогулки, о которых стоит сказать несколько слов. В те часы, когда мы гуляем, у ворот и обеих дверей стоит по часовому с ружьем; мы выходим из дверей, ближайших к нашей камере. Впереди провожает нас служитель, позади жандарм. Выпускает нас на прогулку другая пара—служителя и жандарма, на обязанности которых—производить обыск каземата в наше отсутствие. Жандармы любят гулять с фокусами. Напр., жандарм становится в конце дорожки, по которой вы идете, так что, проходя мимо, вы почти задеваете его, и только вы прошли, он кидается за вами следом, провожает вас на расстоянии нескольких шагов и возвращается на прежнее место, чтобы при следующем вашем проходе повторить свой маневр. Это продолжается во время всей прогулки. Если вам надоест вид окружающей обстановки и вы закинете голову вверх, чтобы взглянуть на облака, он тоже смотрит по одному направлению с вами, не видите ли вы чего-нибудь недозволенного, т.-е. нет ли на дереве записки или не видите ли вы кого-нибудь в окно. Посреди садика находится баня, в которой мы моемся по разу в месяц и в которой весьма легко заразиться сифилисом, так как в ней же моются солдаты, между которыми могут быть сифилитики.

Вернувшись с прогулки к себе в каземат, вы находите постель разрытою и брошенною в беспорядке, стены в разных местах поскоблены нарочно для того имеющеюся палочкой, хотя вы на них ничего не написали, зная здешние обычаи, а, главное, не имея, чем писать. Но эти соображения не останавливают ревности служителей и жандармов. Изо всех углов повытаскана пыль и валяется на полу; все, что можно, осмотрено и обшарено.

Какими неприятностями ни сопровождались бы наши прогулки, как коротки бы они ни были, все же еще находят возможным лишать нас их и не дать подышать нам чистым воздухом. За малейший стук в стену, за громкий кашель, за громкую ходьбу по камере, за сорванный лист в саду нас оставляют без прогулки на несколько дней, иногда на целые недели. Положение женщин здесь особенно ужасно и должно обратить на себя внимание всего цивилизованного мира. Наравне с нами они отданы во власть служителей и жандармов; их полу не оказывается ни малейшего внимания. Их постели, как и наши, ежедневно разрываются при обысках. Их белье прямо с тела рассматривается целой сворой солдат и жандармов. Правда, служитель или жандарм в одиночку не имеет права входить в их камеры, как в наши, но разве они не могут стакнуться? Между ними царствует самая трогательная дружба, а потому случаи насилия *возможны*. Женщинам во время болезни никто не протянет руки помощи, не подаст стакана воды; а при истерических припадках вся помощь, которую им окажут, состоит в том, что их обольют водой и зажмут рот полотенцем, чтобы заглушить их крики.

Со времени введения «правил» голодные бунты у нас не прекращаются. Они производятся в одиночку, или группами, или же сразу охватывают всю каторжную тюрьму—за исключением тяжело больных. Большею частью они имеют целью добиться чтения книг, выписки чаю на свой счет и проч. или вызваны каким-нибудь особенным зверством администрации. Можно сказать, что ни в одной тюрьме голодающие не доводятся до такой ужасающей крайности. И вот когда всего ярче обнаруживается, как сильно ищут нашей смерти. У нас прекращают голодать буквально на краю могилы и в редких случаях добившись хоть небольшой уступки. Несмотря на то, что в продолжение 4-х лет бунты постоянно повторяются, варварская мера, запрещающая чтение книг, не отменяется; почти у всех отобраны даже евангелия. Как ужасно голодовки надрывают наши силы, когда приходится поправляться кипятком и черным хлебом. Но выбора нет, и мы предпочитаем умереть с голоду, нежели сходить с ума и быть истязуемыми... Пора кончать.

Друзья и братья! Из глубины нашей темницы, говоря с вами, вероятно, последний раз в жизни, мы шлем вам наш завет.—В день победы революции, которая есть торжество прогресса, пусть она не запятнает этого святого имени актами насилия и жестокости над побежденным врагом. О, если бы мы могли послужить жертвами искупления не только для создания свободы в России, но и для увеличения гуманности во всем остальном мире! Человечество должно отказаться от одиночного заключения для осужденных, от насилия и истязаний заключенных, в каком бы то ни было виде, как оно отказалось от колеса, дыбы, костра и проч.

Привет вам, привет Родине, привет всему живому.

Письмо это записано мною по памяти тотчас после перевода моего из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения весной 1883 года; сложилось же оно мысленно в моей голове в те дни, когда внезапно я очутилась на каторжном положении в крепости.

III. Партия „Народная Воля“ и ее Исполнительный Комитет.

ВОСПОМИНАНИЯ О „НАРОДНОЙ ВОЛЕ“ [1].

В первых числах августа 1878 г. рано утром я зашла в комнату моей сестры Елены, у которй я жила тогда в маленьком имении, купленном ее мужем. За три месяца перед тем я вернулась из Румынии, где во время русско-турецкой войны я работала в качестве сестры милосердия при эвакуации раненых и больных. В день моего возвращения в Петербург я захворала сыпным тифом, проболела довольно долго, потом уехала к родным в деревню поправляться и набирать силы.

В описываемое утро моя сестра стояла у стола лицом к двери и держала перед собой развернутый лист только что полученной газеты. «Представь, что случилось!—воскликнула она, как только увидала меня,—в Петербурге на Михайловской площади убили шефа жандармов Мезенцова». Для меня это известие было откровением и стало поворотным пунктом в моей жизни.

Не то, чтоб я страдала склонностью к пролитию крови или другим жестокостям. Ничего подобного не было. Но внезапно почувствовалось и стало ясным, что возможны порывы к освобождению России от гнета деспотизма, что они бывают удачны, а, следовательно, возрождение родины возможно. Все это блеснуло в уме, как отдаленная молния, освещающая дорогу, по которой приходится итти.

Недели через две после описанной сцены я была в Петербурге. Я ехала с твердым намерением отыскать смелых людей, бросившихся в битву с деспотизмом. Я хотела им сказать, что их дело есть и мое дело, что во мне давно, хотя смутно, жило стремление бороться против врагов народа, что отныне все мои силы будут посвящены начатой ими героической борьбе.

Но найти революционеров было нелегко. Я давно не живала в Петербурге и не имела связей не только в радикальном мире, но даже среди интеллигенции учащихся.

Прежде всего я столкнулась с молодежью, но студенты, которых я встречала, были люди средние, не знавшие никаких пропагандистов или революционеров и ушедшие в мелочи жизни. Между

[1] «Голос Минувшего», 1916 г., № 9.

моими знакомыми находился студент-юрист Д. Никольский, вскоре ставший сотрудником «Нового Времени», которое уже тогда начинало развертывать свое грязное знамя реакции.

Однажды я прочла в этой газете, что Чернышевский и Добролюбов составляют источник смуты, водворившейся в умах молодежи, и являются ответственными за все зло, происходящее в России. Когда зашел ко мне Никольский, я обрушилась на него со злыми насмешками по адресу его самого и его патрона. Он пробовал отшучиваться, но потом почувствовал себя не у места, простился и больше не приходил.

Я познакомилась также с Александрой Гавриловной Архангельской, получившей впоследствии такую громкую и заслуженную известность на поприще земской медицины в качестве врача и так рано умершей. Я пробовала увлечь Александру Гавриловну революционным энтузиазмом, которым сама была полна, но она оставалась непоколебимой. Соглашаясь со мной, что борьбу за освобождение народа надо начать, пока он в своих бедствиях еще не дошел до последних пределов, она останавливалась на полдороге, когда надо было притти к какому-либо решению.

— Если вы согласны со мной,—убеждала я ее,—так будем искать революционеров вместе; будем работать с ними, и, если нужно, умрем за свободу.

Но Александра Гавриловна в нерешимости качала своей большой головой.

— Я не уверена,—говорила она,—что путь, который вы нашли, приведет к лучшей доле народ.

Я спрашивала, знает ли она другие пути, и она должна была признать, что они не существуют. Иногда я шла к ней, чтобы окончательно подвести итоги нашим дебатам. Но напрасно. Приходилось начинать рассуждения с начала.

— Простите, Александра Гавриловна,—сказала я ей однажды,—у вас недостает логики. Если человек признает верными посылки и не может из них сделать выводов, то это доказывает слабость его логического мышления.

Она смеялась.

— Скорее недостаток темперамента,—говорила она.—Я завидую вам в том, что вы нашли свою дорогу и неуклонно пойдете по ней.

— Да, я счастлива; я нашла дорогу и сделаю то, что считаю правильным и разумным.

На этом прервались мои попытки увлечь Архангельскую на путь революции. Другие встречи заставили меня забыть про ее непоколебимость. Некоторые лица из молодежи с торжеством об'явили мне, что они нашли людей, которых я искала, и познакомили меня с Марией Решко.

Это была обаятельная молодая девушка, с ясными синими глазами, с спокойным выражением прекрасного лица. У нее, в доме

матери, у которой она проживала, бывали революционеры. Но это составляло большую тайну. Для непосвященных она только занималась помощью заключенным и была центром того, что позднее получило название «Красного Креста»[1].

Решко спросила меня, желаю ли я разделить с нею и ее кружком заботы по снабжению заключенных всем необходимым. Я без колебаний дала свое согласие, хотя была несколько разочарована. Я не этого ждала от знакомства с нею: мне хотелось поскорее принять участие в революционной борьбе, разделять ее трудности и опасности; я сказала это Решко, прибавив, что в ожидании иной деятельности я сделаю все, что могу, чтобы помочь заключенным. С того дня я стала собирать деньги среди знакомых; собирала носильные вещи и притаскивала узлы в квартиру Решко; распространяла билеты на лотереи и проч.

Времени у меня было много, и я посвящала его чтению, желая в книгах найти об'яснения интересовавших меня общественных вопросов. Сознательной социалисткой я была уже давно; пожалуй, с начала 70-х годов, когда я изучала Лассаля и Маркса. По своим наклонностям, мне кажется, я всегда была народницей. Я не помню, чтобы когда-нибудь я оставалась равнодушной к описанию бедственной жизни крестьян или рабочих, чтобы страдания их не вызывали во мне гнева против народных эксплоататоров и притеснителей. Мое идейное народничество сложилось под влиянием книг Лаврова, Флеровского, Глеба Ив. Успенского, отчасти также Достоевского, и еще прежде, в дни моей ранней юности, под влиянием великих писателей 60-х годов. Позднее деятельность сестры милосердия во время войны 1877—1878 годов, уход за солдатами, ранеными, отмороженными, цынготными, тифозными и пр. и пр., их тяжкие страдания, а иногда и смерть, огромное количество страдальцев—сыновей народа демократизировали меня в корне.

Я думаю, кто раз служил непосредственно народу, тому трудно, а, может быть, невозможно, отказаться от дальнейшего служения ему.

Теперь я ощущала потребность систематизировать свои народнические стремления и, по возможности, подвести им научное основание.

Я должна сказать, что народническое движение 70-х годов, так-называемое «хождение в народ», не увлекло меня. Главная причина этого факта, о котором я потом не переставала жалеть, заключалась в том, что я прожила годы бурного народничества в Западном крае, куда волна общественного движения не достигала, где сама жизнь не сталкивала меня с энергичной и самоотверженной моло-

---

[1] Арестованная в 1881 г. и посаженная в Дом предварительного заключения, Решко быстро заболела скоротечной чахоткой. Когда администрация убедилась, что она накануне смерти, ее отпустили домой умирать на глазах матери.

дежью. Я знала одного только пропагандиста, но, к сожалению, он не внушал мне симпатии. Возможно, что человек с другим нравственным обликом сделал бы для меня близким и дорогим движение, представителем которого он являлся.

В тот приезд мой в Петербург я решила познакомиться со славянофильскими писателями, как с известными народолюбцами. Я обложилась сочинениями Хомякова, Самарина, Киреевского и других и принялась их изучать. Пока эти господа оставались на исторической почве или комментировали народную психологию, все шло хорошо, и я до известной степени могла соглашаться с ними. Но когда дело доходило до самодержавия, которое для блага народа следует сохранить на вечные времена, до знаменитого средостения, которое препятствует сердечному слиянию царя с народом, и до прочих славянофильских принадлежностей, все произвольное построение «теории» становилось для меня ясным; я отбросила славянофильские книги в сторону, и само славянофильство перестало меня интересовать. В ожидании новой деятельности я решила приобрести профессию, которая сближала бы меня с деревней и вообще с трудовым населением. Я записалась на Георгиевские фельдшерские курсы и стала их посещать. Но голова моя уже не годилась для зубрежки учебников; проучившись некоторое время, я покинула эту затею. Неизвестно, как долго длилось бы еще мое тягостное ожидание, если б внезапно не подул попутный ветер, который вынес меня на широкий простор политической жизни.

В Петербург приехали некоторые пропагандисты-народники из Саратовской губернии, где они занимали различные должности. К их группе принадлежали: Вера Николаевна Фигнер, Соловьев, Иванчин-Писарев, Богданович и другие. С ними была и моя старшая сестра. В Петербурге она тотчас пришла ко мне. Я встретила ее с шумною радостью. С ее приездом мои поиски приходили к концу, так как она могла меня ввести в среду близких ей радикалов.

Я сказала ей, что, всегда сторонившись революционных кружков, я теперь страстно ищу с ними сближения для того, чтобы принять участие в их работе, так как убедилась, что движение приняло широкие размеры и получило большое значение для всей страны. Она удивилась и обрадовалась происшедшей во мне перемене, расспрашивала, как все это случилось, и назначила мне притти в тот же вечер в квартиру одного частного лица, где я увижусь с нею и Иванчиным-Писаревым.

Около 7 часов вечера я направилась к указанному мне месту. Моя встреча с Иванчиным-Писаревым была очень радушная. Прежнее мое нерасположение к нему исчезло под действием важности переживаемого момента, и в первый раз я дружески и по-товарищески пожала ему руку. В этот вечер я узнала, с какими опасностями было сопряжено бегство народников из Вольского уезда. Беседа наша была захватывающего интереса. В то время мои мысли

были уже целиком поглощены стремлением к созданию революционной партии, которая об'единила бы все слои населения для завоевания политической свободы. Разговор касался возможности появления такой партии и ее будущих задач.

Но времени для обсуждения было очень мало, и сестра предложила мне свидеться в Финляндии, куда она и кое-кто из народников собирались выехать на другой день и где Иванчин-Писарев обещал познакомить меня с одним из своих приятелей, близким по воззрениям к крайним революционерам. Получив подробные указания, как ехать и куда явиться, я рассталась с своими друзьями.

В финляндской деревушке, в небольшом домике, временно поселились моя сестра, Иванчин-Писарев и его приятель Николай Александрович Морозов; к ним я направилась спустя неделю. Наступила весна, и было настолько тепло, что, подостлавши плэды, можно было сидеть на земле. Мы уходили из дома, располагались под открытым небом и вели долгие беседы. Николай Александрович говорил мне, что мнение о необходимости завоевания политической свободы становится господствующим в радикальных кружках; некоторые члены «Земли и Воли», которые, может быть, уже составляют большинство этой организации, склонны изменить направление своей деятельности и пропаганду в деревнях заменить борьбой за освобождение от правительственного гнета. Он придавал значение тому, что я, жившая в совершенно иной среде, чем он и его товарищи в последние годы, пришла к одинаковым с ними выводам.

Впоследствии мое присоединение к вновь слагавшейся партии влияло на моих товарищей несколько ободряющим образом. В нем сказывалась победа тогда еще новой идеи политической борьбы. Оно могло до известной степени служить проверкой этой идеи, так как я подходила к ней иным логическим путем, чем пропагандисты 70-х годов. Они признали необходимость уничтожения самодержавия вследствие непреодолимых преград, которые встретили на своем пути пропаганда социализма и даже простое распространение знаний в деревне. Их толкали, помимо того, на путь политической борьбы жестокости и бесчеловечье, с которыми правительство обрушилось на социалистов. Я же исходила из наблюдений над условиями общественной жизни в России; постоянно убеждалась в несовместимости самодержавия с духовным и экономическим ростом страны; знала не только из книг, но из жизни, как существеннейшие интересы народа приносятся в жертву русскому молоху, и отсюда заключала о необходимости изменения государственного строя в России.

В наших беседах звучало революционное настроение, мы обсуждали способ ведения борьбы и выясняли пределы, до которых она неизбежно придет. Мы сходились в том, что новая партия посредством агитации постарается привлечь к себе различные группы населения, что она должна искать содействия и поддержки в интел-

лигенции и обществе, а также среди рабочих и крестьян, что известие о ее возникновении надо распространять как можно шире и энергичнее.

Я прожила в Финляндии несколько дней и увезла с собой два рекомендательных письма от Николая Александровича: одно—к Н. К. Михайловскому, другое—к Льву Тихомирову.

Я отправилась к Михайловскому. Итти к лично незнакомому писателю с громким именем и говорить с ним о революции — это была трудная задача. Вопрос состоял в том, чтобы не отступать перед трудностями на моем новом пути, и я шла без колебаний.

Меня ввели в кабинет, где целая стена была заставлена книжными шкафами. У окна находилась высокая конторка, за которой Михайловский работал стоя. Он и теперь был подле нее и, увидя меня, пошел мне навстречу. Прочитав письмо Морозова, Николай Конст. просил говорить с ним без стеснения. Тогда я сказала, что в скором времени будет основана партия, которая ставит себе целью изменение государственного строя в России и завоевание политической свободы, что, следовательно, партия будет боевая и ей предстоит долгая и тяжелая борьба. Я сказала также, что Н. А. и я, мы решились известить его о предстоящем образовании партии, в виду того, что подобный факт общественной жизни не может не интересовать его, как писателя, и в виду того, что в печати скоро об нем будет об'явлено.

Разговор потом, естественно, перешел на выдающуюся роль, которую нелегальная литература займет в деятельности партии.

Моя миссия была окончена.

Михайловский выслушал меня с видимым интересом и благодарил за оказанное ему доверие. Прощаясь, я сказала, что по приезде в Петербург Морозов будет говорить с ним более подробно о программе партии и о ее первых практических шагах.

Тихомирова мне предстояло найти через Решко, которая назначила мне притти на следующий день в определенный час. В отдаленных комнатах, куда повела меня Решко и где я встретилась с Тихомировым, было несколько человек, которые пришли сюда по конспиративным делам.

На второй день пасхи, 2 апреля 1879 г., рано утром прибежал ко мне знакомый студент, взволнованный и перепуганный, с известием, что на царя было произведено покушение и стрелявший арестован.

В конце апреля я еще раз ездила в Финляндию и могла сообщить Николаю Александровичу, что в Петербурге спокойно и товарищи ждут его для неотложных дел. Возвратившись в Петербург, Н. А. познакомил меня с писателем Протопоповым, тогдашним сотрудником «Отечественных Записок». К этому же времени относится мое знакомство с Г. И. Успенским и С. Н. Кривенко, сношения с которыми сохранились у меня вплоть до моего ареста в 1882 г., точно

так же, как и с Михайловским. В этом же 1879 году возобновилось мое старое знакомство с семьей Анненских. С Александрой Никитичной мы когда-то учились вместе на Аларчинских и потом на Высших женских курсах. Но и с Николаем Федоровичем меня связывали давнишние дружеские отношения. Нарождавшаяся партия имела в виду наилучшим образом обставить свой литературный орган. С этой целью заводились связи с выдающимися писателями, которые могли сотрудничать в газете. Сближение с передовыми работниками русской литературы имело большое значение для партии. Их критика отражалась на произведениях «Народной Воли».

Но сами писатели доставляли мало статей для партийной печати, за исключением Михайловского, который сотрудничал более энергично и статьи которого в «Народной Воле» хорошо известны.

Нервы Глеба Ивановича совсем не выдерживали работы в революционном органе, и, если не ошибаюсь, он не поместил ни одной статьи в нашей газете. И это понятно. Глебу Ивановичу было слишком трудно оставить свою манеру писать и приспособляться к требованиям революционной литературы, и, разумеется, никто не хотел насиловать его талант. К нему все народовольцы относились бережно и с большой дружеской симпатией, или, проще говоря, все мы его очень любили.

Что касается Протопопова, то он раза два давал статьи для «Нар. Воли», но они браковались редакцией, как расплывчатые и мало содержательные, и на этом прекратились его отношения к молодой партии.

Близость передовых русских писателей к революционерам не осталась, в свою очередь, без влияния на общую литературу. Не раз случалось тем из нас, которые следили за тогдашней текущей журналистикой, встречать в статьях выдающихся писателей мысли, разработанные в народовольческой среде. Вообще, надо признать, что для обеих сторон общение было полезно и благотворно.

Этой весной совершилось в Москве убийство агента III отделения Рейнштейна. Он был рабочим на каком-то заводе в Петербурге, пристроился на службу в тайной полиции с целью выдавать своих товарищей-рабочих. Это ему удалось, и, чтобы скрыть следы своей деятельности, он переселился в Москву. Но к этому времени он попал в поле зрения Клеточникова, который сообщал все подробности о нем уже сложившемуся Исполнительному Комитету. Последний, хотя еще не об'являл о своем существовании и не принимал названия, которое прославило его впоследствии, но состоял из лиц, вошедших в него позднее, при возникновении «Народной Воли».

Так же, как при убийстве Мезенцова и харьковского губернатора Кропоткина, исполнители скрылись, остались неизвестными, и еще раз обнаружилось, что успешная борьба с правительством возможна

и осуществима. Убийство Рейнштейна было первым террористическим актом, в котором проявилась, как скрытая пружина, деятельность Клеточникова. Благодаря доставленным им сведениям, были раскрыты планы Рейнштейна, желавшего предать в руки жандармов всю московскую организацию, состоявшую из учащейся молодежи и рабочих. Список московских революционеров имелся уже в III отделении, и оставалось произвести массовые аресты, но следы убийства не удалось раскрыть, а когда попробовали произвести аресты, то многие из намеченных лиц оказались уехавшими из Москвы, у других обыски решительно ничего не обнаружили, и администрация была принуждена ограничиться высылкой в северные губернии нескольких студентов технического училища.

В мае был казнен Соловьев. Н. А. Морозов зашел ко мне и прочитал в рукописи воззвание, составленное по поводу казни. Оно было написано горячо и с увлечением. Н. А. спросил меня, поверила ли я словам обвинительного акта, что ночь перед покушением Соловьев провел в публичном доме. Я ответила, что думаю, что Соловьев дал это показание, чтобы прекратить допрос о том, где он находился перед покушением, но что, если б это была правда, я предположила бы, что он ночевал в публичном доме, потому что ему деваться было некуда. Н. А. остался очень доволен моим ответом, потому что он доказывал мою твердую веру в чистоту нравов борцов за свободу.

— Вы совершенно правы,—сказал он,—Соловьев, действительно, не ночевал в публичном доме.

Позднее я узнала, что эту последнюю ночь на воле Соловьев провел в квартире А. Д. Михайлова, и она прошла для них в дружеской и сердечной беседе. Под утро Соловьев ненадолго заснул крепким сном.

Около этого времени я познакомилась с Софьей Андреевной Ивановой, которая жила в Лесном на даче с А. Квятковским. Она звала меня навестить ее. Я побывала у нее и решила тоже поселиться в Лесном, чтобы быть ближе к своим новым друзьям. Я наняла верх небольшой дачи, состоявший из двух комнат и кухни, с отдельной лестницей, и жила без прислуги во избежание доносов.

В революционной среде в Петербурге настала полная тишина, так как приближалось время с'ездов в Липецке и Воронеже. Я еще проходила свой искус и ничего не знала о с'ездах. Вскоре туда же уехала Софья Андреевна, к которой я с самого начала нашего знакомства чувствовала дружеское расположение. Невольно привлекала к себе эта молодая женщина с юношеским лицом, с ясным характером, такая деятельная и быстрая на работу.

Время с'ездов у меня прожила Вера Ивановна Засулич, которую товарищи не пустили ехать в Воронеж, опасаясь, что она будет аре-

стована. Я была очень рада ее приезду и благодарна случаю, доставившему мне удовольствие познакомиться с ней. Как известно, Вера Ивановна не любила заботиться о мелочах обыденной жизни. Я приводила в порядок ее костюм, чтобы она могла показаться на улице, и устраивала ей свидания в Лесном парке с давнишними ее знакомыми, с которыми она давно не видалась. По возвращении со с'езда ее часто навещали Стефанович и Дейч, которых я тогда видела впервые. Они подолгу беседовали с Верой Ивановной и совещались с нею.

После ее от'езда кто-то из товарищей предупредил меня, что ко мне придет молодая особа, которую надо приютить на некоторое время. В ожидании гостьи я оставалась дома, боясь, чтобы она не нашла квартиру запертою. Как-то я сидела у окна за работой и услыхала легкие и быстрые шаги по лестнице; я оглянулась на входную дверь и увидала на пороге молодую женщину. Она откинула вуаль и стояла, улыбаясь мне. Это была Софья Львовна Перовская. Я тотчас узнала ее и бросилась ей навстречу с радостным возгласом. Мы расцеловались и как-то сразу перешли на «ты». Мы были давнишние знакомые еще с того времени, когда вместе учились на женских курсах в Петербурге. В 70 году, когда мы посещали Аларчинские курсы, где преподавали математику в об'еме гимназических программ, физику, химию и ботанику, С. Л. Перовской было от роду не более 17 или 18 лет. У нее были полные, румяные щеки, небольшие серо-голубые глаза, узкие, часто крепко сжатые губы, высокий лоб, белокурые волосы, которые она носила заплетенными в две косички, пришпиленные у головы, или остриженными. Она была невысока ростом, но крепко сложена, руки были маленькие и пухлые. Науками она занималась усердно и на курсах составляла маленький центр, вокруг которого группировалось несколько человек. Это были—Ободовская, три сестры Корниловы и Вильберг. Позднее, в 1872 г., большинство из этой дружеской компании перешло в кружок Чайковского. Но в первую зиму наших занятий на курсах в 1870 г. Софья Львовна жила в доме своих родителей в Петербурге, в Коломне. Дом был деревянный, выкрашенный в розовую краску, с белыми колоннами; в мезонине находились комнаты Софьи Львовны и ее старшей сестры. Здесь Перовская приготовлялась к лекциям и завела себе маленькую лабораторию для химических опытов. Несколько раз в том году я приходила к ней в мезонин, и мы вместе делали небольшие химические анализы или добивались требуемых реакций. Чтобы попасть наверх, надо было пройти через комнату, где находились обыкновенно родители Софьи Львовны, и она знакомила с ними. На этой почве в следующем году разыгралась семейная драма. Отец С. Л. Перовской был аристократ по рождению и вкусам. Для него было непереносимо, что у его дочери, в его доме, бывает подруга Вильберг, бедно одетая, даже с заплатами на своем дешевеньком черном

платье. Он об'явил Софье Львовне, что не допустит, чтобы Вильберг посещала ее, и, конечно, был уверен, что этого требования, выраженного в категорической форме, будет достаточно, чтобы положить конец появлениям молодой девушки, вид которой оскорблял его эстетические чувства. Но для Софьи Львовны было невозможно нарушить права дружбы, которые в ее глазах были священны. Ее любовь к подруге только усилилась от преследований отца, и ей пришлось сделать выбор между обоими. Для лиц, знавших характер Перовской, нетрудно было угадать, с кем она останется. Она сказала отцу о своем решении покинуть его дом, если он не примирится с присутствием Вильберг. В ответ он пригрозил тем, что оставит ее без паспорта и натравит на нее полицию. В тот же день Софья Львовна ушла из отцовского дома, чтобы больше не вернуться в него. Некоторое время она прожила в знакомом семействе в Твери, откуда велись переговоры с отцом о выдаче ей вида на жительство. Когда упрямый старик убедился, что может отравить существование дочери, но не сломить ее волю, он должен был согласиться выдать ей паспорт. С ним Перовская вернулась в Петербург, училась попрежнему, но другие интересы отвлекали ее внимание. В это время слагался кружок Чайковского, и Софья Львовна сделалась одною из его основательниц. В течение нескольких лет она оставалась деятельным членом организации и с увлечением отдавала свои силы народнической деятельности, которая составляла сущность кружка. Для пропаганды, а частью ради изучения народа и его жизни, С. Л. посетила различные местности России и живала в деревнях; чтобы иметь почву для сближения с крестьянством, она изучила, между прочим, фельдшерство. Ее привлекли к процессу «193-х», по которому она была оправдана и послана под надзор полиции в имение матери в Крыму. В том же году она была снова арестована и отправлена в Олонецкую губернию. По дороге ей удалось бежать. Это случилось на одной из железнодорожных станций, где жандармы, ее везшие, ожидали петербургского поезда. Они расположились с Софьей Львовной в дамской комнате и, пересиленные усталостью, крепко заснули на полу у порога. С. Л. выждала время отхода поезда, перешагнула через жандармов, села в вагон и несколько часов спустя была в Петербурге среди друзей, которые встретили ее с шумной радостью.

Она вступила в организацию «Земля и Воля» и в качестве ее члена отправилась в Харьков с целью организовать побег заключенных в центральной тюрьме. План этот пришлось покинуть, потому что товарищей перевели в Белгород во вновь отстроенную центр. тюрьму. В 1879 г. Софья Львовна приехала ко мне с Воронежского с'езда. Встретившись после многих лет разлуки, мы, однако, мало вспоминали прошлое, так как обе были поглощены настоящим и его интересами. Часто по делам заходили товарищи, приходила иногда Вера Ник., которая после Воронежского с'езда осталась жить в Петер-

бурге, и изредка показывался А. Д. Михайлов. Мы, с своей стороны, часто бывали в городе и возвращались вечером. Животрепещущей темой разговоров являлось только что состоявшееся разделение народников на две весьма неравные по силам части. В общем, в Петербурге были огорчены расхождением и жалели о товарищах. Насколько помнится, больше, чем о других, сожалели о разрыве с Родионычем, т.-е. с М. Р. Поповым, с Плехановым, с «Юристом», т.-е. с Преображенским. Однако, разделение не вызвало подавленности или уныния; настроение, наоборот, было очень бодрое и уверенное, и оно не могло быть иным в период образования новой партии, которая вскоре получила символическое имя—«Народная Воля». Раздражения, а тем более враждебности против товарищей, очутившихся в другой организации, тоже не было заметно, и с самого начала было решено, что в новом органе партии «Народная Воля» не будет уделено места полемике с прежними близкими товарищами и сотрудниками. Поэтому народовольцы были очень удивлены, когда в газете «Черный Передел» появились резкие выпады по их адресу, и они постановили оставить их без ответа.

В наших дружеских беседах Софья Львовна любила возвращаться к деятельности генерал-губернаторов, назначенных незадолго перед тем в крупные провинциальные города. Живя в Харькове, Перовская изучила со свойственной ей наблюдательностью характер Лорис-Меликова. Она с негодованием говорила о двойственности его политики, которая выражалась в том, что он, заигрывая с либералами, проявлял жестокость по отношению к так-называемым неблагонадежным элементам и вместе с тем подавлял все прогрессивные проявления, откуда бы они ни шли и в чем бы ни выражались.

Софье Львовне трудно было мириться с мыслью, что придется отказаться от плана освобождения, которому она отдавалась со всей силой ума и страсти. Она говорила, что если дело это временно оставлено, то она надеется все же вернуться к нему и довести его до конца.

В Одессе свирепствовал генерал Тотлебен через подставное лицо, своего помощника Панютина. Бесконечные вереницы ссыльных потянулись из Одессы в Сибирь. Софья Львовна с гневом и болью говорила о их страданиях и о том, что большая часть из них ни в чем неповинны, даже с точки зрения русских законов. Она знала многих из них и интересовалась судьбой каждого. Она старалась поддерживать связи с оправданными по процессу «193-х». Во время своего пребывания на юге она разыскала многих, виделась с ними и привлекла их к революционному движению. Кое-кто уже успел охладеть к общественной деятельности и отойти в сторону.

Софья Львовна часто вспоминала своих сопроцессников, осуждала малодушных и изверившихся. Вообще ее требования к революционерам были велики. Однажды она говорила о том, что революционерам необходимо сохранять власть над собой; их исключительное положение не должно туманить их головы.

— Прежде всего, мы люди,—сказала она,—и не должны чувствовать себя стоящими выше законов нравственности и гуманности, а, следовательно, свободными от них.

Непреклонность воли Перовской сказывалась даже в мелочах, и, кажется, не было той силы, которая могла бы заставить ее сделать то, чего она не хотела. В день ее приезда, когда мы поздно вечером ложились спать, я приготовила для нее постель с матрацем. С другой кровати матрац был унесен в квартиру, где он понадобился, и его заменяла кое-какая одежда. Когда Софья Львовна заметила мое намерение уступить ей более мягкую постель, она об'явила, что не ляжет на нее. Когда же я стала ее убеждать, она своей маленькой, но крепкой и сильной рукой отбросила меня на предназначенную для нее кровать, а сама легла на жесткое ложе и, таким образом, настояла на своем.

В начале августа приехала ко мне Галина Федоровна Чернявская, бежавшая из Одессы во время арестов Чубарова и его кружка. О казнях любимых товарищей Галина Федоровна прочла утром в газете. Помню взрыв ее гнева и печали, вызванный потрясающим известием. В тот день все приходившие к нам были глубоко взволнованы и потрясены. Никто не мог и не хотел простить правительству смерть товарищей. В особенности поражала и возмущала до глубины души расправа с Лизогубом. Мысль не мирилась с казнью этого идеального юноши не от мира сего, жившего, казалось, где-то высоко над землей и спускавшегося на нее только для того, чтобы снять с нее страдания и бедствия... Н. А. Морозов, сжимая кулаки, сказал:

— Динамит и револьвер будут ответом на эти казни.

А Алекс. Дм. Михайлов, глядя вдаль, как бы желая увидеть будущее, произнес медленно и сдержанным голосом:

— Правительство дорого заплатит за свои действия.

Позднее поселилась у меня Вера Николаевна Фигнер, и мы прожили с нею до осени. Множество лиц перебывало у нас за это время. Однажды приезжал к Вере Николаевне молодой человек с правильными и красивыми чертами лица, которого она отрекомендовала мне, как «богочеловека». Она осыпала его упреками за бесцельное существование, созерцательную жизнь и самообман. Он оправдывался, уверяя, что перестал быть «богочеловеком» и примкнул к «лавристам». Но его заявление нисколько не умилостивило Веру Николаевну.

— Все равно,—говорила она,—вы попрежнему останетесь в стороне от движения, будете сидеть сложа руки и заниматься самообразованием и самоусовершенствованием.

Она звала его сбросить апатию и вступить в ряды «Народной Воли». Но молодой человек, который ранее скрывался, а теперь хлопотал о паспорте и намеревался окончить свое университетское образование, не убеждался речами Веры Николаевны и так и исчез с нашего горизонта.

Вера Николаевна живала у меня еще раньше по нескольку дней. Однажды, в начале июня, когда она была у меня, приезжал присяжный поверенный Бардовский, брат казненного в 87 г. в Варшаве мирового судьи, с извещением, что деньги херсонского казначейства взяты и Россикова арестована.

Вскоре после посещения Бардовского мы узнали, что он заболел психически, а осенью того же года он умер в лечебнице для нервных больных.

В августе у нас появился Юрковский, который счастливо избег ареста, когда разыскивались деньги херсонского казначейства. В ночь после его первого появления у нас мы были разбужены шумом и стуком в наружную дверь. Естественно, явилась мысль об обыске. Я быстро оделась и сошла вниз, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, что стучал Юрковский, который просил дать ему ночлег. В Петербурге, возвратясь домой, он узнал от хозяйки, что его требуют в участок по случаю прописки паспорта. Он тотчас покинул квартиру и не придумал ничего лучшего, как ночью вернуться к нам, в Лесной. Юрковский был человек необыкновенно веселый, любивший шутки и неожиданные выходки. Как мы ни сердились за поднятую им тревогу, а пришлось смеяться вместе с ним, когда он рассказывал о своем приключении. Он очень проголодался; мы накормили его кое-как остатками ужина и постлали ему постель на полу в приемной комнате, которая служила также столовой. Но спали мы мало, потому что Юрковский через запертые двери еще долго развлекал нас своими удивительными рассказами. Когда на другой день наши товарищи узнали о неосторожности Юрковского, он получил строгий выговор за то, что подверг нас опасности и, в особенности, Веру Николаевну, которая была нелегальная и жила у меня без прописки.

С своей стороны, Юрковский возмущался тиранией, по его словам, существовавшей у народовольцев. Его бурный темперамент не укладывался в рамки партийной дисциплины, и он порицал организацию, которая стесняет действия своих членов даже в мелочах. Он предлагал нам выйти из партии и работать с ним в самостоятельной группе, которую он намеревался образовать. Но так как мы обращали его проекты в шутку, то ему только оставалось изобличать нас в рабском подчинении революционному уставу. Тем не менее, он продолжал бывать у нас, и его появление всегда сопровождалось веселым смехом. Однажды он привез Вере Николаевне, вследствие проигранного пари, белую ручную крысу из Петербурга и в ответ получил замечание, что занимается пустяками и безделием.

Переговоры Юрковского с «Народной Волей» не могли закончиться вступлением его в партию. Этому препятствовали особенности его характера, не мирившегося ни с какими программами или уставами. Состоялось, однако, некоторое соглашение между

ним и «Нар. Волей». Он уехал на юг искать нового случая вести подкоп под казначейство, условившись, что будет работать при содействии партии и пользоваться ее советами и указаниями, но сохранял полную автономию для себя. Вскоре после от'езда он был арестован в Киевской губернии и никогда больше не видал воли.

Для молодых читателей добавлю, а люди моего поколения и без напоминания знают, что Юрковский был крупной личностью. Это был человек больших сил, но несколько беспорядочный в делах, вследствие стремительности и безбрежной стихийности его натуры.

Партия сложилась, и во главе ее стал Исполнительный Комитет, организованный по типу строго законспирированных тайных обществ. Быть членом партии мог каждый человек с незапятнанной репутацией, признавший программу «Народной Воли» и желавший помогать ей всеми силами. Но для того, чтобы быть в тесном общении с Исполнительном Комитетом и принимать участие в его работах, требовалась санкция самого Комитета и выполнение некоторых формальностей.

Я находилась тогда в оригинальном положении. Присутствовавши при зарождении идей, легших в основание деятельности партии «Народная Воля», и способствовавши их теоретическому развитию и их укреплению, я не могла немедленно войти в организацию, потому что в нее был только один путь—через выборы после довольно продолжительного испытания на поприще практической деятельности. Вполне признавая основательность и необходимость такого установления, я охотно подчинялась ему и ждала решения моих товарищей, зная, что оно будет справедливо, даже если б оно сложилось не в мою пользу.

Время моего испытания близилось к концу, и мои товарищи стремились сократить его насколько возможно.

В один из последних дней пребывания у меня Веры Ник. зашел ко мне А. Д. Михайлов. Его появление обозначало важную цель, потому что он не был склонен к посещениям, не связанным непосредственно с делом. Он сказал, что на следующий день будут со мной говорить от имени Исполнительного Комитета, и назначил притти утром в кондитерскую на углу Лиговки и Невского, где он будет ждать меня, чтоб вести на квартиру к товарищу.

В назначенный час я входила в кондитерскую и увидала Александра Дмитр., сидящего за стаканом кофе и читающего газету. Мы вышли вместе и взяли извозчика. Проехав некоторое расстояние по Невскому, мы вышли, и А. Д. сказал, что мы идем на Михайловскую улицу. В одном из домов ее правой стороны он указал мне на открытую форточку во 2 или 3 этаже. Это означало, что все в порядке и мы можем войти. Опередив меня в коридоре, А. Д. постучал в дверь. Нам отворил Тихомиров. Это была его комната.

Мы обменялись несколькими незначительными фразами, а затем начался разговор, ради которого мы собрались. Вступление сделал Алекс. Дм. Он об'яснил, что партия, которая ставит себе целью борьбу с правительством, на стороне которого все превосходство физической силы, может быть только тайной. Но тайная организация существует и будет крепкой только при централизации и строжайшей партийной дисциплине. Эти условия заставили «Народн. Волю» выработать сложную систему отношений членов партии к Исполнительному Комитету, который стоит во главе партии, и членов ее между собой.

— А теперь говори ты,—обратился Ал. Дм. к Тихомирову,— ты более речист, чем я [1].

Сказанное Тихомировым заключалось в том, что Исполнительный Комитет из членов партии, пользующихся полным его доверием, выбирает себе агентов, которым поручает дела партии. Это агенты 1 степени. Каждый из них имеет право с согласия Комитета привлечь нескольких (2 или 3) агентов 2 степени, для которых организация партии остается тайной. Им известно только, что данным лицом они приглашены в агенты Исполнительного Комитета 2 степени и через это лицо сносятся с Исполнительным Комитетом. Для них остается также тайной, что это посредствующее лицо есть агент Исполнительного Комитета 1 степени. С своей стороны, агент 1 степени не имеет права говорить кому бы то ни было о своем звании. Это остается тайной между ним и лицами, принявшими его в агенты. Агент 1 степени обязуется хранить полное молчание о делах партии, доверенных ему Исполнительным Комитетом. Даже перед самыми близкими людьми он обязан соблюдать эту тайну. Состав Исполнительного Комитета остается для него неизвестен, и он сносится с ним через лиц, говоривших с ним от его имени.

— Теперь, — продолжал Тихомиров, — когда мы познакомили вас с организацией партии, мы оба заявляем вам, что по поручению Исполнительного Комитета мы предлагаем вам быть его агентом 1 степени. Но прежде, чем вы ответите, мы скажем вам, к чему обязывает звание агента. Вам придется исполнять поручения, какие возложит на вас Комитет, сообразно с ходом работ и с деятельностью партии. Вам нельзя будет от них отказываться даже в тех случаях, когда исполнение будет связано с большой опасностью. А опасности, каким подвергаются русские революционеры, вам известны. Вы знаете, что за принадлежность к революционному кружку в Киеве и в Одессе несколько человек были повешены. Вешали людей просто за распространение прокламаций. Вы знаете

[1] А. Дм. Михайлов, как известно, слегка заикался. Но усилиями воли он побеждал природный недостаток, и ему случалось даже произносить речи в довольно многолюдных собраниях.

также, что люди по целым годам томятся в тюрьмах в одиночном заключении. Опасности для народовольцев во много раз возрастают. Партия признала одним из средств борьбы с правительством террористические акты. На нашей обязанности лежит еще сказать вам, что отказ от агентства 1 степени почти невозможен. В виду того, что Комитет оказывает лицу, носящему звание агента, большое доверие и многие конспиративные дела ему известны, выход его из агентов может состояться только в самых редких случаях. Поэтому Исполнительный Комитет принимает в свои агенты только людей, сознательно готовых умереть за свои убеждения, не боящихся долгого и мучительного заключения. Обдумайте все, что мы вам сказали, и если вы не можете ответить сейчас, вы сделаете это позднее.

— Нет!—воскликнула я,—мне незачем откладывать мой ответ. Я скажу вам теперь же, что я готова умереть. Я считаю за счастье отдать свою жизнь за освобождение России от гнета самодержавия. А пока хочу отдать свои силы партии «Народной Воли» и работать с нею, потому что она борется за близкие и дорогие мне идеалы.

Тогда Ал. Дм. сказал, что он и Тихомиров по поручению Комитета принимают меня в агенты 1 степени и что это служит доказательством доверия, с каким Комитет относится ко мне.

Несколько минут позднее я шла по Невскому, направляясь к себе домой. Я не чувствовала земли под ногами. Огромная радость овладела мною. Сердце переполнилось восторгом. Мне казалось, что уже близок час, когда я отдам свою жизнь за счастье родного народа. Я переживала лучший день в своей жизни. И до сих пор я уверена, что тогда во всем мире не было человека счастливее меня.

Резких перемен для меня после вступления в агенты Комитета не произошло. Я постепенно знакомилась с делами партии по мере того, как принимала в них участие.

Наступила осень; оставаться в Лесном было неудобно и бесцельно. Я наняла комнату в Петербурге, а ради заработка поступила на службу в контору одного железнодорожного правления, помещавшегося на Театральной площади. Занятия в конторе продолжались до 4 часов, а остальное время я могла употреблять для партийной работы. Мое сближение с новыми товарищами продолжалось. В числе других лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться по делам, были: Мария Ник. Ошанина, ее сестра Наталья Ник. Оловенникова, Александр Квятковский, Геся Гельфман, Николай Алексеевич Саблин.

В литературе сохранились характеристики и жизнеописания большинства из них; но в воспоминаниях очень мало сказано о Ни-

колае Алексеевиче Саблине, и мне хочется представить читателям образ талантливого и безгранично доброго человека, с душой, открытой для любви к человечеству, отдавшего свою жизнь за «Народную Волю». Человек с таким мягким, почти кротким характером, какой был у Николая Алексеевича, не родится борцом. По убеждениям и наклонностям Саблин был пропагандист-народник. Его любовь к крестьянству и всему трудовому народу была глубокая и искренняя. Он обладал способностью сходиться с крестьянством и влиять на него. Его речь была образна и красива.

Такой человек неизбежно тяжело переживал переход от чистого народничества к борьбе за политическую свободу и представительный образ правления, которую начала «Народная Воля», оставаясь в то же время неизменно и коренным образом демократической и социалистической партией. Предстоявшая «Народной Воле» деятельность неизбежно отвлекала ее членов от работ в деревне и на фабриках. С этими условиями Ник. Ал. мирился с трудом. В глубине его чувств сохранялось тяготение к деревне, а исход борьбы молодой партии казался ему гадательным и цели ее достижимыми лишь в отдаленном будущем. Отсюда колебания, полные драматизма, присоединяться ли к «Народной Воле», или нет. Зато, когда сомнения кончились и Ник. Ал. предложил партии свои силы и свое сотрудничество, он жертвовал собой целиком, занимал часто самые опасные посты, взваливал на себя самые трудные обязанности. Он умер во цвете лет. 3 марта 1881 года он убил себя выстрелом в висок в тот момент, когда пришли арестовать его и Гесю Гельфман в Петербурге на Тележной улице, в квартире, где они исполняли роль хозяев.

Николай Алексеевич обладал поэтическим талантом, и его стихотворения печатались в сборниках 70-х годов. Самое большое из них по размерам носит название «Поток». В нем рисуется молодежь времен хождения в народ, расправа с пропагандистами и их муки по тюрьмам.

Николай Алексеевич и сам пережил страшный эпизод в одной из московских тюрем в 1873 или 1874 г. Он содержался в большой камере один среди уголовных арестантов и чувствовал себя вполне бессильным изменить уклад тюремной жизни. В ней царил произвол и жестокое обращение с арестантами, которые отвечали на внешнее насилие тем, что нравственно опускались все ниже и ниже. Быть свидетелем этой рабской жизни, полной унижения человеческой личности, доставляло Ник. Алекс. глубокие страдания. Чтобы избавиться от душевных мук, которые становились непереносимыми, он прибег к самоубийству. Размешав в воде мелко истолченное стекло, он его выпил, и последствием явилось воспаление желудка. Николая Алексеевича еле живого унесли в больницу. Когда он оправился, его увезли в Петербург в Дом предварительного заклю-

чения. Здесь он попал в товарищескую среду и снова стал жизнерадостным юношей.

Лучшим другом и товарищем его был Ю. Н. Богданович. Их соединяли общие черты характера, общие симпатии и стремления.

В своей одинокой комнате я прожила недолго. Марья Николаевна Ошанина предложила мне поселиться в ее квартире ради сокращения расходов, и я с удовольствием переехала к ней.

Наступил ноябрь, и в первой половине его я получила поручение от Исполнительного Комитета, связанное с поездкой в Москву. В конторе, где я служила, я попросила краткосрочный отпуск, сказавшись больной. В Москве я прожила несколько дней на квартире, в которой хозяином был Арончик, так быстро погибший в крепости после процесса «20-ти». Мне кажется, и сейчас еще в Москве существует на Собачьей площадке тот небольшой деревянный дом с мезонином, в котором тогда ютились народовольцы.

После моего возвращения в Петербург и отчета, который я сдала Комитету о результатах поездки, жизнь потекла попрежнему.

19 ноября произошел взрыв поезда под Москвой. Для всех было ясно, что событие будет иметь крупные последствия в общественной жизни.

Несколько дней спустя в нашей квартире появился Гартман, которого тогда спешно снаряжали за границу. Его отпускали охотно, потому что в России было бы невозможно его уберечь от ареста. Вернувшись однажды домой со службы, я застала сидящим в нашей столовой у стола худощавого молодого человека с продолговатым лицом и светлыми волосами, с вязаным шарфом на шее. Марья Николаевна шутя сказала мне:

— Не думай, что это простой человек; это—Гартман, хозяин дома из-под Москвы.

В ответ на ее слова Гартман улыбнулся. Он не расставался с своим шарфом, потому что на шее у него были глубокие шрамы, и по этой примете полиция искала его потом по всей России.

Из нашей квартиры происходила рассылка прокламаций, выпущенных по случаю 19 ноября. Нам доставляли их большими пачками. Мы распределяли их по конвертам, надписывали адреса, наклеивали марки, а по вечерам разносили их по Петербургу и опускали в почтовые ящики. В этой работе нам помогал Александр Квятковский, который принес памятные книжки разных городов. Из них мы выписывали адреса.

Вскоре приехали в Петербург работники из-под Москвы, Александровска и Одессы. К этому времени известность «Народной Воли» значительно возросла. О ней много говорили. Публика была склонна даже преувеличивать силы партии. Но сами члены ее, а члены Исполнительного Комитета в особенности, знали, что

истинная сила ее заключается в их собственной напряженной работе, в их безграничной преданности интересам революции и в их самоотвержении.

— Кто не боится смерти, тот почти всемогущ,—говорил не раз А. Д. Михайлов.

Одна из причин, почему молва о «Народной Воле» росла и партия в умах людей принимала гигантские размеры, заключалась в оговорах Гольденберга. Арестованный незадолго до 19 ноября 1879 г. и посаженный в Петропавловскую крепость, он стал рассказывать все, что знал. Между прочим, он выдал правительству сведения о предполагавшихся покушениях под Александровском и под Одессой. На основании показаний Гольденберга производились следствия на местах, и известия о задуманных покушениях были опубликованы в газетах. Таким образом, вся Россия узнала, что силы партии не были сосредоточены под Москвой и их хватило еще на одновременные предприятия в двух других пунктах. Производил также огромное впечатление тот факт, что по делу о покушениях на взрыв царского поезда непосредственно после 19 ноября не был арестован ни один из участников. Все остальные разоблачения Гольденберга, несмотря на свои обширные размеры, также не привели ни к чему. Правительству в то время не удалось захватить никого из тех членов «Народной Воли» и Исполнительного Комитета, о которых Гольденберг сообщал характеристики, и несмотря на то, что он сообщил их имена и подробно указал их приметы. Партию охранял Клеточников, и его предупреждения нейтрализовали вред гольденберговского предательства. Многие лица, пораженные развертывавшейся деятельностью «Народной Воли», предлагали ей услуги и деньги.

С Марьей Николаевной мы жили очень дружно. Нас соединяла взаимная симпатия. Я полюбила эту выдающуюся по уму и энергии женщину, преданную освободительному движению всецело и без остатка. Ее же дружба ко мне сохранилась до самой ее смерти.

Поздно вечером, когда затихала дневная суматоха и всякая работа приходила к концу, мы вдвоем просиживали еще некоторое время за беседой. Марья Николаевна описывала мне попытку освобождения Войнаральского под Харьковом, в которой она принимала деятельное участие. Часто в своих рассказах она возвращалась к своему первому учителю Зайчневскому, который в молодые свои годы находился в административной ссылке в г. Орле, откуда семья Оловенниковых была родом. Под его влиянием Марья Николаевна стала социалисткой и революционеркой. Она говорила мне также, почему она не могла примкнуть к народническому движению, никогда не была пропагандисткой, и в силу чего ее политические

взгляды носят некоторую якобинскую окраску, в чем ее часто упрекали и чего она сама не отрицала. Она не верила в возможность пробудить революционное настроение в крестьянстве и еще менее считала возможным, чтобы крестьяне или рабочие того времени создали самостоятельное движение. Она считала их для этого слишком свыкшимися с историческим рабством в России.

— Я люблю и в то же время ненавижу русских крестьян за их покорность и терпение,—говорила она.

Обыкновенно Марья Николаевна, только-что проснувшись и наскоро одевшись, принималась за неотложную работу или, второпях выпив утренний чай, шла куда-нибудь по партийным делам. Позднее я видала ее в Москве в 1881 году летом, когда она лежала тяжело больная в меблированной комнате, где обыкновенно жила. При ней не было никого для ухода за ней и не было почти медицинской помощи. Когда нужен был совет по делам «Народной Воли» или решение какого-нибудь важного вопроса, шли к ней. Она, забывая свою болезнь, выслушивала об'яснения, расспрашивала о всех подробностях и обстоятельствах дела и давала советы и наставления.

На нашей же квартире я познакомилась с Баранниковым, когда он вернулся в Петербург. Есть люди, которых природа создает как бы специально для защиты слабых и угнетенных. Это их рыцари. Обладая железными мускулами и большою физическою силой, снабженные в высокой степени чувством справедливости и, вместе с тем, чистым и нежным сердцем, они вступают за нарушенные права обиженных и оскорбленных, как бы повинуясь приказам судьбы. На их долю, естественно, выпадает обязанность защищать общие права граждан и вооруженной рукой завоевывать для них попранную и ими почти забытую свободу. Таков был Баранников, или Семен, как его звали в товарищеской среде.

Настроение его всецело зависело от состояния дел партии. Когда все шло хорошо, значение партии росло, процветала литература и какое-нибудь предприятие быстро подвигалось вперед, Семен расцветал, все его силы напрягались, он весь отдавался работе и опасностям. Когда же наступали будни, партийная жизнь временно как бы замирала и текла медленнее вперед, он делал все, чтобы разбудить новую энергию в товарищах, придумывал выход из трудного положения, а когда этого не удавалось, ходил унылый и грустный. Разногласия в Комитете, хотя весьма редкие, мучительно отзывались на нем.

— Все это не важно,—говорил он тогда, — одно только важно, чтобы мы боролись с врагом и побеждали.

Для него была непереносна мысль причинить кому-нибудь неприятность, и он вряд ли за всю свою жизнь сказал кому-нибудь обидное слово. Однажды в заседании Исполнительного Комитета, когда обсуждалось чье-то предложение, Баранников упорно молчал.

— Что же вы молчите, Семен?—спросил его кто-то из присутствовавших.

— Я не согласен с предложением, а не хочется обидеть автора его своим отказом, поэтому молчу,—сказал он и своим ответом развеселил всех.

Ему часто приходилось показываться на улицах Петербурга в качестве прогуливающегося дэнди, безукоризненно одетого, видимо беззаботного и праздного. Осенью 1880 г., в одну из таких прогулок, он нашел подвал на бывшей Малой Садовой улице, отдававшийся в наем и ставший вскоре сырной лавкой Кобозева.

Баранникова нельзя было назвать красивым: для этого, пожалуй, его нос был слишком широк, цвет лица очень смуглый и без тени румянца, но его красил высокий, стройный рост и черные волнистые волосы.

После ареста паспортного бюро (кажется, у Мартыновского) пришлось ликвидировать квартиру, где мы жили с Марьей Николаевной. Это произошло при следующих обстоятельствах.

Как-то понадобился крестьянский паспорт для выезда в провинцию. С этой целью была снята копия с паспорта нашей кухарки. Этот снимок сохранился и был взят при упомянутом аресте. Немедленных последствий нельзя было ожидать, но, с другой стороны, конспиративная практика не допускала спокойно выжидать результатов. В виду этого пришлось принять некоторые меры предосторожности. Марья Николаевна выписалась из квартиры и стала жить в Петербурге по другому виду. Я же поместилась у одной знакомой мне старухи, которая была мне очень предана и которая, несомненно, предупредила бы меня в случае справок со стороны полиции или малейшей для меня опасности.

Около середины января я была избрана в члены Исполнительного Комитета. Об этом пришли сказать мне Марья Николаевна и А. Д. Михайлов. Меня убедил согласиться на решение Исполнительного Комитета довод, что необходимо пополнить его ряды.

Главная сущность приема состояла в изложении целей партии и средств к их достижению. Что касается до организации самого Комитета, то выход из его членов признавался уставом недопустимым. В сношениях с посторонними лицами члены Комитета выступали, как агенты, а не как члены его. Устав составлял большую тайну и тщательно охранялся от провала при обысках. Однако, в 1882 г. он был взят в квартире Грачевского при его задержании.

В момент моего вступления в Комитет его членами состояли: Желябов, Н. А. Морозов, А. В. Якимова, А. Д. Михайлов, Баранников, Исаев, М. Ф. Фроленко, С. Л. Перовская, Т. Ив. Лебедева, О. С. Любатович, В. Н. Фигнер, М. Н. Ошанина (Оловенникова), А. Квятковский, Бух, С. А. Иванова, Тихомиров.

Несколько дней спустя произошел арест Квятковского и потом трагический провал типографии в Саперном переулке. Это были первые удары, нанесенные непосредственно Исполнительному Комитету. Из его состава выбыли трое: Квятковский, Бух и С. А. Иванова.

Чтобы пополнить его, были выписаны с юга Колодкевич и Савелий Златопольский. Они прибыли в Петербург в феврале и были приняты в Комитет.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 1879—1881 Г.Г. [1]

Кто-то назвал Исполнительный Комитет партии «Народная Воля» цветом русской интеллигенции конца 70-х годов, и это определение, пожалуй, верно не только в моральном, но и в физическом смысле слова.

Многие из членов Комитета выдавались физической силой, почти все были здоровые, крепкие люди и обладали ничем не поколебленной и не поврежденной нервной системой. Исключение составлял Тихомиров, который провел лучшие годы своей юности в Петропавловской крепости и вышел оттуда с надорванным здоровьем. С тех пор он стал походить на пожилого человека и получил от товарищей прозвище «Старик».

Возраст всех членов Комитета определялся между 24 и 30 годами. Над этими отличительными чертами высились моральные свойства, которые были общи всем без исключения: огромная действенная энергия, большая сила воли и беспредельная стойкость.

Между членами Комитета не было ни одного честолюбца, и о том, чтобы завоевать себе славу, из них каждый думал так же мало, как о том, чтобы сделаться китайским богдыханом.

Движущей силой их деятельности и их направления была глубокая и неисчерпаемая любовь к ближним, особенно к трудовым классам русского народа. Прежде, чем стать революционерами, они были альтруистами по своей природе. Отстаивая интересы народа, они взялись за оружие и стали террористами.

Обладая такими данными, члены Комитета, естественно, должны были сконцентрировать в своей среде часть революционного пыла, имевшегося в то время в России, и вследствие этого Комитет оказался способным начать открытую борьбу с самодержавием и одержать над ним первые решительные победы.

В основной состав Комитета вошли лица, организовавшие Липецкий с'езд в июне 1879 года; это были: Александр Михайлов, Николай Морозов, Баранников, Квятковский, Тихомиров Мария Ошанина и приглашенные ими на с'езд Ширяев, Фроленко, Желябов и Колод-

[1] «Каторга и Ссылка», 1926 г., № 3 (24).

кевич. К ним на Воронежском с'езде, состоявшемся несколькими днями позднее, присоединились: В. Н. Фигнер, Перовская, С. А. Иванова и в Петербурге А. В. Якимова, Лебедева Григорий Исаев и Бух. Окончательно Исполнительный Комитет сложился и начал функционировать в начале августа того же 1879 года, тотчас после распадения общества «Земля и Воля» на «Народную Волю» и «Черный Передел». Комитет в переименованном мною составе был основателем партии «Народная Воля», и им выработана программа, которая была напечатана в № 3 нового органа печати.

Как понимали члены Комитета поставленную ими себе задачу? Они хотели освободить духовные силы, дремлющие в народных массах, дать возможность развиться народу духовно и умственно, дабы он мог при помощи знаний создать для себя культурную и свободную, а в экономическом отношении — обеспеченную жизнь.

Но такая цель могла быть достигнута только при условии коренного изменения социального положения крестьян и рабочих в России. Поэтому программа «Народной Воли» признала право крестьян на землю и необходимость подготовительных мер к переходу фабрик и заводов в руки самих рабочих.

Освобождение народного гения от пут полицейско-патриархального и вместе с тем жестокого управления представлялось народовольцам светлой и привлекательной жизненной задачей; даже больше, это был святой подвиг, который от живущего тогда поколения требовала родина-мать. На ее призыв шли сынсвья и дочери ее, не колеблясь ни минуты, не оглядываясь назад на тихую и мирную жизнь, которую они покидали.

Конечную цель их стремлений можно коротко формулировать словами: при радикальном изменении положения рабочих, при владении крестьянами достаточным количеством земли и средствами к ее обработке трудовой народ будет иметь возможность вести безбедное существование и при помощи умственного развития и просвещения найдет дорогу к лучшему и счастливому будущему.

Однако, члены Комитета сознавали, что кучке людей не удастся наладить необ'ятную по размерам народную жизнь в России, и поэтому они были убеждены в необходимости и пользе учредительного собрания, избранного всей страной, решения которого народ в силу этого всеобщего избрания примет беспрекословно.

Крестьянство в России было нищенски бедно вследствие недостаточного количества земли, которым владело и которое с приростом населения неудержимо уменьшалось пропорционально на душу. Другая причина крестьянской бедности заключалась в том, что подати и налоги были несоразмерно велики с доходами от земли; ко всему этому еще прибавлялось то обстоятельство, что крестьянство было окружено и опутано эксплоататорами всяких родов и сортов.

Рабочим фабрик и заводов, в то время еще весьма немногочисленным сравнительно с крестьянством, жилось не лучше крестьян. Их

труд был не менее тяжел, чем крестьянский, а плата за него баснословно мала. Умственный уровень большинства рабочих был немногим выше крестьянского, а всякий приток знаний и мысли в их среду пресекался правительством так же тщательно, как и попытки культурных и революционных слоев интеллигенции проникнуть в деревенскую глушь.

Словом, народу грозила гибель от бедности и невежества, а вырождение расы было не за горами. Таким образом, революция была необходима и неизбежна. Ее возникновение до некоторой степени являлось коррективом к ошибкам и искажениям, допущенным Александром II при освобождении крестьян. Народовольцы взяли на себя задачу ускорить наступление революции и прежде всего решились уничтожить гнет самодержавия.

Однако, надо признать тот исторический факт, что задолго до появления новых революционеров и даже первых народников-пропагандистов в России существовала сила, будившая недоверие к царской власти и недовольство ею, а позднее сеявшая в сердцах людей первые семена протеста и гнева против самодержца и его правительства.

Этой силой была честная, правдивая, искренняя и неподкупная русская передовая литература в лице ее незабвенных представителей. Под их влиянием выросла и сложилась лучшая часть молодежи 70-х годов, и, разумеется, радикалы, пропагандисты-народники, а также те юноши, которые в зрелом возрасте стали членами Исполнительного Комитета партии «Народная Воля». Отличительной чертой передовой литературы было ее народническое направление. Все выдающиеся русские писатели без исключения в своих произведениях в той или иной форме отстаивали интересы трудового класса, разоблачали его бедственное положение, его бесправие и угнетение, указывали на меры, которые должны быть приняты и осуществлены, чтобы положение крестьян и рабочих улучшилось и стало хоть сносным.

Правительство не оставалось равнодушным к значению и влиянию передовых писателей. Оно сдерживало их порывы посредством варварской цензуры, а при попытках выйти из повиновения оно карало писателей разнообразными способами.

Журналы и газеты, в которых печатались статьи, неугодные царским слугам, закрывались; книги, заключавшие в себе правду о жизни крестьян и рабочих, об общем бесправии и проч., конфисковывались и даже сжигались. Самих писателей часто сажали в тюрьмы или ссылали. Многие не выдерживали душевной муки—знать правду о народной жизни и быть вынужденными умалчивать о ней... Бывали случаи, что талантливые русские писатели пили горькую, некоторые сходили с ума или прибегали к самоубийству.

Говоря о тяжелом положении русских передовых писателей XIX и XX в.в. (вплоть до революции 1917 года), мы не можем и не должны

забывать страшной мести, направленной Александром II и его приближенными против талантливейшего русского публициста-мыслителя Николая Гавриловича Чернышевского. Трагизм судьбы Чернышевского состоит не только в том, что он был осужден в каторгу на основании подложного документа, и не только в том, что его вывозили на Мытнинскую площадь в Петербурге и ставили к позорному столбу для выслушивания приговора сената, но, главным образом, в том, что по окончании срока каторги он был отправлен в таежную полосу северной Сибири, в городок Вилюйск; там он помещался в тюрьме под постоянным присмотром двух жандармов и в таком положении, почти в полном одиночестве, прожил 12 лет (с 1871 по 1883 год). Вернулся он из этой бесчеловечной ссылки стариком, с подорванным здоровьем, и вскоре умер.

Не одни литераторы падали жертвою мести и боязни деспотов лишиться власти. Каждый сказавший свободное или правдивое слово платился за него тюрьмою или высылкой; всякий, кто не хотел гнуть шею или притворяться, что вполне доволен управлением страною, оказывался в участке или за тюремной решеткой.

Тогда за борьбу против всеобщего бесправия взялась самая юная и самая энергичная часть интеллигенции—учащаяся молодежь и люди, которые не знали еще житейских забот и мелочей.

Русский народ с давних времен определил программу, которая нужна для его процветания и развития. Она заключается в магических словах: «Земля и Воля».

Этот клич в 70-х годах был подхвачен социалистической молодежью, а с середины 1879 года осуществление народного завета перешло к партии «Народная Воля» и ее Исполнительному Комитету.

Если бы члены Комитета, погибшие в начале 80-х годов, прожили долгие годы, им удалось бы совершить переворот, замышлявшийся тогда. У них достало бы для этого умения, сил и энергии. Они на своих плечах внесли бы Россию на новый путь светлой и счастливой жизни.

Заканчивая эту главу моих воспоминаний об Исполнительном Комитете, мне хочется привести маленький пример того, как обаятельно действовали личности членов Комитета на непредубежденные и чуткие натуры.

Летом 1880 года, живя в Петербурге, я повредила себе ногу и временно потеряла возможность ходить, а ухаживать за больным человеком на комитетской квартире, где я находилась, некому было; поэтому пришлось недели на две лечь в клинику.

По случаю летних каникул прием в больницу был прекращен, но А. В. Якимовой удалось, в силу каких-то знакомств, поместить меня в хирургическую палату. Кроме меня, в этой палате находилась еще молодая девушка, по профессии швея. Она была тяжело больна, и вряд ли ей суждено было долго прожить на свете. Месяца за два

перед тем ей сделали тяжелую операцию, которая, однако, не привела к выздоровлению. Бедная девушка обрадовалась моему появлению. Теперь ей было с кем говорить и отводить душу.

Однажды я была обрадована посещением моих товарищей. Пришли навестить меня Желябов, Перовская, Баранников и Исаев. Все они были в хорошем настроении духа, все шутили; слышался беззаботный смех. Когда мои гости ушли, больная сказала мне в экстазе: «Первый раз в жизни я видела таких людей. Откуда вы их взяли? Где вы их нашли и так хорошо с ними познакомились?». Я улыбнулась ей в ответ и сказала, что это мои давнишние знакомые. Больная не унималась; ей трудно было освоиться с совершенно новыми для нее впечатлениями. «Не скажешь, ведь, кто из них лучше,—восклицала она,—все хороши, один лучше другого; все умны, все веселы, и, видно, все добры, добры, добры!». Несколько раз говорила она мне: «Вы счастливы, что у вас такие хорошие знакомые; а я таких людей даже никогда не видала».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ» И УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ[1].

Это было весной 1880 года, на пасхе... Члены Исполнительного Комитета «Народной Воли» обсуждали и разрабатывали вопрос об учредительном собрании. Тогда еще были на свободе все столпы партии: Желябов, А. Д. Михайлов, М. Ф. Фроленко, Кибальчич, А. В. Якимова, Т. Ив. Лебедева, Баранников, Исаев, Колодкевич, М. Н. Оловенникова. Я перечислила тех из членов Исполнительного Комитета, которые тогда находились в Петербурге и принимали участие в суждениях об учредительном собрании.

Не совсем случайно вопрос этот разрабатывался именно весной 1880 года. Зима с ее чрезвычайно напряженной работой была пережита, а летний период борьбы еще не начинался. Зимние месяцы были посвящены организации только-что возникшей осенью 1879 г. партии, увеличению числа ее членов, расширению ее связей и непосредственной борьбе с самодержавием. С этой целью было осуществлено в ноябре весьма сложное по обстановке и трудное по исполнению покушение на царский поезд. Огромную затрату сил и энергии потребовало основание партийного органа и непрерывное издание его. Часть зимы была употреблена также на установление правильных сношений с товарищами-эмигрантами, на защиту Гартмана перед французским правительством, от которого русские власти требовали выдачи участника в покушении на царский поезд. Февраль ознаменовался знаменитым взрывом в Зимнем дворце. Лето 1880 года

---

[1] «Былое», 1918 год, № 4—5 (10—11).

должно было пройти и прошло в дальнейшем развитии партии, в основании новой и усовершенствованной типографии, в подготовке новых ударов по самодержавию. В пасхальные дни 1880 года члены Комитета физически несколько отдыхали и, поэтому, имели возможность сосредоточить мысли на теоретической части программы партии. 37 лет назад вопрос об учредительном собрании являлся столь отдаленной еще целью, что самый факт обсуждения его казался странным и непонятным для людей, стоявших вдали от Исполнительного Комитета. Но великие друзья народа стремились к прозрению будущего.

Я помню незабвенное время, когда несколько дней под ряд не снимался с очереди вопрос об учредительном собрании. Как известно, по плану, выработанному тогда Исполнительным Комитетом партии «Народная Воля», власть, присущая учредительному собранию, основывалась на всенародном избрании его участников. Население, посылавшее в него своих представителей, должно было знать заранее, что все постановления учредительного собрания будут обязательны для всей страны. Между прочим, обсуждался случай, как поступить партии, если народ окажется недостаточно подготовленным, чтобы оценить блага республиканского образа правления, и учредительное собрание вновь восстановит свергнутое партией самодержавие. Теперь трудно вспомнить все прения, возникшие по этому поводу, но они завершились единогласным решением членов комитета: «В видах избежания анархии в стране ни в каком случае не нарушать и не умалять верховной власти учредительного собрания, а, следовательно, признать даже царское правительство в случае, если оно будет восстановлено учредительным собранием, но сохранить за партией право пропаганды республиканской идеи и это право отстаивать всеми доступными партии средствами». Само собой разумеется, высказывая такое решение, члены Комитета имели в виду, что выборы в учредительное собрание по всей стране произойдут свободно, без всякого давления с чьей бы то ни было стороны, и что выборы не будут ни фальсифицированы, ни искажены какими бы то ни было способами. При этом многие из присутствовавших высказали уверенность, что народ, ознакомившись с сущностью республиканского образа правления, никогда при помощи учредительного собрания не захочет снова наложить на себя ярмо самодержавия, если оно окажется свергнутым партией «Народная Воля».

Все перечисленные мною члены комитета были тогда молодыми. Мало кому из них минуло 30 лет. Обладая огромным запасом физических сил и здоровья, они легко могли бы дожить до теперешнего времени.

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О «ПИСЬМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА К АЛЕКСАНДРУ III»[1].

1 марта, часа в четыре пополудни, Исполнительный Комитет собрался на конспиративной квартире у Вознесенского моста. Все были глубоко взволнованы важностью только что совершившегося исторического события и тех задач, которые предстояло немедленно выполнить Комитету.

Предстояло тотчас опубликовать извещение о факте 1 марта. Тихомиров, который исполнял, так сказать, роль статс-секретаря Комитета, удалился в соседнюю комнату, где им была написана прокламация Комитета, помеченная 1 марта.

В то время, как он писал, Комитет обсуждал вопрос о воззвании к народу. Обсуждение продолжалось и после того, как Тихомиров прочел прокламацию, и она была одобрена Комитетом и отправлена для напечатания в типографию «Народной Воли».

После того, как были выяснены основы воззвания к народу и намечены главные пункты его, составить его взялись совместно несколько лиц; насколько я помню—Перовская, Исаев и Богданович.

2 и 3 марта Исполнительный Комитет для своих совещаний собрался на той же квартире у Вознесенского моста. Кроме неотложных практических дел, ему в эти дни приходилось решать дальнейшие вопросы о выпуске воззваний. Прокламация к крестьянству, известная впоследствии под сокращенным названием «Ко всему народу русскому», была принята Комитетом в одном из ближайших собраний и помечена 2 марта.

Возник вопрос об обращении к обществу, в котором должны были быть выяснены сложные мотивы, приведшие к событию 1 марта, и вслед за тем явилась мысль заменить подобное воззвание обращением к новому правительству. Оно должно было дать правительству ясное представление об ошибочности политики, практиковавшейся в царствование Александра II, и, вместе с тем, открыть ему путь для замены прежнего образа действия иным, мирным и светлым, результатом которого было бы народовластие и свобода России.

Немедленно в собрании Комитета поднялся вопрос, стоит ли обращаться к правительству, есть ли малейшая надежда на то, что предложения Комитета будут им приняты. Никто из членов Комитета не питал такой уверенности; всем упорство русского правительства было хорошо известно; все знали, что отречение от византийства можно вырвать у него только силой. Тем не менее, Комитет решил обратиться к правительству, открывая для него возможность с честью закончить борьбу, завязавшуюся между ним и русской революцион-

---

[1] «Былое», 1906, № 6.

ной партией, за которой стояли, если не самолично все жители страны, то, несомненно, жизненные интересы всего народа. Обществу же, таким образом, доставлялся случай стать судьей обеих борющихся сторон.

Поручение Комитета взялись исполнить два лица—Грачевский и Тихомиров. Чтение обоих произведений в Комитете состоялось на конспиративной квартире в Коломне. Собрание происходило днем 7 или 8 марта. На нем присутствовали: С. Л. Перовская, Суханов, Т. Ив. Лебедева, Исаев, Грачевский, Фроленко, Тихомиров и хозяева квартиры: С. Златопольский и я. В. Н. Фигнер в этот день не могла притти, так как дела задержали ее дома.

Присутствовавшие не одни составляли тогдашний Исполнительный Комитет. Некоторые из его членов находились в то время в Москве и других городах России.

Первым читал свой проект обращения к правительству Грачевский. У него изложение причин, приведших к 1 марта, было выполнено обстоятельно и недурно. В общем же проект его не получил одобрения Комитета.

Тихомиров придал обращению к правительству форму письма, которая была найдена удачною, самое изложение большинством присутствовавших было признано удовлетворительным, и выбор Комитета окончательно остановился на произведении Тихомирова. Во время прений, однако, были указаны поправки, которые нужно было внести в текст, и сделаны некоторые возражения, касавшиеся, между прочим, требований, выставленных в конце письма. Особенно горячее участие в прениях принимали Перовская и Суханов [1].

На этом же собрании Комитет поручил Тихомирову прочесть письмо Н. К. Михайловскому, как одному из редакторов партийного органа «Народной Воли». Существенных изменений без согласия Комитета Михайловский не мог внести в текст письма, да он их и не предложил. По словам Тихомирова, Николай Константинович дал лестный отзыв о рукописи и сделал в ней лишь одну или две стилистические поправки, которые были охотно приняты Комитетом при втором чтении письма, которое состоялось на другой день (или через день) после первого чтения, на квартире у Вознесенского моста, где происходили заседания Комитета в первых числах марта и хозяевами

[1] По воспоминаниям М. Ф. Фроленко, арестованного еще 17 марта, т.-е. вскоре после выхода в свет письма Исп. Ком., Суханов говорил ему, что он сначала относился не совсем одобрительно к его содержанию, кажется, за недостаточное развитие той части письма, которая касается причин, вызвавших событие 1 марта. Но однажды ему пришлось присутствовать на чтении письма среди офицеров. Он видел действие его на них и с тех пор стал решительным его поклонником. В новом для него освещении оно казалось ему совершенством. «Оно кратко, сильно, выразительно,—говорил Суханов,—во всем соблюдена мера, и оно написано с чувством собственного достоинства. Словом, лучшего письма не могло быть».

которой были Гр. Исаев и В. Н. Фигнер. Эта квартира имеет свою громкую историю благодаря значению, которое выпало на ее долю в тревожные дни начала 1881 года.

При втором чтении, кроме вышеперечисленных лиц, бывших при первом чтении, присутствовала также Вера Николаевна Фигнер, но не было Перовской. Ее арест произошел утром 10 марта; этим днем помечено «Письмо Исполнительного Комитета к Александру III».

На втором собрании Комитетом была принята окончательная редакция, после чего Грачевский отнес рукопись в типографию «Народной Воли» (на Подольскую улицу), хозяином которой он состоял. С тех пор типография работала день и ночь, печатая в большом количестве как письмо, так и воззвание «Ко всему народу русскому».

Один экземпляр письма был особенно тщательно отпечатан на веленевой бумаге и вложен в конверт, на котором значились титул и имя Александра III. Письмо было опущено в почтовый ящик, находящийся у здания думы по Невскому.

Была еще одна конспиративная квартира, связанная с историей «Письма Исп. Ком.». Она помещалась в Коломне. В виду того, что ее история, освещающая до известной степени внутреннюю жизнь тогдашних революционеров, может представить некоторый интерес для читателей, я решаюсь посвятить ей здесь несколько строк. История ее такова.

За несколько дней до 1 марта Савелий Златопольский и я заняли помещение в гостинице на Загородном проспекте, против Технологического института. 2 или 3 марта мы начали искать квартиру для собраний Исполнительного Комитета. Подходящая квартира скоро была найдена, и тотчас Златопольский и я поселились в ней. Она помещалась в верхнем этаже двухэтажного дома и имела ход с улицы. Златопольский выдавал себя за книгопродавца из Киева, а меня за свою супругу. Мебель была куплена в дешевом магазине, и вскоре после того квартира начала функционировать. Первое собрание Комитета в ее стенах было то, на котором Тихомиров впервые читал «Письмо к Александру III».

IV. Воспоминания о товарищах-народовольцах.

ПО ПРОЧТЕНИИ АВТОБИОГРАФИИ А. Д. МИХАЙЛОВА [1].

Трудно добавить что-нибудь существенное к материалам, уже известным о личности и деятельности А. Д. Михайлова. Его автобиография и примечания к ней [1] дают совершенно верное представление об этом незабвенном деятеле русской революции.

По натуре это был цельный, уравновешенный и жизнерадостный человек. Самый процесс жизни доставлял ему наслаждение, никогда не омрачавшееся ни бурями личного свойства, ни сильными страстями. Своих стариков-родителей, создавших для него счастливое и безмятежное детство, он любил горячо и нежно, равно как и братьев и сестер. Обаяние, которое А. Д. производил на людей, сочувствовавших партии «Народная Воля», было очень велико, благодаря приветливости его нрава, вниманию, с которым он относился к индивидуальным свойствам личности, и силе воли, которая сознавалась всеми приходившими с ним в соприкосновение. Когда он являлся к лицу состоятельному и предлагал ему денежным взносом поддержать дело народного освобождения, то это лицо чувствовало, что даст денег и именно столько, сколько укажет сам А. Д., и тугие, обыкновенно, кошельки развязывались. Между прочим, А. Д. удалось получить те, сравнительно, большие средства, которые были необходимы для организации дела 1 марта 1881 года.

Его привязанность к товарищам-революционерам была глубокая и сильная, что не мешало его критическому отношению к каждому из них. Высоко ценя положительные стороны характера, ума и деятельности товарищей, он легко определял слабые их стороны, которые могли повредить делу революции, и всегда открыто и просто указывал на них. Если случались неудачи в революционных делах вследствие собственной неосмотрительности или промахов членов партии, то такие события глубоко волновали и огорчали его. Не раз в таких случаях я слышала от него восклицание: «Несчастная русская революция!», произнесенное с особенной горечью.

Он очень заботился о том, чтобы сохранилась для истории память о погибших товарищах. Главный архив, куда он бережно сносил

---

[1] «Былое», 1906, № 2.

письма, воспоминания и карточки погибших, помещался у одного чиновника. Этот добрый человек, вероятно, давно умер, так как в то время был уже глубоким стариком. После ареста А. Д. Исполнительный Комитет решил оставить этот архив на прежнем месте, а после 1 марта и его провалов о нем забыли. Надо надеяться, что старичек перед смертью передал архив в чьи-нибудь верные руки. Старание А. Д. сберечь для потомства карточки товарищей, павших в бою, и послужило причиной его собственной гибели. Накануне того дня, когда он отнес карточки Квятковского и Преснякова к фотографам на Невском, он виделся с несколькими студентами и просил их заказать снимки карточек в любой фотографии. До того времени переснимки часто практиковались и всегда совершались беспрепятственно. Отказ студентов глубоко возмутил А. Д.; он увидал в нем проявление трусости и нежелание подвергать себя малейшей опасности. Поддавшись чувству раздражения, он на другой день сам отнес карточки фотографам. Когда он явился в указанное время к одному из них, жена фотографа, став за спиною мужа, взглянула в упор на А. Д. и рукой провела по своей шее, давая ему знать, что ему грозит виселица. Он ушел из фотографии, сказав, что вернется на следующий день. Когда он сообщил об этом распорядительной комиссии Исполнительного Комитета, его рассказ был встречен возгласами изумления и недовольства. Ему напомнили его роль оберегателя безопасности партии и взяли с него слово более не возвращаться в фотографии. На другой день, когда он проходил по Невскому мимо проклятого места, вероятно, у него мелькнула мысль, что он неверно понял предупреждение жены фотографа, может быть, он сам себя упрекнул в трусости или же вспомнил, как счастливо он уходил от всех опасностей, встречавшихся в его жизни. Как бы то ни было, он вошел в фотографию, а затем последовала уже известная сцена его ареста.

Начало 1880 г. до весны я прожила на одной из Под'яческих улиц, близ Сенной площади. Комната, которую я занимала, была удобна в конспиративном отношении, и у меня помещалась часть паспортного стола и некоторые документы Исполнительного Комитета. В то время А. Д. довольно часто заходил ко мне по делам. Когда же у него бывало свободное время, он оставался на час или на два и тогда в разговоре чаще всего возвращался к воспоминаниям о друзьях, которые так недавно были еще с ним, работали вместе с ним, и которых, он это знал, он никогда не увидит более. Часто он говорил с любовью и восхищением о Сабурове, тогда еще живом и заключенном в Петропавловской крепости; о Марке Натансон, об Ольге Натансон, о Зунделевиче, о Соловьеве и многих других.

Помню, как однажды он сказал, что из всех личных чувств он не знает ничего возвышеннее и сильнее товарищества, и рассказал содержание старинной славянской легенды, которая ему особенно нравилась и была близка ему. Суть этой легенды состоит в том, что

герой, сражавшийся за народную свободу, томится в турецкой тюрьме. Он ждет, что его освободят отец с матерью, но они дряхлы и хилы и не могут спасти его; он ждет, что жена его освободит, но она, хотя плачет и убивается, не может, однако, его спасти; узнают о его заключении товарищи. Они выбирают бурную ночь, убивают стражу и выводят героя из тюрьмы.

Как-то раз я вернулась домой и застала А. Д. в моей комнате. Он стоял у окна, выходившего на улицу, и смотрел на прохожих. Услыхав шаги, он обернулся и, поздоровавшись, сказал, что сейчас, глядя на людей, толпившихся на улице, он думал о том, что продолжительное одиночное заключение для него невозможно. «У меня,— говорил он,—ум так создан, что сам из себя не родит предметов для размышления. Мне необходимы внешние впечатления для того, чтобы мои мысли могли перерабатывать их. Внешние впечатления, это—тот материал, которым питается мой ум. Поэтому я уверен, что долго не вынесу одиночного заключения». Эти его слова оказались пророческими. А. Д. не прожил в Петропавловской крепости и двух лет после суда.

К БИОГРАФИИ А. Д. МИХАЙЛОВА [1].

Мне кажется, сведения о ближайших восходящих родственниках А. Д. Михайлова не лишены интереса. Даже с научной точки зрения интересно выяснить, какие элементы послужили природе, чтобы создать такой крупный, цельный и светлый характер, каким обладал А. Д. Михайлов.

Он передавал мне, что мать его отца была небогатой помещицей Курской губернии. В ее имении жил в качестве работника отставной солдат николаевских времен, с которым она вступила в связь. К сожалению, нет данных, чтобы судить об этом человеке, но надо допустить, что он обладал выдающимися личными качествами, потому что союз его с бабушкой А. Д. был очень счастлив и продолжался до самой его смерти. От этого неоформленного обрядами брака родился Дмитрий Михайлов, отец Александра Дмитриевича.

Родители отнеслись с большой любовью к ребенку, и мать после смерти мужа одна несла все заботы по воспитанию его. Когда сын подрос и кончил какое-то среднее учебное заведение, она послала его в Петербург, где он поступил в Лесной институт.

По словам А. Д., в студенческие годы отец его терпел большую нужду. Единственный костюм его состоял из халатика, в котором он отправлялся на лекции. Испытывая всевозможные лишения, отец А. Д. находил утешение в мысли, что как только он окончит курс учения, так женится и заживет семейною жизнью. А. Д. говорил, что матримониальное чувство было сильно развито в его отце.

[1] «Былое», 1907, № 2.

Возможно, что его «незаконное» рождение отразилось на его детстве, до известной степени отравило первые годы его жизни и что у него явилось вследствие этого сильное желание создать для своей семьи полное счастье, которого он жаждал в детстве для самого себя.

Действительно, получив место лесничего в провинции, он поторопился осуществить свою заветную мечту. Замечателен при этом его выбор. Он женился на молодой девушке из небогатой и интеллигентной семьи Вербицких; она не блистала красотой, но в чертах ее лица было много поэзии юности, а сердце было доброе и отзывчивое.

Не знаю, с самого ли начала своей семейной жизни поселился Дмитрий Михайлович в Путивле, во всяком случае уже раннее детство его старшего сына, Александра Дмитриевича, протекало в этом маленьком городке и в его окрестностях, где у семьи Михайловых был небольшой хутор. Здесь протекли в безмятежной радости детские годы А. Д., которые им так ярко изображены в его автобиографии.

Сильная привязанность его к родителям сказалась, между прочим, в следующем случае. Летом 1880 года, раз'езжая по югу России по делам партии «Народная Воля» и находясь в Киеве, он дал знать родителям, что хочет с ними видеться и назначил день и место свидания в Путивле. Вся семья должна была к назначенному времени выехать за город на прогулку и здесь встретиться с Алекс. Дмит. Свидание состоялось. Старики с детьми выехали в семейной «линейке» в степь, и на определенном месте к ним подошел Алек. Дмитриевич. Произошла бурная и радостная сцена встречи после долгой разлуки, после того, как всякая надежда на свидание была давно потеряна. Родные усадили А. Дм. с собой в «линейку» и увезли далеко от города. Здесь, среди летней природы, вдали от посторонних глаз протекли несколько часов в торопливой беседе, и снова приходилось расставаться.

В феврале 1882 года родители приехали в Петербург к суду их сына. Мне необходимо было их видеть, чтобы услышать от них последние слова Александра Дмитриевича и его последние распоряжения. Я разыскала стариков на Выборгской стороне, где они остановились в какой-то квартире. Они встретили меня очень радушно и с большою нежностью, как товарища и друга их сына. Не стану говорить о слезах и отчаянии матери; их было довольно. Отец старался быть сдержанным, и к его огромному горю ясно примешивалась гордость таким сыном, как Алек. Дмит., значение которого он понимал вполне. Во всей внешности старика и в мягких чертах его лица заметно было большое душевное спокойствие, которое несчастье только нарушило, не будучи в состоянии уничтожить. Бедная мать каждый раз перед свиданием с сыном подолгу и горячо молилась в Петропавловском соборе за судьбу сына и верила в силу молитвы.

А. Д. МИХАЙЛОВ [1]).

А. Д. Михайлов своими мыслями и стремлениями, своею богатою и обширною деятельностью, своей ожесточенной борьбой против самодержавия принадлежал крестьянству и всему рабочему люду. Он любил русский народ, этот народ-земледелец, вырастающий и всю жизнь работающий под непосредственным влиянием природы, которая научает его правильно мыслить, любить и искать правды. Под влиянием же природы образовался его прямой характер, не знающий ни изворотов, ни пагубных и низких страстей.

Никто не говорит, конечно, что русское крестьянство сплошь состоит из подобных идеальных личностей. Но перечисленные черты легли в основу того типа, в который сложилось русское земледельческое население. Эти свойства его привлекали издавна внимание и симпатии передовых умов интеллигенции.

Была еще другая, пожалуй, еще более значительная причина сочувствия русской интеллигенции народу. Она заключалась в безысходной бедности крестьянства, и эта бедность возрастала из года в год с приростом самого населения. Она являлась плодом вероломной политики Александра II, обещавшего освободить крестьян с землей, а потом, испугавшись богатых и знатных дворян, передавшего в их руки проекты, касавшиеся освобождения. Но эти дворяне, вместе с тем, были крупными помещиками, а потому являлись злейшими врагами народной свободы и наделения крестьян землей.

Вмешательство дворян в дело освобождения имело последствием, что во многих уездах, даже в целых губерниях, крестьяне были пущены почти что по миру. Наделы тогда (в 1861 г.) еле могли прокормить крестьянские семьи и, тем не менее, были обложены высокими выкупными платежами. Кроме них, крестьяне обязаны были вносить в казну подати, которые оказывались непосильными для голодного и обнищалого населения.

Передовые писатели тогдашнего времени в своих произведениях рисовали яркими красками положение крестьян и рабочих в России, настаивая на необходимости изменить условия их существования. Но, так как самодержавие осталось глухим к голосу разума и справедливости, то наиболее энергичная часть интеллигенции почувствовала необходимость действительного вмешательства в условия жизни народа.

Таким образом, на почве исторических фактов появились в 60-х годах первые вспышки революционных попыток, завершившиеся покушением Каракозова на жизнь Александра II.

Поколение 60-х годов передало свою тревогу и свое душевное волнение следующему поколению. Мы все знаем,—старые люди по

---

[1] «Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов». Гиз. Л., 1925.

личному опыту, а молодые из книг,—как усилилось революционное движение и как быстро оно росло в 70-х, а потом в начале 80-х годов.

Все элементы трагедии были налицо. Реальные страдания народа, при этом высокая степень привлекательности психических черт страдающего, и враждебная ему сила, по размерам превосходящая все, что человеческое воображение может себе представить. И, действительно, в России разыгралась одна из величайших в мире трагедий.

Группы молодежи, явившейся авангардом и застрельщиком всего народа, самоотверженно боролись со сказочной силой, какою было тогдашнее царское правительство. Соотношение величин, стоявших в то время друг против друга, было столь несоразмерно, что лица, не принимавшие прямого участия в революционных кружках, не верили в серьезное значение самоотверженных усилий молодых поколений. Но первые победы революции в 70-х годах изменили шансы обеих сторон, а позднее из каждого столкновения с революционными проявлениями правительство выходило ослабленным, а часто и опозоренным.

Так длилась борьба десятки лет. И, подводя итоги этому пережитому времени, мы не можем не воскликнуть:—Слава русской учащейся молодежи, понявшей умом и чутким сердцем безвыходное положение народа, который мучился, стонал и начинал вырождаться! Слава всем казненным, всем погибшим в крепостях, в тюрьмах, на каторге, в ссылке! Всем перенесшим тягчайшее заточение или ссылку, по своим условиям равнявшуюся тюремному заключению!

Слава А. Д. Михайлову, который шел в первых рядах сражавшейся молодежи, находясь всегда там, где опасность и гибель ожидались всего более, который ставил себе задачу охранять жизнь борцов за свободу народа, а когда того требовали обстоятельства борьбы, вел борцов в атаку на всесильного врага!

Деятелем на общественном поприще А. Д. выступил в Петербурге в 1876 г., имея от роду не более 21 года. С революционным движением он впервые ознакомился в Киеве, где он основательно узнал не только программу пропагандистов, но и их самих. Рядом с последними существовали бунтари, которые произвели на него несравненно более сильное впечатление, и это понятно, так как к бунтарям тогда принадлежали все выдающиеся революционеры юга России, и между ними были такие люди, как Чубаров, Осинский, Лизогуб, Давиденко и другие. Но именно то обстоятельство, что люди были талантливые, всецело преданные идее революции, а дело в их руках не подвигалось вперед, навело А. Д. на мысль, что в самой организации радикальной среды кроется ошибка и ее нетрудно было найти. Радикалы делились на множество групп и кружков, ничем между собой не связанных, кроме случайного знакомства; все они были самостоятельны, действовали по собственному усмотрению и все были в достаточной

мере бессильны. Такое положение вещей привело А. Д. к выводу, что необходима одна общая, всероссийская революционная организация; но тогда она должна обладать всеми свойствами тайного общества, т.-е., должна быть построена по необходимости на началах централизации и единства программы. Общая, единая и дорогая всем членам организации цель ее составит крепчайшую связь между ними

Осенью того же года А. Д. приехал в Петербург уже сознательным народником, социалистом и революционером, каким остался до конца своей жизни, с готовым планом всероссийской революционной организации. Через киевских знакомых он сошелся с чайковцами и именно в тот момент, когда для них назрел вопрос о пересмотре программы. Этот пересмотр состоялся в 1876—77 г.г., и тогда же чайковцы переименовались в группу народников, избрав своим девизом «Земля и Воля».

Из «Автобиографии» А. Д. мы узнаем, каким счастливым чувствовал он себя в это время. Он нашел в лице чайковцев лучших товарищей, каких можно желать: верных, любящих, опытных в революционных делах, которыми они руководили в течение четырех лет. Но наивысшую степень радости для А. Д. составляло то обстоятельство, что чайковцы в вопросе о пропаганде теперь решительно перешли на точку зрения народничества и свою деятельность основывали на интересах и нуждах крестьянства и рабочих. Даже в вопросе об организации группы мнения А. Д. и его товарищей совпадали. И в эту группу народников А. Д. вступил в качестве члена-учредителя.

Первое выступление народников состоялось 6 декабря 1876 года на Казанской площади. Оно было вызвано тревожными и мрачными известиями, которые получались из крепости и тюрем, переполненных заключенными. Арестовали сотни молодых людей за пропаганду социалистических учений в деревнях или в рабочих кварталах. Тяжесть заключения усугублялась желанием правительства отбить охоту у молодежи к дальнейшим попыткам проповедывать социалистические истины. Во многих тюрьмах режим был ужасен и приводил часто к скоротечной чахотке, к самоубийствам, а иногда и к умопомешательству. Казанская демонстрация явилась выразительницей чувства негодования, вызванного бесчеловечным содержанием заключенных.

Суд над демонстрантами происходил в январе 1877 г., и жестокость приговора поразила всех. Но в феврале последовал другой процесс над 50 пропагандистами.

В то время суды по политическим делам еще не происходили при закрытых дверях. Доступ в суд был по билетам, и А. Д. сумел проникнуть в залу заседаний. Впечатление, вынесенное им от процесса, было так сильно, что через два года он не мог спокойно говорить о нем. «Нельзя было смотреть без умиления,—говорил А. Д.,—на эту молодежь, вся вина которой состояла в том, что они хотели

поделиться своими знаниями с рабочими и крестьянами и в частности передать им то, что сами узнали из книг о социализме». Теперь эта чудная молодежь ожидала себе многолетнюю каторгу или, в лучшем случае, ссылку в Сибирь.

Участники процесса «50-ти» были одни из первых, отправившихся «в народ», но среди крестьян они не имели успеха, так как насущные нужды поглощали все помыслы крестьян и не оставляли им времени вникнуть в отвлеченные истины социализма.

Опыт, добытый столь дорогой ценой, не должен был пропасть бесцельно. Группа народников много раз обсуждала вопросы, касавшиеся устной пропаганды среди крестьян, и решительно остановилась на полном изменении программы действия в деревнях. Народники пришли к выводу, что пропаганда не должна быть мимолетной и скоропроходящей. Следовательно, пропагандисты не должны быть раз'единены, а должны образовать поселения, стараться пустить глубже корни в деревне и жить на месте, как можно дольше.

Цели пропаганды ставились реальнее. Она должна была основываться на нуждах крестьян и на фактах, встречавшихся в жизни населения данной деревни. Пропагандисты имели в виду заронить в крестьянстве мысль о местных организациях, которые могли бы явиться первыми шагами в подготовке восстания.

Часть группы народников отправилась на Волгу, чтобы там образовать прочные поселения, при чем было решено, что в Саратове будет находиться центр всех приволжских поселений.

А. Д. направился в Саратов в качестве одного из членов центра. На его обязанности лежало приискание мест, подходящих для поселений, и оказание всякого рода помощи товарищам-пропагандистам. Большую часть весны и лета 1877 года он провел в раз'ездах или путешествиях пешком по Саратовской губернии, отыскивая новые места, заводя связи и знакомства. Он искал сближения с староверческим миром. Все товарищи, писавшие об А. Д., говорят об его странствиях по Саратовской губернии, где он близко сошелся с одним из староверческих согласий. Но никто не описал этого события так ярко и подробно, как он сам в своих подследственных показаниях, составленных им вскоре после ареста. О них я буду говорить позднее, а сейчас скажу, что описание это изложено им 4 января 1881 года. Оно дает полное представление о целях, которые ставил себе А. Д., принимаясь за трудновыполнимую задачу, ломая себя безжалостно, чтобы скрыть свою интеллигентную личность. Он старался во всем подражать крестьянам-староверам, чтобы только не отпугнуть их от себя, так как он страстно желал проникнуть в их воззрения, чтобы узнать их сущность. И это удалось ему: последние страницы «Показаний», относящиеся к саратовскому периоду его жизни, дышат душевным спокойствием и удовлетворенностью. Труды и испытания, которым он добровольно подвергал себя в течение целого года (с весны 1877 по весну 1878 г.), дали результаты, ко-

торыми он остался доволен. Он покидал староверов и возвращался в Петербург с твердым намерением вернуться к ним, запасшись новыми знаниями и поддержанный товарищами, которых он надеялся увлечь за собой в мир протеста и осуждения царской власти. Но судьба иначе распорядилась его жизнью.

Возбуждение умов в радикальных кругах Петербурга весной 1878 года было очень велико. Тяжкие кары, преследовавшие пропагандистов, довели негодование против правительства и ненависть к нему до большого напряжения. Но раздался выстрел Веры Засулич, и все почувствовали облегчение: казалось, что найден путь из безвыходного положения, найдено средство от душившего всех кошмара. Оправдание В. Засулич судом присяжных и удачное спасение ее от жандармов, желавших ее снова арестовать, во много раз еще усилили восторженное настроение радикальной молодежи. Об этом свидетельствует большая демонстрация на похоронах студента Сидорацкого, погибшего при спасении В. Засулич.

Надо иметь в виду, что в то время в Петербурге было много молодежи, оправданной по процессу «193-х», или таких лиц, которым было зачтено в наказание заключение в Петропавловской крепости или в Доме предварительного заключения. Между ними были такие выдающиеся будущие революционеры, как: Желябов, Ланганс, Перовская, Якимова, Морозов, Лебедева, Тихомиров и другие. Всем грозил новый арест, но никто не хотел уезжать из Петербурга, и потому большинство перешло на нелегальное положение.

Произвол правительства, игнорировавшего постановление сената об оправдании многих подсудимых из числа 193, а также отказ царской власти смягчить наказание по ходатайству суда для 12 подсудимых, приговоренных к продолжительным срокам каторги, взволновали молодежь еще более и подняли волну негодования еще выше. Многие принимали решение бороться всеми силами против тирании правительства.

В это бурное время вернулся А. Д. из Саратовской губернии. Ознакомившись с обстоятельствами общественной жизни и с настроением радикального мира, он стал на сторону тех лиц, которые готовились к отпору правительству.

Уезжая год тому назад из Петербурга, А. Д. состоял членом группы народников; и теперь по возвращении это положение сохранилось за ним. Отсюда ясно, что он сразу был поглощен большим количеством работы и с болью в сердце должен был расстаться с надеждой вернуться к староверам, которые прощались с ним, огорченные его от'ездом.

С самого начала 1878 года заметна перемена в настроении радикальной молодежи. Все более и более учащаются вооруженные сопротивления при арестах не только на юге России,—в Одессе

и Киеве,—но также в Петербурге и других северных городах. Учащаются также побеги и попытки оказать помощь извне при побегах, и вместе с тем чаще случаются нападения на особенно вредных слуг престола, а также на шпионов и предателей, и убийства подобных личностей. В ответ на эти проявления крайнего озлобления и мести правительство уничтожает суд присяжных для политических преступлений вследствие оправдания В. Засулич. Оно вводит для всей России институт урядников. Наконец, восстанавливает смертную казнь и начинает ее применение с Ковальского в Одессе.

После убийства Мезенцова об'является указ о том, что все дела по политическим убийствам передаются военному суду, действующему по законам военного времени. В декабре 1878 г. запрещается носить оружие, но в мае 1879 года об'является указ о вооружении полиции револьверами. Немедленно после покушения Соловьева издается правительственное распоряжение об учреждении института всемогущих генерал-губернаторов, издающих свои законы, имеющих даже право произвольно, по собственному усмотрению, расширять границы своих владений. Дальше законодательное безумие не могло итти, и деятельность правительства временно сосредотачивается на многочисленных казнях. В августе 1879 года, очевидно, чтобы губернаторам не было обидно подчинение их генерал-губернаторам, им дается право назначать земских служащих, и вслед за тем земские и городские учреждения подчиняются контролю и воздействию губернаторов.

По мере того, как правительство стремилось к безудержной реакции и беспощадно расправлялось со своими врагами, А. Д. отдавался со все возрастающей страстью новому направлению революционной мысли в России и стал одним из вожаков ее вместе с Морозовым, Оболешевым, Квятковским и Тихомировым.

Одно из первых дел, которым он руководил в это время, было освобождение Преснякова из полицейской части в Петербурге. А. Д. знал Преснякова с давних пор, очень ценил и любил его за сильный и смелый характер, и Пресняков не обманул возлагавшихся на него надежд: он остался мужественным и верным до последнего вздоха и не устрашился смерти на виселице.

Через 2 с половиной месяца А. Д. участвует в попытке освобождения Войнаральского, когда жандармы везли его на почтовых лошадях из Харькова в Борисоглебскую тюрьму. Это событие подробно описано у Н. А. Морозова в IV томе его книги «Повести моей жизни» [1], и потому я не стану на нем останавливаться; оно окончилось неудачей: Войнаральский не был освобожден, но благодаря находчивости А. Д. участники открытого нападения успели во-время уехать из Харькова в Петербург. А. Д. настоял на том, чтобы все 7 человек участников немедленно покинули Харьков с первым отхо-

[1] Стр. 92—116.

дящим поездом. Таким образом, никто не пострадал, за исключением Медведева-Фомина, который опоздал на поезд и был арестован на вокзале.

4 августа того же года был убит шеф жандармов Мезенцов на утренней своей прогулке, в 9 часов утра в Петербурге, на углу Михайловской и Итальянской улиц. Как известно, двое участников были увезены на рысаке и исчезли бесследно от мести правительства. В этом успехе видна рука А. Д. Он не только участвовал в выработке плана этого дела, но присутствовал на Михайловской площади во время совершения самого акта и удалился незамеченным после того, как лошадь умчала обоих исполнителей—Кравчинского и Баранникова. Об этом сообщает В. Л. Бурцев в заграничном издании журнала «Былое» [1].

С осени 1878 г. группа «народников» стала именоваться обществом «Земля и Воля». Новое общество стремилось стать всероссийской организацией с целью соединить под одним знаменем все радикальные кружки и, таким образом, создать силу, способную противостоять натиску правительства.

Акт 4 августа был первым и блестящим выступлением нового общества.

12 октября начались многочисленные аресты в Петербурге среди землевольцев, унесшие много видных членов из их среды, в том числе: Оболешева, Адриана Михайлова, О. А. Натансон, Коленкину, Малиновскую, Трощанского. Был в значительной степени разгромлен центр «Земли и Воли». Уцелели от ареста человека 4—5, и на них свалилась вся тяжесть восстановления и пополнения пострадавшего центра. Но люди эти были выдающиеся по уму и энергии, и среди них был А. Д. В один из последующих дней он сам попал было в руки жандармов на квартире Трощанского, но спасся благодаря быстроте своих ног, ловкости, находчивости и знанию местности.

Прием новых членов в центр пополнил его ряды тотчас после арестов, и, когда возвратились в Петербург несколько народников, вызванных из деревень, они застали уже деятельность «Земли и Воли» в полном ходу. Даже денежные средства общества были удовлетворительны, благодаря поддержке друзей и сочувствующих. Типография уцелела, и в самое тревожное для землевольцев время вышел первый номер их журнала, который получил название «Земля и Воля» и который с своего основания до середины следующего года выходил периодически.

При таких, сравнительно благоприятных, условиях настал 1879 г., этот поворотный год в отношениях радикальной партии к правительству. К концу его она будет переименована в революционную партию, потому что началось время открытой войны с самодержа-

---

[1] № 4. Выпуск I, стр. 75. Издание перепечатано в Ростове-на-Дону в 1906 году.

вием и с царской властью вообще. Но такая перемена произошла после Липецкого и Воронежского с'ездов, начало же года ознаменовалось стачками рабочих на фабриках и заводах Петербурга. Эти события дали возможность проявиться способностям А. Д. в новой для него области. Прочтите, читатель, воспоминания Г. В. Плеханова об А. Д. и вы увидите, как он, не имея возможности посещать кварталы рабочих и сходки, потому что хорошо был известен петербургской полиции, направлял к ним талантливых агитаторов из молодежи и снабжал бастующих денежными средствами, которые собирал через своих зажиточных знакомых.

С января же 1879 года началась служба Н. В. Клеточникова в III отделении, куда он поступил по настоянию А. Д. [1]. Это на вид незначительное явление оказалось одним из важнейших событий истории революционного движения конца 70-х годов.

Служба Николая Васильевича вскоре стала щитом и громоотводом для всей организации «Земля и Воля», а позднее—для партии «Народная Воля». Мысль о ней родилась в голове А. Д., и это проявление его большого созидательного таланта служит доказательством, как легко и далеко действовала сила его изобретательности.

Двум курсисткам стало известно, что некая содержательница меблированных комнат на углу Невского пр. и Надеждинской, Анна Кутузова, подозрительна в политическом отношении. Связи ее с III отделением скоро были установлены. Вот и все данные, послужившие основанием смелого плана А. Д. через Кутузову проникнуть в III отделение; а так как около того же времени приехал в Петербург Н. В. Клеточников и предложил свои услуги для выполнения террористического акта, то А. Д. стал убеждать его принести величайшую жертву, какую человек может принести, и войти в самое жерло вражеской силы. Так началось это замечательное явление. А. Д. вел сам сношения с Клеточниковым, и только ближайшие его товарищи по «Земле и Воле» были посвящены в тайну служения Н. В. и того значения, какое он имел для охраны целости организации.

Уже в январе Клеточников предупредил о предательстве Рейнштейна и этим спас свободу Халтурина и целость «Земли и Воли». Это же разоблачение Клеточникова дало возможность пресечь в корне деятельность Рейнштейна. Провалив в Петербурге «Северный Рабочий Союз», основанный Халтуриным и Обнорским, предатель почувствовал себя здесь не в безопасности и перекочевал в Москву, где, опираясь на петербургские связи, он завел знакомства среди учащейся молодежи и в рабочих кружках.

Основная группа «Земли и Воли» решила покончить с Рейнштейном. Для исполнения этого постановления в Москву отправились М. Р. Попов и другой его товарищ, фамилия которого до сих пор

[1] «Былое», 1906, № 1. «Процесс 20-ти народовольцев». Стр. 272.

не была названа, но которая известна Н. А. Морозову. Этот второй участник не привлекался по делу об убийстве Рейнштейна, а попал в административную ссылку в Сибирь по другому более мелкому поводу. Окончив ссылку, он уехал за границу на родину, так как был немецким подданным, и никогда более в Россию не возвращался.

М. Р. Попов в своих воспоминаниях изображает нам А. Д. в момент, когда он вспылил, узнав от приезжавшего в Петербург Михаила Родионовича, что дело Рейнштейна еще не окончено[1].

Оно совершилось 26 февраля 1879 года, а две недели спустя произошло покушение Мирского на жизнь Дрентельна, заместителя Мезенцова. Нападение Мирского кончилось неудачей вследствие неловкости стрелявшего. Н. А. Морозов в своих «Воспоминаниях» передает свое впечатление о том времени, когда он сам и А. Д. следили за Дрентельном, когда он выезжал из дома у Цепного моста.

На второй день пасхи, 2 апреля 1879 года, произошло покушение А. К. Соловьева на царя. Я не буду здесь касаться этого события, так как А. Д. сам описал его в своих показаниях на суде.

Отношения между правительством и радикальной партией обострялись более и более. Многие из членов общества «Земля и Воля» горели желанием начать борьбу с тем, кто брал на себя ответственность за все происходившее в России и не желал расстаться с правами своего единодержавного положения.

Но были и противники этих крайних стремлений, и к ним принадлежали люди с большим значением и весом в обществе «Земля и Воля», как Г. В. Плеханов, М. Р. Попов и другие, а также народники, всецело преданные пропаганде в деревнях и считавшие невозможным внезапно прекратить дело, которое, правда, медленно подвигалось вперед, но все же шло удачно.

Этими разногласиями вызывалась ясно ощутимая потребность сговориться и выяснить будущее направление, которого будет держаться общество «Земля и Воля». Так возникли состоявшиеся 17 и 20 июня 1879 года с'езды—Липецкий и Воронежский, описание которых много раз появлялось в печати. Г. В. Плеханов и его единомышленники, равно как и народники, рассчитывавшие на то, что товарищи, стремившиеся к открытой борьбе с правительством, уступят на с'езде убеждениям своих более благоразумных товарищей, одинаково ошиблись. Они остались в меньшинстве, и, видя такой исход Воронежского с'езда, Г. В. Плеханов удалился. Когда же В. Н. Фигнер хотела его удержать, А. Д. сказал, что мнения разошлись слишком резко и возвращать Плеханова не следует. Это были первые признаки расхождений.

---

[1] «Былое», 1907 г., № 7, стр. 271.

Основание и развитие новой партии потребовали напряжения огромных сил и опытности в революционных делах. Велась агитация для ознакомления различных кругов населения с целями и задачами «Народной Воли». Привлекались новые члены партии среди рабочих, учащейся молодежи, в литературных кругах и среди интеллигенции вообще. Рассылались люди по провинциальным городам, где сохранились прежние связи; испытанных друзей и товарищей звали в ряды новой партии. Но для агитации в еще более широких размерах требовался типографский станок. И одной из первых забот Комитета явилось создание хорошо обставленной типографии. Она была основана в Саперном переулке; уже в сентябре в ней шла спешная работа, и первый номер «Народной Воли» вышел 1 октября.

Еще раньше должны были быть выработаны программа партии и устав Исполнительного Комитета.

С первого дня возникновения партии перед ней стояла задача, может быть, труднейшая из всех, это—борьба с царской властью, которая должна была выразиться в нападении на личность самого императора.

Для выполнения в короткий срок всей этой работы и достижения предстоящих тогда целей надо было обладать силами и талантами А. Д. и его товарищей по первому Исполнительному Комитету.

Осенью 1879 года А. Д. был послан Исполнительным Комитетом в Москву с очень сложными поручениями. Он должен был, с одной стороны, искать новые связи в Москве, а с другой—среди имевшейся уже в распоряжении Комитета молодежи положить начало московской группе. Ему также поручено было в ближайших окрестностях Москвы, в том месте, где пролегает железнодорожный путь Московско-Курской дороги, отыскать домик, который можно было бы приобрести путем покупки, с тем, чтоб из него вести подкоп под полотно железной дороги.

Во все время предстоящих работ А. Д. должен был оставаться в Москве, руководить предприятием и стараться устранять могущие встретиться препятствия. Он нашел домик, который потом был известен под именем дома Сухорукова. При осмотре будущие хозяева нашли его подходящим, и он был куплен. Вскоре начались подземные работы. Они подробно описаны А. Д. в его «Показаниях» от 14, 15 и 16 января 1881 года и могут служить образчиком того, с какими ужасающими трудностями приходилось А. Д. подчас сталкиваться в продолжение его революционной деятельности. Описание его оканчивается словами: «Работающий там (т.-е. в месте, которое получило название «склеп») походил на заживо зарытого, употребляющего последнее нечеловеческое усилие в борьбе со смертью. Здесь я первый раз в жизни заглянул ей в холодные очи и—к удивлению и удовольствию своему—остался спокоен».

А. Д. вернулся в Петербург после взрыва поезда под Москвой. Оказался взорванным не царский поезд, а следовавший за ним свит-

ский. Эта ошибка произошла вследствие того, что час прибытия царя в Москву тщательно скрывался, и никто из железнодорожных служащих не выдал придворной тайны.

Через несколько дней после взрыва, а именно—24 ноября, произошел арест Е. Н. Фигнер (сестры В. Н. Фигнер) и А. Квятковского, одного из любимейших друзей А. Д., который никогда не относился спокойно и безучастно к потере товарищей. Их гибель глубоко отзывалась в его сердце и оставляла в нем неизгладимые следы.

В ночь на 17 января 1880 года произошла новая катастрофа: погибла народовольческая типография, сооруженная с такими огромными трудностями. Работавшие в ней молодые народовольцы мужественно защищались от вторжения полиции, выигрывая время для уничтожения документов, хранящихся в типографии.

Однако, в пылу борьбы, которая тогда разгорелась, нельзя было останавливать внимание на потерях, как бы велики они ни были. Исполнительный Комитет немедленно начал обдумывать план устройства новой временной типографии, поручив это дело А. Д. В мае она была уже готова, и первый номер «Листка Народной Воли» вышел в конце этого месяца.

В первых числах февраля стало известно, что в Париже арестован Гартман, хозяин дома под Москвой, из которого велся подкоп под полотно железной дороги. Для «Народной Воли» и ее Исполнительного Комитета освобождение Гартмана составляло вопрос чести и было в высшей степени важно. Поэтому Исполнительный Комитет забил тревогу и употребил все усилия для того, чтобы добиться от правительства Франции благоприятного результата. В тот же день было составлено воззвание к французскому народу и письмо к президенту республики, в котором Исполнительный Комитет обращался к нему с просьбой при обсуждении дела Гартмана принять во внимание, что в России революционное движение ведется во имя завоевания свободы и гражданских прав, какими европейские народы давно пользуются, и потому освободить Гартмана из тюремного заключения.

Вечером, когда документы были готовы к отсылке, А. Д. снарядил молодого, тогда 20-летнего, В. Иохельсона в Берлин для отправки письма президенту. Воззвание к французскому народу Иохельсону было поручено разослать по редакциям наиболее распространенных французских газет. Он должен был также из Берлина отправить письмо Лаврову, в котором Исполнительный Комитет поручал Петру Лавровичу вести переговоры с президентом французской республики от своего имени.

Вскоре в петербургских газетах появились телеграммы об освобождении Гартмана и о выезде его из пределов Франции.

Самое важное событие февраля 1880 года, это, несомненно,—взрыв в Зимнем дворце, произведенный С. Халтуриным. В тот самый день, 5 февраля, Пресняков убил предателя Жаркова. Это дело было орга-

низовано А. Д., и он выбрал день 5 февраля, когда ожидался конец предприятия Халтурина, для того, чтоб усилить впечатление от революционных действий.

Время после взрыва во дворце было богато самыми яркими и выразительными политическими событиями. К ним относится назначение верховной распорядительной комиссии с председателем Лорис-Меликовым во главе. Одновременно закрывалось знаменитое III отделение собственной его величества канцелярии, чтобы вслед за тем появиться в виде департамента государственной полиции министерства внутренних дел. Вместе с переводом III отделения состоялось перемещение Н. В. Клеточникова, который оказался чиновником переименованного учреждения, но служащим у того же начальника, как и раньше.

19 февраля торжественно праздновалось 25-летие царствования Александра II, а на другой день, т.-е. 20 февраля, совершилось покушение Млодецкого на жизнь Лорис-Меликова. Оно произошло без ведома Исполнительного Комитета, было плохо обставлено, и Млодецкий был арестован на месте и казнен 22 февраля.

В первых числах мая начался процесс—доктора Веймара, Адриана Михайлова, Ольги Натансон, Оболешева и др. Последние двое были особенно близки и дороги А. Д. Они были его любимыми товарищами с первых его шагов на революционном поприще в Петербурге. О. А. Натансон во время процесса была больна скоротечной чахоткой. После осуждения ее отдали на поруки отцу, и она скоро умерла. А. Д. с болью в сердце следил за ее болезнью. Иногда от ее братьев он получал письма, в которых говорилось о ходе ее болезни.

В июне А. Д., по поручению Исполнительного Комитета, уехал в южные губернии и вернулся только в августе. Он привез с собой деньги, пожертвованные сочувствующими лицами и необходимые для постановки большой типографии, а также для нового покушения на жизнь Александра II. Он привез также данные двух настоящих паспортов для типографии и для будущей лавки Кобозевых.

Его приезда ожидали с нетерпением для решения вопроса об этой лавке. Помещение для нее отыскал Баранников незадолго до возвращения А. Д., и она была одобрена видевшими ее членами Комитета; но хотелось узнать мнение такого компетентного в вопросах безопасности и практичности человека, как А. Д. Он остался доволен всеми условиями, связанными с лавкою на Малой Садовой ул., и она была нанята. Тогда начались хлопоты по изготовлению двух паспортов, о которых сказано выше. Ими занялись А. Д. и С. Златопольский, который достиг совершенства в паспортных делах.

Октябрь и ноябрь были употреблены на устройство новой типографии в размерах больших, чем прежняя, и в подготовительных работах и хлопотах по устройству кобозевской лавки. Распорядительная комиссия, которая ведала и решала все текущие и неотложные дела Исполнительного Комитета, в это время часто собиралась в ком-

нате А. Д., которую он нанимал в доме Фредерикса в Орловском переулке.

25 октября начался разбор дела 16 народовольцев в военно-окружном суде в Петербурге. Судили Квятковского, Преснякова, Ширяева, Зунделевича, Буха, Евг. Ник. Фигнер, С. А. Иванову и др. Квятковский и Пресняков были приговорены к смерти и казнены 4 ноября на стенах крепости.

Надо ли говорить о том, что известие о смерти обоих героев было принято А. Д. с глубоким волнением и негодованием по адресу врагов. Но в то время каждое известие о казни или о мучительстве над кем-либо отражалось в удвоенной энергии, прилагавшейся к революционной, подпольной работе.

Обе смерти—Квятковского и Преснякова—носили в себе зародыши гибели А. Д. В его обширном сердце всегда находился уголок, посвященный памяти погибших за свободу и счастье народа. Он тщательно разыскивал их портреты, собирал о них сведения, не хотел, чтобы они остались неизвестными истории революционного движения в России.

Как читатели, может быть, уже знают, А. Д. был арестован в тот момент, когда зашел в фотографию за заказанными им ранее карточками Квятковского и Преснякова.

Нет сомнения в том, что читатели не раз будут потрясены до глубины души тем обстоятельством, что человек, который являлся вождем русской революции в самом начале ее существования, который обладал светлым умом и организаторским талантом—без примеси честолюбия или тщеславия, был варварски замучен Александром III.

Несомненно также, что «Показания», данные А. Д. на следствии, вызовут живой интерес в читателях, в виду чего мне хочется сказать несколько слов об общем характере и значении их; и именно для того, чтобы они стали читателям еще ближе, еще яснее. Я говорю—яснее, так как «Показания» писались под недремлющим оком следователей, и это не могло не отразиться на форме и способе их изложения.

В протоколе от 17 декабря 1880 года А. Д. пишет: «Как общественный деятель, я пользуюсь ныне представившимся случаем дать отчет русскому обществу и русскому народу в моих поступках и ими руководивших мотивах и соображениях».

Таким образом, целью «Показаний» является общение человека, ожидающего смерти и готового ее принять, с любимым им народом и его будущими поколениями. В этом их большое и исключительное значение.

Сам автор предупреждает следователей, что прокурор в его «Показаниях» не найдет для себя ничего интересного. И, действительно, если в «Показаниях» встречаются имена, то это имена казненных или приговоренных к продолжительным срокам каторги, и, следовательно, упоминание о них вредить им не может.

По существу «Показания» содержат в себе историю роста революционных идей и настроений в России. И вслед за тем, как автор отмечает увеличение роста идеи и даже целого направления, он рисует те события или факты, в которых воплощалось идейное нарастание.

Но, помимо исторической их ценности, «Показания» будут иметь глубокое нравственное и воспитательное значение. Излагая мысли и стремления, владевшие в годы юности сердцами лучших тогдашних людей России, А. Д. тем самым знакомит подрастающие поколения с высокими принципами и светлыми идеалами.

Через толстые стены Петропавловской крепости, через головы жандармских подполковников и прокуроров Петербургской судебной палаты, допрашивавших его, он решает вести беседу с огромной аудиторией, и гений не обманул его. Прошло 44 года, и мы слышим ныне его голос, мы читаем его мысли, изложенные им самим.

Когда-то в конце своей «Автобиографии» А. Д. сказал, что не знает другого человека, которого судьба так щедро наградила бы деловым счастьем, как его самого. И в данном случае то же самое теперь можем мы повторить о нем. С кем еще был такой случай в летописях истории, чтобы через 44 года до новых поколений донесся голос человека, погибшего в сыром и темном каземате Алексеевского равелина. Голос этот принадлежал живому человеку; он спокоен, уверен в своей силе и передает то, что хотел сказать А. Д.

В современном читателе особый интерес возбудит мнение А. Д. о неизбежности революции в России. Он пишет об этом (29 декабря 1880 года) не колеблясь, как бы читая в книге будущих судеб. И не только поражает его уверенность в наступлении грядущей, тогда еще очень отдаленной революции, но полны значения все выводы и заключения, которые у него связаны с фактом революции. Все, что он говорит по ее поводу, отмечено глубочайшей истиной и искренностью великого сердца.

При суждениях об этой части «Показаний» А. Д. не надо упускать из вида, что писал он их, будучи пленником своих врагов. Безоружный, в руках всесильных врагов, под непосредственным наблюдением следователей, он спокойно и логически доказывает не им, а, как мы убедились раньше, всероссийской аудитории неизбежность гибели самодержавия в России. О своих врагах, которые вместе с тем и заклятые враги народной свободы, он говорит в третьем лице, как о презренной величине, имеющей огромное и роковое значение только потому, что с ней надо бороться для того, чтобы уничтожить ее.

17 января 1881 года писание «Показаний» внезапно встретило препятствие со стороны следователей. Оценили ли они по достоинству документы, которых в силу судебных уставов они не имели права уничтожить, или спохватились, что А. Д. после себя оставляет записки, проникнутые для правительственной власти смертельным ядом, но только А. Д. пишет 7 июля 1881 года в дополнение к «Показаниям»: «по неизвестным причинам, я вынужден был следователями торопиться окончанием показаний». Запись их прекратилась, но существуют еще два дополнения к «Показаниям».

Первое—от 15 апреля; в этом дополнении А. Д. отвечает на поставленный следователями вопрос, знал ли он о приготовлениях к цареубийству, совершившемуся 1 марта 1881 года. Он отрицает знание, ссылаясь на свой арест, происшедший за 3 месяца до 1 марта. На основании пред'явленных ему карточек он признает знакомство с некоторыми из казненных первомартовцев, но отрицает знакомство с Н. В. Клеточниковым, Тетеркою и Фриденсоном.

Последнее показание от 7 июля полно живейшего интереса; оно является прямым дополнением декабрьских и январских показаний. Хотя А. Д. признает, что очень трудно, не перечитав прежних показаний, данных полгода назад, дополнить их новыми, но из желания передать позднейшим поколениям опыт, полученный его самоотверженными современниками и им самим, он пользуется последними часами и минутами, предоставленными ему следователями, чтобы занести на бумагу эти выводы опыта.

Прежде всего он касается вопроса о влиянии, какое может иметь пропагандист в крестьянской среде. Он убежден, что только принципы, опирающиеся на мировоззрение самого народа и на кровные его интересы, могут иметь успех в его среде. Между прочим, он ссылается на пример первых пропагандистов в России, которые шли в деревню с проповедью социалистического учения. «Они в громадном большинстве случаев действовали безуспешно, а иногда даже попадали по отношению к народу в очень неловкое положение»,—говорит А. Д. и причину их неудачи находит в том, что исходная точка, на которую они опирались, представляла собою отвлеченные идеи, которые не были в состоянии увлечь или воодушевить крестьянскую массу. «Опыт обнаружил их ошибки, и народники, поставив на своем знамени исторический лозунг—Земля и Воля;—чутко прислушивались к говору масс, присматривались к ее обыденной жизни, отыскивая для каждого момента деятельности наиболее могучий рычаг. И их деятельность, сравнительно очень непродолжительная, не пропала без следа. Народники имели большой успех в деревнях благодаря тому, что опирались на желания самого народа. Везде, где они жили, они скоро приобретали друзей, передавали им свои планы и находили в них горячих и деятельных помощников. Народникам удавалось сближение с народом, а затем они находили

сочувствующих их надеждам и планам людей, решительных и способных, часто пользующихся местным авторитетом».

Прекрасно то место «Показаний», где А. Д. рисует переход к вооруженной борьбе с императорской властью. На этом описании дополнение обрывается.

К самым большим ценностям наследия А. Д. принадлежат его письма. Их немного, всего 12, но в них вложен целый мир идей и мыслей и еще больше чувств и переживаний, начиная с самых нежных, когда речь идет о любимых родных его, и кончая бурными порывами гнева, когда он говорит о тогдашних врагах России, о самодержцах, ухвативших страну за горло и не дающих ей возможности ни двигаться вперед, ни даже свободно дышать.

Когда читаешь письма А. Д., официально адресованные родным, то часто является мысль, что в письмах этих так же, как в своих «Показаниях», он обращался к кругу читателей, несравненно более обширному, чем тесные рамки семьи. Так, в письме к своей тетке А. О. Вартановой он подробно останавливается на условиях, какие требуются при воспитании для того, чтобы ребенок, ставши подростком, справился с отрицательными сторонами жизни и сумел бы противопоставить дурному влиянию среды собственные сознательные стремления к добру, трудовой и полезной для других жизни, и, таким образом, мог бы сложиться характер будущего честного общественного деятеля. Он говорит об этих вопросах по поводу роли, какую играла в его воспитании тетка А. О. Вартанова. «Вы своим добрым и честным характером имели влияние на образование хороших задатков во мне,—пишет он в письме от 17 марта 1882 года,—с колыбели я был окружен добрыми, честными и справедливыми людьми. Житейская грязь, мелочные чувства, злоба, интриги чужды были нашей семье. Потом, когда я столкнулся с жизнью во всей ее наготе, понял только, что я счастлив своей семьей, что она одна из редких русских семей среднего состояния, так как в них обыкновенно царит кромешная тьма».

Будучи 12-летним, А. Д. попадает в Новгород-Северскую гимназию. В письме говорится: «Теперь я уже умел сравнивать и оценивать свои мысли и поступки с тем, что видел в других. Я понял, что вокруг меня скверная жизнь, от которой надо сторониться».

А. Д. не поддался этой «скверной» жизни, как сделал бы подросток с дряблым и безвольным характером. Он предпочел перейти в наступление и одержал победу, первую свою победу над окружающим злом. Как он это сделал и к какому способу прибег, это мы узнаем из его «Показаний» (от 18 декабря 1880 г.), где говорится о первых годах его гимназической жизни. Он и некоторые из его товарищей по гимназии основали маленькую библиотеку из сочинений лучших русских писателей. Было собрано 150 томов, которыми могли пользоваться все гимназисты. Читали группами, потому что нехватало книг для всех желающих. «Пьянство и картежная игра,

так недавно поглощавшие молодые силы и время гимназистов, были изгнаны, как позорные занятия»,—читаем мы дальше в «Показаниях».

Последнее письмо А. Д. адресовано к «родным», но в нем есть места, которые заставляют думать, что не целиком оно относится к родителям А. Д. От них он привык скрывать свою сердечную боль, непереносимые страдания, которые испытывает, и только товарищам-братьям он говорит неприкрытую правду, как в этом предсмертном письме. Он держит скальпель твердой рукой, им вскрывает свое сердце перед братьями, которых он любил наравне с жизнью. От них он не таит правды, даже частицы правды. Он хочет, чтобы знали, что он готов умереть, но в то же время товарищи должны знать, что стоит человеку такая готовность. «Здесь (т.-е. в крепости) происходили последние процессы борьбы с инстинктами жизни,—пишет он в том же письме,—особенно памятны мне весна и лето 1881 года. Приходилось побороть врожденную любовь к простору, к свету, к природе, к небу—ясному, голубому небу. Борьба эта не легка. Она вместе с условиями жизни сильно расстроила мне нервы, которые не поддавались ничему другому: ни потрясающему горю, ни всеохватывающей радости, ни величайшей опасности».

Потом его мысль возвращается ко времени суда над ним, и он вспоминает: «Приятно даже под страхом десяти смертей говорить свободно, исповедать свои убеждения, свою лучшую веру. Приятно спокойно взглянуть в глаза людям, в руках которых твоя участь. Тут есть великое нравственное удовлетворение. Может быть, немногие согласятся со мною, но я готов еще раз отдать жизнь свою за таких несколько дней».

Но смерть стояла за порогом одиночной камеры А. Д., и часто чудилось ему ее появление. «Несколько раз,—говорит он,—возбужденное почему-либо воображение рисовало картину последних часов, последних минут,—картину, полную трагизма. Тогда я чувствовал сильный под'ем духа, доходящий до экстаза».

Приступы агонии не все еще были изжиты, и письмо А. Д. делает нас свидетелями потрясающих душевных переживаний: «Особенно ажитированно я провел несколько часов вчера в четверг, 18 марта. Мне не известно было движение дела о представлении приговора на высочайшее усмотрение... я мог предполагать, что исполнение приговора возможно уже с утра четверга... Но ничего не последовало... Я не знал, что думать. Постепенно мысли перешли к вероятному завтрашнему печальному кортежу и повели к сильному возбуждению. Я воображал себя среди товарищей, также спокойно смотрящих в очи смерти, мне представлялось мое душевное состояние в самом радужном свете. В ушах звучали те вдохновенные песни, которые певались в кругу друзей. Отрадные картины и милые образы мелодии и чудные аккорды, оставшиеся в памяти, и, наконец, предстоящее завтра,—все это наполняло душу ярко, живо, предметно. Я чувствовал себя так, как должен чувствовать воин в ночь перед давно желан-

ной битвой. Я находился в состоянии величайшего вдохновения: порыв души всецело вливался в музыку чувств и звуков».

Так описывает свое состояние А. Д.; и не знаешь, чему больше удивляться: величию души, которая так высоко может подняться в своем парении в самые тяжкие минуты жизни, или низости тиранов, которые заставляют лучших людей испытывать величайшие душевные муки. И еще раз на протяжении того же письма А. Д. отмечает сильнейшие сердечные страдания, пережитые им после об'явления царской «милости», заменившей ему смертную казнь пожизненной каторгой: «Меня с первых минут начала мучить неизвестность: что сталось с товарищами. Равнодушие к известию перешло в томительную тревогу. Случай усилил ее и довел до состояния пытки. Через раскрытые форточки долетели до слуха звуки военного марша. Очевидно, было присутствие войск в крепости. Явилось ужасное предположение, что в те минуты совершаются казни... И бездыханные трупы мелькнули в воображении... Беспомощность, величайшие муки неизвестности, беспощадная горечь душили меня. Я глубоко сокрушался, что не с ними. Я не знал, что мне делать»...

Все эти мучения А. Д. испытывал, находясь в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Но что все это значило по сравнению с фактом перевода его и его близких друзей и товарищей в Алексеевский равелин! Это заключение можно сравнить только со смертной казнью, растянутой на очень долгий срок. А. Д. прожил в Алексеевском равелине два года без десяти дней.

Для него придумана особенно тяжелая система заключения. Товарищи его имели возможность хоть изредка перестукиваться, передать друг другу приветное слово, ободрить лаской или шуткой. Он же содержался в отдельном коридоре, где, кроме него, сидел еще Поливанов. Камера А. Д. упиралась в капитальную стену с одной стороны, с другой ее стороны было пространство, ничем не занятое, а за ним камера Поливанова. В этом пространстве находилось окно. Днем сюда ставилась лампочка А. Д., и стояли еще склянки с лекарствами для него. Это были единственные внешние признаки существования. Когда эта лампочка и склянки исчезли с окна, где Поливанов мог их видеть, идя на прогулку, он понял, что умер А. Д. В своих воспоминаниях Поливанов пишет: «В середине марта 1884 года мы испытали большое горе: умер Александр Михайлов».

Он умер в одном из страшных каменных мешков, каковыми в сущности были камеры убийственного Алексеевского равелина. Он умер одинокий и заброшенный.

Но можно смело сказать, что, умирая, он не забывал того народа, за который отдал свою жизнь, и призывал на его долю свободное и счастливое будущее. Это можно утверждать, не боясь ошибиться, зная содержание его подследственных показаний и незабвенных писем его.

ПО ПОВОДУ ПОРТРЕТА А. И. ЖЕЛЯБОВА [1].

Приходится сказать, что портрет А. И. Желябова, появившийся в мартовской книжке «Былого» за 1906 год, абсолютно не похож и не дает ни малейшего представления о Желябове. Прежде всего, это был человек чрезвычайно красивый не только чертами лица, но также выражением смелости и решимости, которое проявлялось во всей его внешности.

Красив был темно-русый цвет волос, курчавой бороды и небольших усов, красив был белый высокий лоб и румянец, который говорил о цветущем здоровье. Голова у него была большая, лицо—широкое, с несколько выдающимися скулами. Брови поднимались легкой черной дугой над серыми умными глазами, нос был прямой и короткий. Когда Желябов говорил или смеялся, то сверкали два ряда белых и крепких зубов, которые он имел обыкновение стискивать с большой силой в минуты душевного волнения или крепких дум.

Чаще всего голова бывала слегка откинута назад и приподнята, что придавало Желябову особенное выражение повелительной энергии и гордого сознания собственной личности.

Ходил он по улицам быстрой походкой, крепко задумавшись, незаметно для себя стиснув зубы и с силою сжимая руки, вытянутые вдоль туловища. Обыкновенно он пользовался переходами с одного делового свидания к другому, чтобы сосредоточиться на предстоящих разговорах или действиях.

Повидимому, Желябов старался свыкнуться с мыслью о том, что ему придется погибнуть на виселице. Он сам иногда затевал разговор об этом предмете, бесстрастно рисуя себе картину своей смерти.

Иногда шутя он говорил, когда его убеждали в конспиративных целях сбрить свою красивую окладистую бороду, к которой он питал большую привязанность, что его могут повесить, но с бородой он не расстанется.

Чтобы дополнить образ Желябова, надо сказать, что он был высокого роста, широк в плечах, обладал хорошо развитой мускулатурой и большой физической силой.

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЖЕЛЯБОВА [2].

В 1906 году в Москве проживала престарелая Софья Григорьевна Рубинштейн, родная сестра знаменитого композитора Антона Григорьевича Рубинштейна. Гордая, уверенная в себе, она только в собственных силах искала опоры в борьбе за существование. Несмотря на преклонный возраст, она добывала средства к жизни

[1] «Былое», 1906, № 8.
[2] Печатается впервые.

уроками музыки. И так велико было обаяние ее имени, что ученики и ученицы заполняли все ее время. Для беседы можно было видеть ее только после 7 часов вечера, когда она отдыхала.

В то время многие политические ссыльные возвращались из дальних мест, и нужны были средства, чтобы устроить тех из них, которые не имели родственников в Москве. Кто-то направил меня к Софье Григорьевне для сбора пожертвований.

Денег она не могла дать, но она владела искусством изящных рукоделий, и в летние каникулы заготовила несколько красивых работ. Вырученные от их продажи деньги она охотно предоставляла на помощь ссыльным. По этому поводу мы и видались. У нас оказалось множество общих знакомых, и материал для собеседований всегда находился в изобилии.

Тогда переживалось беспокойное время. В Москве торжествовала реакция, а с нею вместе черносотенство. Не раз появлялись слухи о предстоящих еврейских погромах. Весной следующего года, придя к Софье Григорьевне, я застала ее в высшей степени взволнованной и негодующей. Она получила подметное письмо, которое она имела основание приписать старшему дворнику дома, в котором жила. Тем более реальной являлась опасность. В письме ей советовали не воображать, что ей удалось скрыть свое еврейское происхождение; автору письма и его единомышленникам известно, что она еврейка, и при общей расправе ей не миновать своей участи.

В том же доме на Воздвиженке жил один из видных московских общественных деятелей, книгоиздатель Чарушников со своей семьей. Они были друзьями Софьи Григорьевны. У них она находила успокоение и утешение в своей тревоге. Они же предложили ей приют на случай опасности от погромщиков. Но угрозы оказались пустыми, и на этот раз порядок в Москве не был нарушен. Тем не менее, Софья Григорьевна не захотела оставаться в доме, где подверглась грубому и дерзкому оскорблению. Она переменила квартиру, и вскоре я потеряла ее из вида. Но это случилось позднее, а осенью мы видались несколько раз, и Софья Григорьевна всегда радушно встречала меня. Было ясно, что ей доставляет удовольствие забыться в разговоре после утомительной дневной работы.

Я знала, что в молодости она была знакома с А. Ив. Желябовым в его студенческие годы, и однажды попросила ее рассказать мне о нем, что ей известно. Она оживилась и с видимым увлечением стала вспоминать. «Я не могу выразить словами,—говорила она,— до какой степени это был жизнерадостный юноша. Мне всегда казалось, что он так счастлив, прежде всего, от избытка как физических, так и духовных сил; а, главное, вследствие своей огромной веры в возможность осуществления всеобщего счастья».

«Однажды я встретила его на улице в Одессе, где я жила тогда и где он учился в университете. Я только-что перенесла большое

семейное горе, следы которого Желябов прочел на моем лице. «Что с вами,—спросил он участливо, — вы так расстроены?» Я сообщила ему, что случилось в нашей семье. «А вы делайте, как я,— ответил на это Желябов.—Я поставил себе за правило, если со мной случается личное огорчение, больше трех дней не предаваться ему, и нахожу, что трех дней совершенно достаточно, чтобы пережить любое личное несчастье. Попробуйте, сделайте так же, и вы увидите, что вам будет легче». Мы расстались,—продолжала Софья Григорьевна,—и как бы вы думали! От этого короткого разговора с Желябовым у меня стало светлее на душе».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЖЕЛВАКОВ [1].

4 или 5 апреля 1881 года я зашла к Н. М. Саловой, жившей на Петербургской стороне. По поручению Исполнительного Комитета «Народной Воли» Неонила Михайловна вела сношения с петербургской молодежью, и не только с кружками учащихся, но и с отдельными лицами, которые обращались к Комитету по поводу каких-либо дел.

В это утро Н. М. встретила меня возгласом: «Как хорошо, что вы пришли,—в той комнате вас ждет молодой человек, которому экстренно надо вас видеть,—и добавила вполголоса:—Лично я его не знаю, но он пришел с наилучшими рекомендациями, и вы можете вполне доверять ему».

Соседняя комната была очень маленькая, в одно окно. Диванчик, перед ним овальный стол, еще столик у окна и 2—3 стула составляли убранство этой гостиной, где Салова принимала деловых посетителей. Когда я вошла, я увидела сидящим в углу дивана молодого человека. Это был Желваков. Он встал, чтобы поздороваться, и обнаружил свой высокий рост. Я взяла стул и села против него. Желваков заговорил торопливо и взволнованно. Первые его слова были: «3-го апреля я был на Семеновском плацу; я видел казнь первомартовцев от начала до конца». «Зачем вы трепали свои нервы»,—сказала я, сочувственно глядя на его подергивавшееся от волнения лицо.

«Это было не напрасно,—ответил юноша,—ничего другого в тот момент я не мог сделать. Мне казалось, что, если на площади будут сочувствующие им люди,—им легче будет умереть». Потом он рассказал о потрясающем впечатлении, какое произвела казнь, и кончил тем, что произнес: «Тогда же на площади я дал себе самому клятву умереть, как они умерли, совершив террористический акт, который послужит к подрыву самодержавия».

[1] «Каторга и Ссылка», 1924, № 5.

На это я ответила, что в такие молодые годы, как его (ему нельзя было дать больше 20 лет), надо думать о революционной деятельности, о пропаганде, о сближении с народом, о влиянии на рабочих.

«Да,—возразил он,—только не тогда, когда человек так настроен, как теперь после казни народовольцев».

Далее, продолжая свою мысль, я говорила Желвакову, что Комитет сейчас не рассчитывает, и, может быть, еще долгое время не будет рассчитывать на совершение террористических действий, так как аресты значительно подорвали силы партии; а пока главная деятельность Комитета сосредоточивается на отправке большого числа людей в разные концы России с агитационными целями. Их снабжают литературой, об'ясняющей акт 1 марта и зовущей народ к борьбе против угнетения и эксплоатации самодержавно-полицейского государства. Я добавила, что Комитет обязывает своих посланцев собирать сведения о настроениях населения, и по возвращении сообщить о виденном и слышанном, а также о том, как население их принимало, как относилось к ним, как реагировало на литературу и проч. Деятельность такого рода заинтересовала Желвакова. Он сказал, что в ожидании, пока Комитет призовет его, он будет рад отправиться на юг России, куда на лето стремится рабочая Русь. Впоследствии он выбрал для себя Ростов-на-Дону и вообще Донскую область.

Во время нашей беседы я спросила Желвакова о его семье, а также, откуда он родом. Он сказал, что он уроженец Вятской губернии, и я подумала: из той же губернии, откуда А. В. Якимова и Халтурин. Это хороший признак. Но еще лучшим признаком был взгляд самого Желвакова. У него были глаза, которые не обманывают. Достаточно было взглянуть в эти глаза, чтобы получить уверенность, что этот человек останется верен своему слову до гроба.

К большому моему огорчению, я мало помню, что говорил мне Желваков о своей семье. Знаю только, что его отец был землемер. Судя по крепкому и сильному сложению Николая Алексеевича, по крупным чертам лица его, он не происходил от изнеженной и избалованной богатой семьи. Наоборот, его внешность говорила за то, что с ранних лет ему был знаком физический труд.

Черты лица его были правильны и красивы, но особенно прекрасны были глаза ярко-синего цвета. Под конец нашего свидания Желваков окончательно определил Донскую область, как цель своего будущего путешествия, и сказал, что поедет туда с особым удовольствием. Он просил, чтобы до его от'езда я связала его с Комитетом на будущее время, дабы он, вернувшись с юга, был в состоянии отыскать представителя Комитета. Мы условились о будущем свидании, на котором я обещала доставить ему литературу, необходимый адрес и деньги на дорогу и на прожитие в течение лета.

Посоветовавшись с Савелием Златопольским, потому что в одиночку мы не предпринимали тогда ничего, я к следующему свиданию в ту же комнатку Неонилы Михайловны принесла все, что требовалось для снаряжения Желвакова в дорогу: литературу, деньги и адрес московской явки. В то время Комитет уже находился в Москве и настойчиво требовал нашего приезда—моего и Савелия Златопольского. Мы спешно заканчивали текущие дела и собирались исполнить волю Комитета, как только временная петербургская ликвидация будет закончена. Вот почему Желвакову пришлось дать московский адрес.

Когда он осенью по этому адресу отыскал агента Комитета и снова повторил свое неизменное решение участвовать в террористическом акте, его познакомили с Халтуриным, в то время уже членом Исполнительного Комитета. Они понравились друг другу; а то обстоятельство, что они земляки, сблизило и сдружило их. Они сообща взяли на себя выполнение убийства Стрельникова и на нем оба погибли.

Вот то немногое, что я могу сказать о чудесном юноше, о народном герое, Николае Алексеевиче Желвакове, освободившем юг России от палача и кровопийцы Стрельникова. Значение подвига становится особенно ясным, если принять во внимание, что своими произвольными арестами, своим свирепым содержанием и застращиванием заключенных, своими издевательствами над арестованными и их родственниками и, наконец, своими казнями Стрельников наводил ужас на население южных городов России.

О геройски погибшем Николае Алексеевиче Желвакове всего имеется в истории народовольцев несколько страниц, принадлежащих его другу детства Л. и напечатанных в «Былом» 1906 года [1].

Надо, чтобы откликнулись родственники Желвакова или земляки, знавшие его в детстве и в учебные годы. А страна навеки должна в сердце своем сохранить имя самоотверженного юноши, отдавшего жизнь свою за возможность уничтожить злодея, которому царская власть вложила в руки жизнь и смерть населения целого края.

ИВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ [2].

В своих воспоминаниях о «Народной Воле» я упоминаю о своих дружеских отношениях к семье Анненских. Познакомилась я с ними в 1870 году. Нас рекомендовал друг другу инженер Павел Васильевич Михайлов, привлекавшийся к делу Нечаева и сидевший в Петропавловской крепости, но освобожденный за неимением против него улик. Он был товарищем и в то время даже другом моего брата, Николая Павловича Мейнгарда.

[1] № 4, стр. 103—106.
[2] «Каторга и Ссылка» 1924, № 5.

Анненские в 1870 году были еще молоды, но оба имели вид гораздо старше своих лет. С Александрой Никитичной я встречалась, кроме того, на Аларчинских женских курсах и на уроках математики, которые давал у меня на дому целой группе молодых женщин и девиц известный педагог и чудный математик, Александр Николаевич Страннолюбский.

В 1880 году, во время моих посещений приветливой и славной семьи Анненских, оба говорили мне про своего воспитанника Емельянова, жившего у них. Однажды они рассказали мне историю его появления в их доме. Он был сыном псаломщика, проживавшего где-то на юге России. Семья была очень бедная, и отец по просьбе своего брата, служившего в Константинополе при русском посольстве, решился отдать ему маленького Ваню на воспитание. Так как дядя Емельянова не стеснялся в деньгах, то он захотел дать племяннику хорошее воспитание, непременно в Петербурге, под руководством добросовестных и интеллигентных людей.

Кто-то из русских в Константинополе был знаком с Анненскими и посоветовал обратиться к ним. С ними списались, и они дали согласие на принятие к себе на воспитание Емельянова, который был привезен к ним в виде маленького турка—в шароварах, куртке и красной феске. Первоначально Емельянов был помещен в Петербурге в реальном училище, но, так как он был плохо подготовлен к систематическому учению, то его взяли из реального и поместили в ремесленное училище, которое пришлось Емельянову по сердцу, так как он имел большую склонность к физическому труду и в ручных работах проявлял большое искусство. Воспитывался он на средства дяди и в училище считался одним из лучших учеников. Когда он кончил курс учения, ремесленное училище на свой счет послало его за границу для усовершенствования в работах по дереву. Насколько мне помнится, специальностью Емельянова была резьба по дереву. За границей он пробыл довольно долго и вернулся хорошо подготовленным мастером.

В 1880 г. Емельянов попрежнему жил у Анненских, и, бывая у них в эту зиму, я видела молодого человека, недавно переставшего быть мальчиком. Анненские говорили мне, что он узнал о революционном движении в России, может-быть, даже у них в доме, где нетрудно было заразиться духом времени. Николай Федорович никогда не был обеспечен от обыска и даже от ареста. Его квартиру обшаривали много раз, и довольно часто его уводили в тюрьму. Но так как в революционных делах он не принимал непосредственного участия и не мог быть уличен в чем-нибудь противозаконном, то его выпускали опять на свободу к большой радости Александры Никитичны и воспитанника. Преследования, которым подвергался Николай Федорович, не оставляли Емельянова равнодушным; он возмущался и негодовал. Чтение передовых газет и журналов тоже содействовало политическому развитию молодого человека. Позднее,

когда он видел нелегальную литературу в квартире Анненских, то просил, чтобы ее давали ему на прочтение.

В 1880 году Емельянову было лет 20. Когда я приходила к Анненским в его присутствии, он с интересом прислушивался к тому, что я говорила; его мне представили, как молодого народовольца. Анненский, шутя, при нем показал мне его первую работу на поприще конспирации. Полено дров было расколото на двое, в нем выдолблено ложе, в которое Емельянов уложил кинжал, затем обе половинки полена были так искусно склеены, что, не зная секрета, нельзя было догадаться о нем.

Емельянов был пылкий юноша. Он скоро заявил Николаю Федоровичу, что посвящает себя террору и хочет участвовать в террористическом акте. Николай Федорович посоветовал ему прежде всего ознакомиться с деятельностью «Народной Воли» и, если партия примет его в свои ряды, то участвовать в общей ее работе. Я поддерживала Николая Федоровича в его совете и обещала, с своей стороны, снабжать Емельянова литературой и достала для него программу для чтения книг с целью самообразования, умственного развития и выработки правильного мировоззрения. Емельянов пользовался советами, которые мы давали ему, но в душе сохранил свое стремление к участию в террористическом акте. Меня он просил непременно иметь его в виду, если явится необходимость выступить в каком-нибудь деле с оружием в руках. Тайно от всех он упражнялся в стрельбе и занимался гимнастикой для развития своей мускульной силы.

Летом 1880 г. Анненский был арестован и отправлен в Вышний-Волочек в ожидании ссылки. Жена последовала за ним. Емельянов уехал куда-то из Петербурга. Когда он вернулся осенью, он поторопился возобновить сношения со мной и опять просил иметь в виду его в случае открытого выступления партии.

В январе 1881 года Желябов набирал свою боевую дружину. Он просил нас, членов Комитета, рекомендовать ему людей, хорошо известных, заслуживающих доверия. Я долго молчала относительно Емельянова, находя его все еще чрезмерно молодым. Но Желябов был настойчив. Он волновался и терял терпение: «Если мы не наберем нужного количества людей, мы не сможем организовать нападение в должных размерах», — говорил он. Потом он обратился к каждому из нас с вопросом, нет ли между нашими знакомыми людей, пригодных для группы метальщиков. Я не считала себя в праве больше молчать об Емельянове и сказала о нем Желябову, предупреждая его о молодости Емельянова и о том, что он человек не испытанный. Я советовала не брать его в метальщики, если можно будет обойтись без него. Желябов познакомился с Емельяновым и был поражен его необычайно высоким ростом, говорил, что у него двойной человеческий рост, и назвал его тотчас же «сугубым». На одном из ближайших после этого заседаний Комитета Желябов

сказал мне, что Емельянов держит себя молодцом, не трусит и очень хорошо владеет собой. Словом, Желябов признал его пригодным для роли метальщика.

Незадолго до 1 марта я сообщила Емельянову способ отыскать меня в случае, если встретится в этом крайняя необходимость.

Действительно, вследствие арестов, с одной стороны, и спешных от'ездов из Петербурга, с другой, Емельянов оказался в одиночестве. Правда, после мужественно исполненного им долга он спокойно и благополучно отнес снаряд, который остался у него на руках, на квартиру на Тележной улице; но вопрос, что ему делать дальше, стоял перед ним во всем огромном и важном своем значении. Емельянов вызвал меня через третье лицо, которое я ему указала. Я настаивала на необходимости для него тотчас выехать из Петербурга куда-нибудь в глухую провинцию, так как уже было известно, что Рысаков дает пространные и предательские показания, но Емельянов нашел какие-то причины для отсрочки своего от'езда, которые в моих глазах не имели значения по сравнению с тем риском, которому он подвергался, оставаясь на месте.

Для Емельянова обстоятельства после 1 марта, вообще, сложились очень неудачно. В суматохе, наступившей после 1 марта, невозможно было изготовить ему подходящий паспорт. Не было свободного человека, который мог бы ему купить билет на железнодорожной станции, и некому было сопровождать его в дороге. Сам же он не был подготовлен к наступившим трудным обстоятельствам.

У меня с ним состоялось одно свидание. Оно произошло в Гостином дворе по Садовой линии. Приближалась пасха, и Гостиный двор был загружен покупателями. Я шла с Невского, Емельянов — со стороны Сенной площади. Едва я вступила в галлерею, как увидала вдали Емельянова, который ровно на голову возвышался над толпой. Сравнительно с длинным туловищем, голова у него была небольшая, мелкие черты лица, цвет кожи смуглый, глаза маленькие, серые, а рот очень большой. Благодаря своему росту Емельянов не мог скрыться ни в какой толпе, и для меня была совершенно очевидна опасность, которой он ежеминутно подвергался.

Мы вышли из толпы и направились в малопосещаемые улицы. В этот день я вручила ему деньги на от'езд и требовала, чтобы он сидел дома и не показывался на улице. Паспорт мог быть готов только через два дня, и тогда должна была состояться наша последняя встреча. Но Емельянов не явился в назначенное время и место. Я боялась, что именно это свидание его сгубило, но гораздо позднее, из обвинительного акта процесса «20-ти», я узнала, что его проследили на Невском и арестовали дома, на его собственной квартире. На допросах, как видно тоже из обвинительного акта, Емельянов держал себя стойко и с большим самообладанием.

На первом допросе он отрицал всякую прикосновенность к революционным делам, и, так как улик против него не было, то Добржинский и Муравьев думали, что полиция ошиблась, арестовав его. Но Добржинский бросился к показаниям Рысакова и прочел там приметы третьего метальщика 1 марта, по имени Иван, с прозвищем «Сугубый», по происхождению сын псаломщика, как это было указано Рысаковым. Очевидно, случайно или в шутку, кто-нибудь из знавших Емельянова обратился к нему в присутствии Рысакова, назвав его по имени и прозвищу, или в другой раз обратился к нему с возгласом—«сын псаломщика». Эти показания Рысакова погубили Емельянова. В Карийской тюрьме он рассказывал товарищам по заключению, что на том же листе, на котором он отрицал всякую прикосновенность к революционным делам, теперь, по прочтении показаний Рысакова, он написал, что 1 марта он был третьим метальщиком, что с бомбой под рукой он первый подошел к раненому и лежавшему на земле императору и подал ему первую помощь.

На суде Емельянов вел себя вполне корректно и добросовестно. Он и Терентьева были самыми молодыми из 20 подсудимых. Но Терентьева провела в революционной среде долгое время и чувствовала себя в ней, как дома среди близких и любимых родных; тогда как Емельянов не знал никого из своих сопроцессников, и никто из них не знал его. Он должен был чувствовать себя, как молоденькая сосна чувствует себя среди мачтового леса. Но не только года клали непроходимую грань между молодым человеком и более опытными его товарищами по суду. Недосягаемое расстояние лежало между его натурой и большинством представителей «Народной Воли» на процессе «20-ти».

Емельянов был честный, очень порядочный и культурный человек, но, чтобы быть выдающимся революционером, ему недоставало сложности натуры да и, пожалуй, многих других качеств. Но самая строгая критика не может обвинить его в низких или предосудительных поступках на суде. И только молодостью надо об'яснить тот ошибочный шаг его, которым, надо признать, он вредил себе. Эта ошибка его состояла в том, что, как это видно из отчета о процессе «20-ти», «неожиданно для всех Емельянов заявил, что берет назад все свои показания, данные им на предварительном следствии о своем участии в деле 1 марта в качестве метальщика» [1].

Заявление это было сделано в конце судебного разбирательства, когда большинство подсудимых было опрошено, а сам Емельянов признал на предварительном следствии, что он член партии «Народная Воля», сочувствовал ее террористической деятельности, 1 марта был третьим метальщиком, и подробно описал, в чем выразилось его участие в этом деле.

---

[1] «Былое», 1906 г., № 6, стр. 251, 274—276. Отчет о процессе «20-ти» в 1882 г.

Неизвестно, какие побуждения толкнули Емельянова на подобное заявление. Пришла ли ему внезапно мысль спастись от опасности, или он действовал под влиянием своего талантливого защитника Александрова, которому по собственной неопытности не сумел противодействовать.

Особое присутствие сената не обратило внимание на заявление Емельянова, и единственным результатом его ошибочного шага было то, что ему пришлось лгать на суде очень много и долго о своем случайном знакомстве с Кибальчичем, Саблиным и Рысаковым [1], так как последний в своих показаниях указал на эти знакомства Емельянова.

15 февраля 1882 года сенатский суд вынес свой знаменитый приговор, которым 10 человек приговаривались к повешению, в числе 10 был и Емельянов. Он мужественно ожидал смерти; это видно из того, что он не подал прошения о помиловании. А ждать и жить под страхом смерти пришлось очень долго. Только 17 марта, т.-е. через месяц и 2 дня, Александр III удосужился утвердить приговор, при чем всем осужденным смертная казнь заменялась бессрочной каторгой, исключая Суханова, которому повешение было заменено расстрелянием. На этом расправа царя с народовольцами не окончилась. 10 человек видных представителей партии «Народная Воля» по процессу «20-ти» после «помилования» были отправлены в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где большинство из них умерло в течение двух первых лет. Так расправлялся Александр III со своими врагами.

Емельянову, как несовершеннолетнему, было оказано снисхождение: его оставили отбывать каторгу в Трубецком бастионе. Это заключение происходило при невообразимо тяжелых условиях, и все же оно было во много раз легче, чем заключение в Алексеевском равелине. Емельянов прожил в Трубецком бастионе приблизительно 2 года и 3 месяца, после чего был отправлен в Сибирь для продолжения отбывания своего каторжного срока в Карийской политической тюрьме.

По дороге на Кару в Нерчинской тюрьме он заболел сыпным тифом, и если остался жив, то только благодаря тому, что при нем находился ехавший с ним его сопроцессник Г. М. Фриденсон, братски ухаживавший за заболевшим товарищем.

На Кару Емельянов прибыл в декабре 1884 года. Его жизнь в тюрьме была бесцветна и бессодержательна. Он не занимался физическим трудом и мало работал умственно. Серьезно и с увлечением он не изучал ни одной науки, но любил читать книги по истории и русской литературе. Все же, несомненно, он расширил свои знания на Каре. Это подтвердилось позднее, когда он стал лучшим частным преподавателем в Хабаровске. Последнее время своего

---

[1] «Былое», 1906 г., № 6, стр. 274 и 275.

пребывания в Карийской тюрьме он подружился с Властопуло, который не мог иметь на него хорошего влияния, вследствие своего малого образования и отсутствия глубокого и обширного мировоззрения. Когда в мужской тюрьме настало тяжелое время голодовок, столкновений с администрацией и репрессий, исходивших от генерал-губернатора Корфа, Властопуло первый подал прошение о помиловании, и его тотчас выпустили из тюрьмы. Его пример соблазнил слабых заключенных в мужской тюрьме, и в числе их (в 1889 г.) оказался Емельянов. Он физически с большим трудом переносил заключение; он должен был затрачивать огромный запас силы, чтобы подавить в себе стремление к свободной жизни, а срок его заключения оставался перед ним неизменно очень большим. Под влиянием трагических карийских событий нарушилось душевное равновесие Емельянова. Он не мог дольше переносить монотонную тюремную жизнь, сменявшуюся только мрачными и глубоко скорбными событиями. В порыве к более радостной жизни Емельянов подал прошение на высочайшее имя через карийского коменданта и немедленно был выпущен из тюрьмы.

Таким образом, он увеличил собой так-называемую *колонию*, состоявшую из карийских ренегатов. Здесь он прожил несколько месяцев в ожидании назначения ему места поселения. Приказ о том, что ему разрешается выехать в Благовещенск, был получен в то самое время, когда двери обеих политических тюрем на Каре раскрылись, чтобы выпустить окончивших сроки заключения. В числе таких окончивших была и я. Нас выпустили 30 сентября 1890 года.

Я могла бы увидеться с Емельяновым, если бы нас не разделила навсегда его подача прошения. Обе карийские политические тюрьмы не прощали подобных поступков и прекращали навсегда сношения с подавшими прошения, и только наши давнишние вольнокомандцы были вынуждены иногда сноситься с ними частью при распределении казенных пайков, частью в виду беспомощного их положения на Каре.

Прасковья Семеновна Ивановская и я ночевали первую ночь по выходе из тюрьмы в избушке Алексея Федоровича Медведева [1], где он жил с женой и двумя маленькими детьми. Лучшую свою комнату они отдали нам для ночлега, но, разумеется, запасных кроватей у них не было, и мы спали на полу, подостлав полушубки и другие теплые вещи, какие нашлись под рукой. На рассвете кто-то постучал в окно, под которым мы спали. Я спросила, кто стучит. Мужской голос ответил: «Я—Емельянов, пришел проститься с Медведевым; спешу на Усть-Кару, откуда утром отходит пароход в Благовещенск». Я сказала, что сейчас разбужу Медведева. Одев-

---

[1] А. Ф. Медведев, сидевший долгое время в Тобольском централе под фамилией Фомина.

шись наскоро, я постучалась в дверь к Медведеву, и он подошел к окну, где ждал его Емельянов. Через открытую Медведевым форточку они поговорили, выразили друг другу добрые пожелания, обменялись рукопожатиями и расстались. Так я и не видалась с Емельяновым, который скоро получил разрешение перебраться в Хабаровск.

Позднее, живя с конца 1897 г. в Благовещенске и встречаясь с Николаем Алексеевичем Зиновьевым [1] и его женой, я часто получала о нем сведения. Зиновьевы нередко ездили в Хабаровск, где жил Емельянов, к которому они очень хорошо относились и которого даже любили, как умного и симпатичного человека.

Первое время своего поселения в Хабаровске Емельянов занимался частными уроками и таким образом зарабатывал деньги на существование; что касается хабаровских жителей, они были очень довольны, что в городе появился интеллигентный и хороший преподаватель, который мог приготовить их детей в любое среднее учебное заведение. Между прочими обитателями Хабаровска Емельянова пригласил в качестве учителя к своим детям некто Пьянков, бывший ссыльный [2], давно живший свободно в Сибири. Пьянков был неразборчив в средствах приобретения материальных благ. Он вел в крупных размерах торговлю спиртом и водкой в дальне-сибирских областях. Ему нужны были служащие, которым он мог вполне доверять. Сдружившись с Емельяновым, он предложил ему службу на выгодных условиях, и Емельянов принял ее. Теперь его положение настолько улучшилось, что он мог сделать сбережения; он женился и приобрел дом в Хабаровске. Но умер он, сравнительно, не старым, когда ему было около 50 лет, и умер в Хабаровске, где укрепился на якоре личного благополучия.

---

[1] Н. А. Зиновьев привлекался в Петербурге в конце 70-х г. по делу типографии на Гутуевском острове и по делу военной организации (Рогачев, Похитонов, Дегаев) «Народной Воли» в 1879 г. Окончание ссылки он провел в Сибири.

[2] По процессу «Черного Передела» в 1881 г., 29 сентября.

V. Каторга и ссылка.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЕ [1].

ЧАСТЬ I.

I. Усть-Карийская тюрьма.

Женская тюрьма на Усть-Каре, о которой я буду говорить, была выстроена под одиночки для уголовных арестантов. В мае 1882 г., после побега из Нижне-Карийской мужской тюрьмы, окончившегося для бежавших полной неудачей, местная администрация решила воспользоваться пустовавшей тюрьмой. Сюда привели из тюрьмы на Нижней Каре кучку заключенных, предназначенных к отправке в Петропавловскую крепость. Их гнали 15 верст до Усть-Кары ударами прикладов и, когда ослабевшие от долгого сидения падали на землю, их поднимали прикладами же. В одиночках они сидели на карцерном положении, на казенной пище, без табаку и чаю В камерах не было ни кроватей, ни табуреток, ни столов. Заключенные спали, сидели и ели на полу.

Большой коридор тюрьмы был превращен в кордегардию. Взвод казаков дневал и ночевал здесь. Казаки часто подходили к окошечкам, прорезанным в дверях одиночек, смотрели на заключенных, как на диких зверей, посаженных в клетки. Но скоро они поняли, что стерегут людей с высокой и светлой душой. Даже во внешних проявлениях казаков сказалась перемена: грубая брань, не умолкавшая до того времени в коридоре, не слышалась более; шум и гам утихли. В некоторых из казаков пробудилась доброта. Они стали приносить заключенным табак и бумагу для куренья и выражали им сочувствие.

В конце 1882 г. в Усть-Карийскую одиночную тюрьму перевели политических каторжанок с Нижней Кары. Их было всего три: Н. А. Армфельд, С. А. Лешерн и Е. Сарандович. Е. К. Брешковская к тому времени окончила каторгу по процессу «193-х» и была отправлена на поселение в Баргузин.

Вскоре прибыли вновь осужденные по киевским, одесским и петербургским процессам. Привезли также осужденную вторично

---

[1] «Русское Богатство», 1914 г., № 3.

в каторгу за побег Брешковскую. Тюрьма наполнилась. Число заключенных в ней доходило до 13, и тогда приходилось жить по две в маленьких камерах, которые имели все по одной сажени в длину и ширину, а в высоту, может быть, немногим более.

Камеры не отапливались и нагревались только из коридора двумя имевшимися там печами. В виду этого при сильнейших забайкальских морозах немыслимо было запирать одиночки. И, действительно, они всегда стояли открытыми. Сами заключенные для своего удобства заменяли двери занавесками.

О гигиенических условиях этой тюрьмы даже говорить не приходится. Стены ее промерзали. Окна в камерах были такие, какие делаются в конюшнях—в несколько вершков вышиной и помещались под самым потолком. Особенно от холода страдали крайние камеры, которые также не отапливались. С великим трудом удалось добиться, чтобы поставили небольшую печку в камере, где находилась Т. И. Лебедева, уже тогда больная туберкулезом.

II. Мои товарищи.

В марте 1884 года, когда меня привезли на Кару, в тюрьме содержались: Татьяна Ивановна Лебедева, Софья Андреевна Иванова, Софья Александровна Лешерн, Екатерина Константиновна Брешковская, Наталья Александровна Армфельд, Мария Александровна Коленкина, Фанни Абрамовна Морейнис, Юлия Осиповна Круковская, Надежда Семеновна Смирницкая, Антонина Игнатьевна Лисовская, Виктория Викторовна Левенсон и Софья Наумовна Шехтер. Препровождались на Кару и были в дороге: Анна Васильевна Якимова, П. С. Ивановская, Р. Л. Прибылева. В Иркутской одиночной тюрьме находились временно привезенные с Кары: М. П. Ковалевская, Е. Н. Ковальская, С. Н. Богомолец и Е. И. Россикова.

С С. Н. Шехтер я на Каре не успела хорошо познакомиться, потому что ее скоро увезли на поселение в Якутскую область. Точно так же я мало знала В. В. Левенсон, которая большую часть времени проводила в своей камере, редко оттуда показывалась и тоже вскоре была отправлена на поселение.

В тюрьме мне всегда грустно было видеть Ю. О. Круковскую. На воле она не принадлежала ни к какому революционному кружку и пострадала случайно. А известно, что такие лица особенно тяжело переносят заключе́ние. Свои 13 лет каторги Круковская получила за то, что вынесла вещи и несколько книг из квартиры Стефановича, когда он скрылся перед Чигиринским делом и его разыскивала полиция. Создалась большая несообразность: в 1883 г. Стефанович был приговорен к 8 годам каторги, ему по манифесту того года уменьшили срок до 6 лет, а Круковская, вовсе не причастная к Чигиринскому делу, продолжала отбывать свой долгий срок. Понятно, что

она с нетерпением ожидала окончания тюремного заключения; но внешним образом ничем этого не проявляла, а оставалась спокойной и бодрой. Чаще всего Юлия Осиповна усердно что-то шила, вышивала, или убирала свою каморку, в которой царствовал образцовый порядок. Она была родом из Черниговской губернии и иногда пела украинские песни, хотя голос ее был слабый и надтреснутый.

В настроении остальных заключенных было много общего. Все мы были революционерки, и, кажется, я не ошибусь, если скажу, что все мы пришли в тюрьму с некоторым удовлетворением прошлою деятельностью, а потому мы с большим спокойствием относились к своему положению. Многие из нас были долгосрочные; надежда выйти на волю представлялась почти несбыточной. Но даже возможность встретить смерть в стенах Карийской тюрьмы не нарушала наш душевный покой, который отчасти, может быть, происходил оттого, что, вступая в революционную партию, мы ужеároднились со смертью, а потом, пережив крушение революционного движения и гибель наших лучших товарищей, мы сделались в значительной степени равнодушны к собственной судьбе.

В общем и чаще всего настроение бывало бодрое. Сколько бы нам ни пришлось прожить здесь, — думали мы, — проживем это время наиболее человеческим образом, трудясь, работая, по возможности обогащая свой ум новыми знаниями, наслаждаясь обществом наших славных и милых товарищей. Это не была искусственно созданная программа поведения. Она вытекала из свойств наших характеров, а, в значительной степени, и из нашего мировоззрения.

Правда и то, что так сложиться могла наша жизнь в тюрьме только при существовавших тогда отношениях администрации к политическим заключенным. В этих отношениях совершенно отсутствовали наступательные стремления. Я говорю здесь только о тех лицах, которые были приставлены к нашей тюрьме. Все они исполняли свои обязанности и, как было очевидно для всякого, исполняли их за жалованье, которое получали от казны. Они кормились службою, боялись больше всего на свете потерять ее и потому делали свое дело добросовестно: стерегли нас, доставляли все, что по расписанию полагалось, и не передавали того, что не полагалось.

Надзирателями при нашей тюрьме состояли жандармы, которые находились под начальством «коменданта тюрем государственных преступников на Каре». Один из них по очереди отбывал дежурство при нашей тюрьме, а если для каких-нибудь работ приходили во двор или в тюрьму уголовные арестанты, то их сопровождал второй жандарм. К нам также назначалась надзирательница. Чаще всего жена старшего жандарма и была надзирательницей; но в разное время служили надзирательницами две вдовы.

Все надзирательницы были очень порядочные женщины. Некоторые были приезжие из Иркутска, другие—местные жительницы. По обязанности своей службы надзирательницы должны были

присутствовать при обысках, которые производили жандармы; они же делали для нас необходимые покупки, служили посредницами между нами и заказчиками каких-нибудь рукоделий. Так как надзирательницы относились к нам по-человечески, то и мы отвечали им тем же.

Вообще поведение всех лиц, приходивших с нами в соприкосновение, было вполне вежливое и корректное.

В день моего приезда на Кару (18 марта 1884 г.) я слегла от сильной боли в ноге. Должно быть, в лодке, в которой меня везли по Ингоде и Шилке, было очень сыро, вследствие чего появилась острая ревматическая боль. Нельзя испытать большую приветливость и более дружеский прием, чем я встретила на Каре от своих товарок. Мне отвели отдельную камеру, навещали меня, несли кто—книгу, кто—газету [1]. За обедом меня угостили местным блюдом, которое носило название «дрот»: это была крутая ячменная каша, приправленная салом. Словом, меня окружили всевозможной лаской, и я чувствовала себя счастливой, потому что находиться среди множества интеллигентных людей с добрыми и умными лицами, с живой и остроумной речью, действительно, большое счастье.

Через два дня боль в ноге исчезла. Я могла встать, одеться и начать знакомиться с внутренней жизнью тюрьмы. Но прежде, чем перейти к ней, мне хочется еще сказать несколько слов о моих новых товарищах и дать небольшие характеристики хоть некоторых из них.

III. Е. К. Брешковская.

Наибольшей популярностью среди нас пользовалась Е. К. Брешковская. Она покоряла сердца своим умением легко и быстро сходиться с людьми, распознавать их настроение, их горести и находить утешение для страждущих в минуты уныния или острой душевной боли.

Брешковскую знали и уважали даже карийские обыватели, так как первую свою каторгу она отбывала на Нижней Каре. Ее привезли в первый раз на Кару после «большого» процесса. Кроме нее, тогда содержались в каторге осужденные по делам Каракозова и Нечаева. Из женщин Екатерина Константиновна была одна. Ее не посадили в тюрьму, а оставили жить с самого ее приезда в вольной команде. Она давала уроки детям или зарабатывала хлеб свой шитьем. Общим уважением к ней заражалась даже тюремная администрация. В мое время старший жандарм Кравченко любил советоваться с ней по хозяйственным делам; а смотритель «здания тюрьмы» [2], Машуков,

[1] В те времена в сибирских тюрьмах разрешалось иметь одну из сибирских газет и известную газету «Неделя».

[2] Смотритель здания тюрьмы был вместе с тем смотрителем над всеми уголовными тюрьмами на Усть-Каре и полный властелин над арестантами. Впоследствии эту должность занял некий Бобровский, который явился палачом Сигиды.

всегда, когда предстоял ремонт тюрьмы (а это случалось часто, потому что она была кое-как сбита из лиственничных бревен), приходил спрашивать у Екатерины Константиновны, когда и как это лучше сделать.

Она была чрезвычайно подвижна. Она совершала прогулку по двору в течение долгого времени и по нескольку раз в день. Но этого движения ей было мало: в промежутках она упражнялась еще в гимнастике, что происходило за печкой в коридоре, и здесь же Брешковская давала уроки танцев одной очень молоденькой каторжанке, срок которой кончался через несколько месяцев. Остальное время у Кати, как все ее звали в тюрьме, проходило в беседах с товарищами, в чтении вслух, в шитье, в обучении кого-нибудь французскому языку.

Ее надо считать одной из инициаторш материальной помощи, которую женская тюрьма оказывала мужской и об организации которой я скажу ниже.

Вторая каторга для Екатерины Константиновны была непродолжительна, и в июне 1884 года ее увезли в Селенгинск на поселение.

IV. Т. И. Лебедева.

О Татьяне Ивановне Лебедевой я расскажу подробнее. Еще в 1899 году мною был составлен ее биографический очерк, но он не был тогда напечатан и потом затерялся. Пользуясь случаем, я восстановлю теперь наиболее важные факты ее жизни.

Татьяна Ивановна происходила из старинной судейской семьи города Рязани. Родители ее рано умерли, и заботы о воспитании перешли к ее брату, Петру Ивановичу Лебедеву, и его жене Вере Дмитриевне. Малолетняя Татьяна Иванова поступила в Московский Николаевский институт, где пробыла 11 лет до окончания курса. Каникулы она проводила неизменно в деревне, в имении брата, в Рязанской губернии, и это обстоятельство, а также тесные дружеские отношения, существовавшие между всеми членами семьи, предохранили Т. И. от пагубной оторванности от жизни, обычно порождаемой институтским воспитанием.

Согласно семейным традициям, Петр Иванович Лебедев избрал себе судебное поприще. Он был мировым судьей в Москве с самого основания мировых учреждений и оставался в этой должности более 20 лет, до дня своей смерти. В Москве его знали и любили за просвещенную деятельность, за умные и справедливые решения.

Образовательной стороной институтской жизни Татьяна Ивановна была довольна. Она находила, что учебная программа института хорошо подготовила ее к дальнейшему самообразованию и слушанию высших курсов. Но в общем институт оставил самое тягостное воспоминание в ее душе.

Однообразие почти монастырского уклада жизни было особенно тяжело для Т. И. при живом и деятельном характере ее. На Каре, уже имея более 30 лет от роду, она все еще с волнением вспоминала о гнетущей тоске института, о случаях омерячения или повальной истерии, которые иногда охватывали воспитанниц, в особенности в великом посту, во время говения. К этому прибавлялось чувство голода, которое институтки испытывали ежедневно. Раздобыть кусочек черного хлеба на кухне между обедом и ужином или до обеда считалось большим счастьем, которое выпадало на долю немногих. Гуляя позднею осенью по двору, институтки, по словам Т. И., откапывали из кучи мусора кочерыжки капусты, уже захваченные морозом, и, почистивши их, поедали с упоением.

Долгое пребывание в институте при неблагоприятных для роста и укрепления здоровья условиях не могло не отразиться на физическом состоянии Т. И. Если оно не вызвало порока сердца у нее, то во всяком случае способствовало его развитию.

У Татьяны Ивановны был большой дар слова, ее речь лилась свободно и красиво, и это была иногда едкая, полная сарказма речь. По всем вероятиям, при других условиях из Т. И. выработался бы выдающийся оратор. Память у нее была громадная, она знала наизусть стихотворения многих русских поэтов, и можно было заслушаться, когда она говорила их на память.

Т. И. была небольшого роста, но широка в плечах. Цвет лица ее бросался в глаза: смуглый и бледный. На бледном лице блестели прекрасные черные глаза. Взгляд их скорее выражал проницательность и сосредоточенность мысли, нежели нежность и ласку. В последние годы своей жизни Т. И. носила стриженные волосы, и они были очень тонки, шелковисты и чисто черного цвета. Лоб был невысокий с обозначенными буграми. Рот — крупный со слабо очерченными губами, какой бывает, говорят, у людей с ораторскими наклонностями. Характерно для личности Татьяны Ивановны, что в народнический период ее деятельности лучшими ее друзьями и товарищами были Шишко и Кравчинский, а позднее—Фроленко, Перовская, В. Н. Фигнер и другие видные народовольцы.

Ее труды на воле в первые годы ее революционной деятельности, до возникновения «Народной Воли», были посвящены рабочим в Москве, а позднее—в Петербурге. Она занималась пропагандой и обучением рабочих и организовывала их в кружки, основывала библиотеки и заведывала ими.

В первый раз Т. И. была арестована в середине 70-х годов в Москве и после допроса увезена в Петербург, в Дом предварительного заключения. Однако, по просьбе Веры Дмитриевны Лебедевой она была отпущена на поруки брату и вернулась в Москву. Так как она продолжала сношения с рабочими и товарищами-народниками, то, не желая навлечь подозрения полиции на брата и его семью,

она стала проживать по нелегальному паспорту. Ко времени процесса Т. И. явилась в Петербург и снова была помещена в Дом предварительного заключения. Судом она была оправдана и выпущена на свободу; но в виду того, что оправданных вновь арестовывали по приказу III отделения, она опять сделалась нелегальной и осталась в Петербурге. В то время жизнь в революционных кругах столицы била ключом. Вновь выпущенные радикалы знакомились с делами, спешили примкнуть к организации «Земля и Воля», возникшей в Петербурге в то время, когда молодежь сотнями томилась в тюрьме и крепости в ожидании процесса.

В настроении молодежи, все более убеждавшейся в невозможности продолжать мирное хождение в народ, замечался решительный перелом. Уже раздался выстрел Засулич, наэлектризовавший молодые сердца. Т. И. посещала собрания и принимала горячее участие в прениях по вопросам, волновавшим все умы.

В Петербурге, как и в Москве, она вела сношения с рабочими и заведывала библиотекой, основанной для них «Землей и Волей». Жизнь приходилось вести очень беспокойную, так как полиция, взбудораженная увозом В. И. Засулич после ее оправдания и исчезновением многих оправданных по «большому» процессу, часто производила обыски и облавы.

Не будучи посвященной в приготовления к убийству генерала Мезенцова, Т. И. в утро 4 августа случайно зашла к семье невесты Кравчинского. Вскоре явился он сам и молча поздоровался с Т. И. По блеску глаз, по особому выражению лица Т. И. догадалась, что случилось нечто чрезвычайное. Когда они остались одни, Кравчинский сказал ей, что он только-что с Михайловской площади, где кинжалом убил Мезенцова.

Начавшиеся вслед за тем аресты заставили Т. И. покинуть Петербург. Мы снова видим ее в Москве, где той же осенью она с кучкой молодежи встречала на вокзале отправляемых в ссылку киевских студентов, арестованных перед тем по случаю волнений в университете. Когда демонстранты дошли по Тверской до Охотного ряда, торговцы, подговоренные полицией, набросились на них, били кулаками, бросали в грязь, молодых девушек ловили за косы и тоже избивали. Молодежь бросилась бежать, кто куда мог. Т. И. с двумя студентами и знакомой курсисткой бежали по Тверской улице. За ними гнались охотнорядцы. Беглецы увидали открытые ворота и бросились во двор. Едва один из студентов успел захлопнуть ворота, а другой задвинуть засов, как охотнорядцы начали ломиться в ворота. Все же они побоялись разгромить их и с бранью удалились. Когда опасность миновала, осажденные взглянули друг на друга. Платья на них были разорваны, шляпы потеряны, лица в крови и грязи. В таком виде они не решились итти по Москве и просидели в этом чужом дворе до сумерек, когда можно было разойтись по домам незамеченными.

Весной 1879 года Т. И. находилась в Харькове, помогая С. Л. Перовской в ее планах освобождения заключенных Харьковской центральной тюрьмы. Здесь содержалось большинство мужчин, осужденных в каторгу по процессам «193-х», «50-ти» и демонстрации на Казанской площади. Т. Ив. отдавалась своей новой задаче со свойственной ей энергией и настойчивостью, но намерение освободить централистов пришлось скоро бросить, потому что их перевели в Борисоглебскую центральную тюрьму.

Т. И. оставалась в Харькове и вела сношения с рабочими и молодежью вплоть до с'ездов в Липецке и Воронеже.

На Липецком с'езде Т. И. примкнула к народовольцам и с тех пор состояла членом Исполнительного Комитета. Когда вскоре после с'езда был выработан план взрыва царского поезда при обратном проезде императора Александра II из Ливадии в Петербург, то один из трех назначенных пунктов покушения выпал на долю Т. И. Лебедевой и Михаила Федоровича Фроленко. Им было поручено устройство покушения под Одессой.

Побывав на Воронежском с'езде, где начался разрыв между только что слагавшейся партией и прежними народниками-пропагандистами, Фроленко и Лебедева выехали в Одессу.

При помощи местных знакомых Михаилу Федоровичу удалось заручиться рекомендациями, а потом поступить путевым сторожем на Юго-Западную железную дорогу. Т. И. была зачислена штатной сторожихой, и на ее обязанности лежало встречать поезда в отсутствие Фроленко. Само собою разумеется, что они жили по подложному паспорту, в котором именовались супругами Александровыми. Будка, которую они занимали, находилась на 12 версте от Одессы. В виду близости ее расположения к полотну ж. д. не предстояло надобности в подкопе. Все приготовления были уже закончены, и динамит привезен, как стало известно, что маршрут царя изменен. Вместо того, чтобы направиться морем из Ливадии в Одессу и потом по ж. д. в Москву и Петербург, Александр II решил ехать по Лозово-Севастопольской ж. д. Но здесь его ждал подкоп под Александровском и дальше под Москвой.

Незадолго до взрыва под Москвою был арестован Гольденберг, который вез динамит из Одессы в Москву. Его отправили в Петербург, посадили в крепость и после 19 ноября стали придавать ему особо важное значение. Спустя некоторое время, Гольденберг начал сообщать администрации все, что знал. Его обширные показания занимают много страниц. Они не погубили всех тогдашних деятелей на революционном поприще лишь благодаря Клеточникову, который ежедневно передавал Исполнительному Комитету то, что показывал Гольденберг. Вследствие этого успели скрыться и переменить фамилии и адреса все скомпрометированные Гольденбергом лица. Он выдал также Т. И., сказав, что, проезжая по Юго-Западной ж. д. и случайно находясь у окна вагона, он увидал неда-

леко от Одессы Т. И. Лебедеву, которая стояла с железнодорожным флагом у будки в качестве сторожихи, и описал подробно ее приметы. Таким образом, правительство узнало о готовившемся покушении под Одессой.

Исполнительный Комитет при помощи Богородского[1] передал Гольденбергу, что ему известны во всех подробностях его предательства, а мотивы, которые он измыслил для их прикрытия, не могут оправдать его. Прочитав эти слова, Гольденберг повесился на полотенце. «Он верно понял наше письмо, — сказал по этому поводу А. Д. Михайлов,—оно подсказало ему, что он должен кончить самоубийством».

Вернувшись после Одессы в Петербург, Т. И. принимала деятельное участие в работах Исполнительного Комитета. В конце лета 1880 года она вместе с М. Ф. Фроленко отправилась в Кишинев, где предполагался подкоп под казначейство. В этом деле было много участников, но оно не удалось, потому что почва близ дома, откуда велся подкоп, была песчаная. Потолок и стены подземной галлереи обваливались по мере того, как она прокладывалась. Ставить же подпорки и строить деревянную обшивку было невозможно по местным условиям. Времени на устройство помещения и начальные работы ушло очень много. Участники предприятия вернулись только в октябре в Петербург.

В первых числах марта 1881 года М. Ф. Фроленко был арестован на квартире Кибальчича. Его собственная квартира, где он жил вместе с Т. И., была обнаружена полицией. Таким образом, Т. И. после ареста мужа пришлось покинуть Петербург. Здоровье ее было очень расшатано, и товарищам, хотя с трудом, удалось убедить ее ехать на Кавказ лечиться. Но Т. И. не переносила бездействия, и пребывание на Кавказе скоро стало ей невыносимым. Она вернулась в Москву и была узнана на улице жандармским офицером. Чувствуя за собой погоню, она уехала в Петербург, бродила по улицам в полном изнеможении и была арестована близ Николаевского вокзала.

В июне 1883 года Т. И. перевели из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения. Я смотрела в окно камеры, когда в'ехавшая во двор тюрьмы карета остановилась у под'езда. Из нее вслед за жандармским офицером вышла женщина небольшого роста в арестантском халате. Я тотчас узнала Т. И. Она шаталась от слабости и чуть было не упала, но оправилась и вошла в канцелярию тюрьмы. Для нас, заключенных, не было тайной, что Т. И. очень плоха, и смерть ее ожидалась со дня на день. Однако, перемена режима несколько подняла силы больной, и в июле Т. И. присоединили к партии политических каторжан, отправляемых из Петербурга на Кару, в числе которых были и мы, осужденные

---

[1] Сын смотрителя Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

по процессу «17-ти». Дорогой Т. И. стала предметом особой заботливости товарищей, и под влиянием благоприятных условий она заметно оживала. Беседы с друзьями доставляли ей огромное удовольствие: после двухлетнего молчания в крепости она не могла наговориться. Из наших рассказов она узнавала происшедшее за время ее заключения и мысленно переживала события истекшего периода. На этапах, бывало, беседы продолжались до 2 и 3 часов ночи. Уже товарищи давно спали на нарах, укрывшись одеялами и халатами, а у железной печки все еще сидит Т. И. на каком-нибудь ящике, в котором мы везли посуду, необходимую для прокормления громадной партии политических. Подле нее находятся один или два собеседника. Кто-нибудь из них подбрасывает изредка полено дров в печку, огонь снова разгорается. Т. И. греет руки и ноги после холодного, осеннего дня в пути; ее волосы для дороги острижены; она часто откидывает их со лба; и разговор, прервавшийся было, снова качинается и журчит в тишине. Я никогда не выдерживала этих ночных бдений и иногда видела уже 10-й сон, а группа у печки все еще продолжала разговаривать. Чаще других в беседах участвовали П. С. Ивановская, П. Орлов, Ин. Ф. Волошенко, Стефанович и иногда Ив. Вас. Калюжный. От новейших событий переходили к прошлым, вспоминали погибших товарищей и тех, которые томились в крепости, описывали начало движения и хождение в народ. Таким образом, в словесной передаче создавалась и переживалась история всего прошлого революционного движения.

На Каре Т. И. застала нескольких товарищей и друзей, с которыми работала на воле или с которыми сидела в Доме предварительного заключения до и во время «большого» процесса. Таковы были: Н. А. Армфельд, С. А. Лешерн, С. А. Иванова, Е. К. Брешковская и другие. Эти встречи составили большое счастье для Т. И. и радовали ее душевно. Когда я приехала на Кару, то нашла уже снова ухудшение здоровья Т. И. У нее открылись раны на ногах, и эти раны сделались постоянными. Одни закрывались, а взамен их появлялись другие. Они совершенно исчезли только за несколько дней до смерти Т. И. Она ждала меня, чтобы начать перевязки, и я охотно принялась ухаживать за больными ногами Т. И., так как убеждалась, что промывание и перевязка облегчали ее страдания.

Несмотря на болезнь, Т. И. ходила быстрой походкой и старалась сама о себе заботиться и исполнять все нужные для того работы. Ее насилу убедили не стирать самой себе белье, как это делалось в тюрьме, и этот труд взяла на себя С. А. Иванова.

Заключенные относились с большой любовью и вниманием к Т. И. Она же продолжала быть деятельною, много работала и всегда была занята. Я упомянула уже, что надзирательница брала для нас заказы с воли и служила посредницей между заказчиками и нами. Работы эти состояли в шитье и в различного рода вышивках, более

или менее замысловатых, которые хорошо оплачивались. Вырученные деньги оставались на руках у старшего жандарма и шли на наши общие хозяйственные расходы. Т. И. старалась всегда получить на свою долю часть заказов, чтобы участвовать в общей работе. У нее была поражавшая меня способность. Она умела вязать чулки за чтением, не глядя на работу. Читала она много и с любовью. В промежутках своего трудового дня она давала желающим уроки французского языка. Она же вела счета нашего артельного хозяйства, которые были довольно сложны.

На Каре Т. И. очень любила выделять церковные праздники из наших сереньких будней. В такие дни она тщательнее обыкновенного занималась своим туалетом, надевала лучшее из того, что у нее было, не работала, а уделяла больше времени прогулкам по двору и беседам с товарищами, читала какую-нибудь особенно интересную книгу, которую приберегала для подобных торжественных дней. Меня удивляло, как Т. И., сама неверующая, соблюдает праздники, и я спросила ее об этом. Она оживилась, и, видимо, довольная моим вопросом, сказала, что у нее остался только один способ общения с русским крестьянством и русскими рабочими, это — отмечать те дни, которые они празднуют. «Мне отрадно думать,— говорила Т. И.,—что я праздную вместе со всем русским народом и хоть таким образом сливаюсь с ним».

Хворая, Т. И. дотянула до середины лета 1887 года. Около 10 июля температура у нее резко поднялась, и все признаки общего туберкулеза обострились. Пролежала она не более недели, сохраняя полное самообладание и спокойствие. А работала и читала чуть ли не накануне еще смерти. Задолго до нее она указала П. С. Ивановской, в каком белье и платье ее надо похоронить. Казалось, она исполняет важный долг, в котором никто ей не может помочь, но в совершении которого не должны ей мешать. Прощаясь со мной за несколько минут до смерти, она протянула мне руку и тихо сказала: «я умираю», а увидав слезы на моих глазах, проговорила: «не надо плакать». Обращаясь к П. С. Ивановской, она сказала так же тихо и с перерывами: «напиши брату... родным... благодари...» Потом она попросила переложить ее головой к другому концу кровати, и как только это было исполнено, глаза ее остановились в пристальном взгляде. Пораженная неподвижностью глаз, я нагнулась над Т. И. и увидала, что она перестала жить.

V. Н. А. Армфельд.

Наталию Александровну Армфельд я не знала на воле и впервые увидала на Каре. В ней поражала постоянная самоотверженная готовность работать на тюрьму. Всякую тяжелую работу она брала на себя: носила воду со двора, таскала дрова, пекла хлеб и т. д.

Одевалась она исключительно в казенное платье и белье, хотя по тогдашним тюремным правилам это не было обязательно.

В страшные забайкальские морозы Наташа, как звали ее в тюрьме, для своих продолжительных прогулок во дворе надевала или кофту, сшитую из казенного сукна на какой-нибудь истертой подкладке, или, в крайнем случае, казенный полушубок, который очень мало грел, и шапку, которая отказывалась служить вследствие продолжительного употребления.

Нельзя сказать, чтоб семья Н. А. была бедная или жалела снабжать ее деньгами. Наоборот, мать, любившая ее до такой степени, что дважды совершала путешествие из Москвы на Кару для свиданий с дочерью, не жалела для нее ничего и была бы рада выслать ей какую понадобится одежду. Но Н. А. просила, кроме денег, ничего не высылать, а деньги отдавала тюрьмам.

Было много аскетизма в ее образе жизни, вытекавшего из благородства характера. Н. А. чувствовала и считала себя физически сильнее своих товарок и с радостью отдавала им свои силы. Отказ с их стороны от жертвы не действовал на нее и не принимался ею в соображение. Но дело в том, что незаметно для самой Н. А. силы ее постепенно исчезали. Когда я ее увидала на Каре в 1884 году, она была уже очень худа, щеки ввалились, были видны кости, обтянутые кожей.

Если Н. А. указывали на истощение ее организма, просили беречься и обращать внимание на свое здоровье, она отшучивалась, отмахивалась и уверяла, что чувствует себя превосходно. Тем не менее, во избежание переутомления ее, товарищи освободили ее от дежурства по кухне, которое продолжалось неделю и требовало большого напряжения энергии, терпения и сил. Свои силы Н. А. растеряла по тюрьмам и разным мытарствам. Два раза (1874 и 1875 г.г.) она была арестована, когда ей было не более 18 или 19 лет; она находилась под гласным надзором полиции, подвергалась административной высылке; словом, проходила полный курс русского государствоведения. Административные взыскания относились к эпохе чистого народничества в жизни Н. А., к тому времени, когда она уходила в деревню и жила среди крестьян в качестве простой работницы. В мае 1879 г. Н. А. судилась Киевским военным судом по второму из так-называемых процессов «киевских террористов». В результате этих процессов были казнены Осинский, Брандтнер и Свириденко. Многие из подсудимых были приговорены к каторге, в том числе и Н. А. на 14 лет.

Таким образом, годы молодости она провела в тюрьме, что должно было оставить глубокие следы на ее характере, на ее воззрениях, на ее суждениях о людях. В мнениях ее иногда сказывалась наивность, обнаруживалось незнание жизни, что было вполне понятно, если принять в расчет условия, в каких ей пришлось провести лучшие свои годы.

Семья Н. А. принадлежала к потомкам генерала Армфельд, вызванного Петром I из Швеции. Отец Н. А. был директором Московского Николаевского института, в здании которого и находилась его квартира. Н. А. училась в институте, хотя жила при родителях. Она была несколько моложе Татьяны Ивановны Лебедевой, но они очень дружили, и Т. И. часто посещала свою подругу.

Н. А. была музыкальна и очень хорошо рисовала карандашом. На Каре существовало несколько ее рисунков, изображавших сцены из нашей тюремной жизни и группы заключенных. Иногда Н. А., которой также хорошо удавались карикатуры, изображала себя в более или менее смешном виде. На одном рисунке она представила, как сама стоит у печки с кочергой и обращает в бегство смотрителя Машукова. Сценка эта была взята из действительности. Машуков вошел однажды в тюрьму, когда Н. А. собиралась сажать хлебы в печку, и, вооружившись кочергой, выгребала из печки золу. Смотритель, не разобрав в чем дело, вообразил, что Н. А. схватила кочергу, чтобы броситься на него, и пустился бежать из тюрьмы через двор к воротам. Он успокоился только тогда, когда очутился за ними, и жандармы его уверили, что Н. А. Армфельд не только никого не обидит действием, но даже словом, если ее не оскорбить.

Наталья Александровна была огромного роста, с довольно резкими чертами лица. Руки и ноги были очень большие. И, несмотря на эти отрицательные по отношению к красоте черты, личность ее была привлекательна и мила. В тюрьме у нее было множество друзей, которые горячо любили и умели ценить ее. Эта товарищеская любовь составляла счастье для Н. А. Она берегла ее от всякой тени недоразумения, которая могла бы нарушить гармонию дружбы. Особенно привлекателен был в ней ее ясный нрав, почти всегда ровный и веселый. Изредка только сказывалась надломленность личной жизни Н. А., которая в такие тяжелые для нее минуты уходила в свою камеру и никого не хотела видеть. Только Т. И. Лебедева и Е. К. Брешковская всегда — даже во время самого мрачного настроения Н. А.—имели к ней доступ. Влияние их на нее было очень велико, в чем она охотно сознавалась.

Н. А. получила превосходное образование и свободно говорила на трех иностранных языках. Больше других ей нравился английский язык: она восхищалась им и его грамматикой. Английскую литературу она знала, пожалуй, не хуже русской, и на Каре получала английские газеты и журналы, которые ее мать специально для нее выписывала. Может быть, оттого, что Россия была для нее злою мачехою, она полюбила Англию какой-то родственной любовью и иногда мечтала уехать туда навсегда по выходе из тюрьмы. Ее знание английского языка сослужило большую службу мистеру Кеннану. Когда он приехал на Кару, Н. А. уже была в вольной команде. В то время она была единственным человеком на Каре, который мог давать об'яснения Кеннану на родном его языке.

Находясь еще в тюрьме, она давала уроки английского языка С. А. Ивановой и мне. Пока мы читали, переводили или писали, Н. А., чтобы не терять времени, обыкновенно чинила свой гардероб. Я уже сказала, что он весь был сделан из казенного материала, был очень невелик и требовал постоянной починки и исправления.

Мать Н. А. жила в Москве и была знакома с Л. Н. Толстым, который через нее раза два посылал Н. А. поклон. Он говорил матери, что, оставаясь теоретическим противником революционеров, он изменил свое мнение о них. Он перестал смотреть на них, как на несуразных или оголтелых людей, и понял смысл их действий и их борьбы.

Это было в пору увлечения Льва Николаевича сапожным ремеслом, т.-е. в конце 1884 или в начале 1885 г. В одном из своих писем мать Н. А. писала, что Л. Н. предлагает ей прислать мерку своей ноги, так как он намерен сшить ей башмаки. Но Н. А. отказалась, говоря, что не хочет, чтобы Л. Н. тратил время на шитье ее башмаков. Т. И. Лебедева не замедлила сострить, что Н. А. не посылает мерки потому, что нога ее очень большая, а если бы ножка была маленькая, она не задумалась бы послать мерку Льву Николаевичу. Наташа сама больше всех смеялась этой шутке и уверяла, что это правда. Но все хорошо знали ее скромность и знали, что на самом деле ей неприятна мысль, чтобы Л. Н. тратил свое время на ее башмаки.

На пасхальной неделе 1885 г. Н. А. выпустили из тюрьмы в вольную команду. Вскоре приехала вторично к ней на Кару мать и прожила с ней несколько месяцев. В конце года Н. А. вышла замуж за Комова и повенчалась с ним.

Образ жизни ее остался прежний. Она так же много трудилась и работала, жила так же бедно, как раньше в тюрьме. А призрак страшной болезни подкрадывался к ней, и смерть уже стояла за ее плечами. Летом 1887 года у Н. А. родилась дочка, и тотчас после родов у нее появились признаки скоротечной чахотки. Она умерла в сентябре того же года, а несколько позднее умер и ребенок.

VI. С. А. Лешерн-фон-Герцфельд.

Софье Александровне Лешерн суждено было жить в переходное относительно женского вопроса время. Пути к образованию, к разным профессиям, к материальному обеспечению посредством собственного труда еще не были проложены. Но энергии у С. А., не удовлетворявшейся жизнью в провинциальной глуши, было достаточно, чтобы покинуть родительский дом и в новых условиях строить свою жизнь. Когда в 1870 г. открылись первые женские курсы, подготовлявшие слушательниц к изучению высших наук, она поспешила в Петербург. Здесь она впервые услыхала о социалистическом учении, изучила его и стала на всю жизнь убежденной

и ревностной социалисткой. В Петербурге же она познакомилась с будущими членами кружка чайковцев, но не вошла в него. Она была лет на 10 старше своих новых друзей, а у молодежи разница в годах составляет преграду к полному сближению. Кроме того, характер С. А. не обладал той гибкостью, какая необходима, чтобы слиться целиком с организацией. Натура у нее была властная, и, я думаю, ей было бы трудно отречься от собственной воли настолько, чтобы стать лишь частью целого.

Отец С. А. был военный генерал в отставке и жил с семьей в имении Меглецы Новгородской губернии. С С. А., которая была его младшею дочерью, его связывала нежная дружба. Не сошедшись с чайковцами, С. Ал. решила самостоятельно испробовать свои силы в осуществлении общественных задач. Возвратившись в имение отца, она основала школу для крестьянских детей, где стала сама преподавать. Родители уступили флигель под школу, которая быстро росла и приняла значительные размеры. Перед Софьей Александровной встали и другие задачи. Она задумала поднять экономическое положение крестьян при помощи кооперации. Ей понадобилась помощь для осуществления своих планов. Первым учителем школы и помощником С. А. в Меглецах был некто Гамов, позднее судившийся по делу Долгушина. После его от'езда С. А. отправилась в Петербург и отыскала там молодого человека, который был не кто иной, как П. В. Засодимский, ставший позднее известным писателем. Деятельность в деревне пришлась ему по сердцу. Он с радостью согласился быть учителем и помогать С. А. в ее начинаниях.

Засодимский оказался искусным преподавателем. Работа в Меглецах кипела. Была открыта общественная лавка и ссудо-сберегательное товарищество. Позднее, после административного разгрома и гибели школы, равно как и других предприятий, Засодимский описал эту эпопею в повести, названной им «Хроника села Смурина».

В лице помещицы Елизаветы Петровны Водяниной получился слабый и неясный абрис С. А., потому что в своем описании Засодимский оставил в тени ее непреклонный характер и ее социалистические убеждения. Есть ли Кряжев в повести живое лицо, неизвестно, но несомненно, что его напряженную деятельность, его веру в кооперацию, его разочарование в паллиативах,—все это пережила и перечувствовала С. А. После разгрома устроенных ею учреждений С. А. присоединилась к кружку пропагандистов, отправлявшихся в приволжские губернии, побывала в нескольких деревнях Самарской губ. и была арестована в Саратове.

Ее привезли в Петербург в Дом предварительного заключения и присоединили к процессу «193-х». Ее обвиняли в пропаганде против правительственной власти, а также в устройстве ссудо-сберегательного товарищества в Меглецах. Она была осуждена на житье в Тобольскую губернию.

По просьбе и ходатайству матери, ее помиловали, отдали на поруки отцу и под надзор полиции. Но С. А. не стала жить в неволе. Она уехала из отцовского имения с твердым решением навсегда порвать связи с легальным миром. Шел 1878 год. В России начал прокладывать себе дорогу политический террор, и ему отныне посвятила свою жизнь С. А. Она легко нашла способ примкнуть к тогдашним террористам. Она и раньше была знакома с Осинским; теперь отыскала его и с ним вместе уехала на юг России. Она стала помощницей его в революционных делах и его другом. Так ответила она на невозможность вести мирную просветительную работу в деревне.

Этот период террористической деятельности занял в жизни С. А. всего несколько месяцев, но по силе и яркости впечатлений и переживаний он равнялся годам. Уже в январе 1879 года Осинский и Лешерн были арестованы в Киеве; одновременно с ними был арестован и И. Ф. Волошенко. Их троих судили военным судом в мае того же года. Это был так-называемый «первый процесс киевских террористов». Осинский и Лешерн были приговорены к смерти. С. А. была первой женщиной в России, получившей смертный приговор. Для нее он был заменен бессрочной каторгой, но лица, видевшие ее в то время, знали, какое глубокое горе ей причинила эта замена, как искренно и сильно она предпочитала казнь долгосрочной каторге.

На Каре я встретила ее уже старухой. Густые остриженные волосы ее были совсем седые, лицо в морщинах. С. А. была сутулая, и это придавало ей еще более старческий вид. Она страдала хроническим катарром легких, который зимой обострялся. Тем не менее, С. А. трудилась целые дни. Ее движения были быстры и решительны. Она исполняла все работы для себя самой и отбывала дежурства по кухне, которые были для нее особенно трудны при ее больных легких. Наиболее замысловатые вышивки по заказам с воли, требовавшие особого умения и ловкости, исполнялись ею. Характер С. А. в то время можно скорее назвать нелюдимым и замкнутым. Она часто избегала общества товарищей и проводила время одна в своей камере. Всей душой она была привязана к Е. К. Брешковской и Н. С. Смирницкой. Но и других товарок она любила и в особенности ценила в них все выдающееся, талантливое и доброе. Но она неохотно и критически принимала решения большинства и никогда слепо не подчинялась им.

Такие люди черпают свои нравственные силы в сознании своей правоты, но жизненный путь их одинок и тернист.

VII. Н. С. Смирницкая.

Кто же была такая Надежда Семеновна Смирницкая, о которой я только-что упомянула? В воспоминаниях разных лиц о Каре

говорится только о немногих моментах жизни Надежды Семеновны. Известно, что она судилась по процессу «17-ти» особым присутствием сената в 1883 году, была осуждена в каторгу и умерла на Каре в 1889 году, приняв участие в массовых самоубийствах, вызванных истязанием Н. К. Сигиды. Но никто еще не делал попытки набросать портрет Надежды Семеновны. Мне хочется хотя бы беглыми штрихами очертить ее милый образ.

Н. С. была дочерью священника одной из южных губерний. Черты ее лица были до того правильны, суровы и строги, что казалось, будто для создания ее послужил моделью один из ликов святых со старинной, почерневшей иконы. Ее прямой и правильной формы нос, небольшой лоб, лишенный всяких особенностей, черные, гладкие волосы, разделенные спереди пробором, опущенные книзу голубые глаза, всегда сомкнутые губы, бескровный оттенок на впалых щеках,—все это было точно олицетворением старинной иконы.

На Каре, где мне пришлось видеть Н. С., она была поразительно молчалива. Она двигалась и работала молча. Но случалось, что она оживлялась и говорила без умолку. Это было тогда, когда она находилась в обществе дорогих и особенно близких ей людей. Смеялась она тогда весело и вся сотрясалась от смеха.

Она обладала редким талантом — делать все, что делала, превосходно и наилучшим способом. Такие руки, как ее, называются золотыми. Она наотрез отказывалась делать то, что могло выйти не совсем отлично. Бывало, кто-нибудь из нас посоветует ей или попросит ее сшить такую-то вещь или испечь что-нибудь, а Наденька, которая была немного своенравна, как истая дочь южной России, стоит на своем, что она этого не сделает. «Почему»? — спросишь ее.—«Да потому, что выйдет нехорошо,—отвечает она,— и, значит, не стоит и делать».

В этом суровом и непреклонном на вид человеке были заложены, однако, сокровища доброты, сострадания и нежности.

Когда приехала на Кару Мария Васильевна Калюжная, родная сестра Ивана Васильевича Калюжного, мужа Надежды Семеновны, они поселились в одной камере и больше никогда не расставались. Наденька не могла с ней наговориться. Они читали, работали и гуляли вместе. А когда Мария Васильева пела в тюрьме своим сильным и красивым голосом, Н. С. восхищалась и радовалась. Часто они строили планы будущего, собирались после каторги поселиться вместе втроем, т.-е. Смирницкая, Калюжная и И. В. Калюжный. Но не жизнь соединила их. Они умерли все трое в один день от яда, приняв добровольную смерть, чтобы хотя ею протестовать против истязаний заключенных. Огромный запас высокого самоотвержения, энергии и нежной любви был отдан смерти, и молодая жизнь целой семьи пресеклась.

VIII. Наша внутренняя жизнь.

Надеюсь, читатели поймут, что, остановивши свой выбор на Брешковской, Лебедевой, Армфельд, Лешерн и Смирницкой, я не руководилась ни превосходством этих лиц над другими моими товарками, ни моими преимущественными симпатиями к ним. В тюрьме были равные им по моральной силе, а любила я многих. Но биографии названных лиц были мне известны более других, и потому мне легче было говорить о них.

Возвращаюсь, однако, к внутренней жизни нашей тюрьмы. Видную роль в этой жизни играла необходимость оказывать материальную помощь мужской тюрьме. Важное значение этой помощи признавалось у нас всеми без исключения, и все стремились внести свою лепту в это полезное дело. Оно вызывалось тем, что средства мужской тюрьмы были очень ограничены, а заключенных было много. В 1884 году число их доходило до 120 человек. С течением времени многие вышли на поселение или в вольную команду, иные умерли, а вновь осужденных не присылали, так что в момент раскассирования тюрьмы в сентябре 1890 г. в ней оставалось не более 40 человек. Вся тюрьма страдала хроническим голодом. К весне обыкновенно появлялась цынга, да и вообще организмы были крайне истощены. Даже коменданты были до известной степени заинтересованы в помощи, которую женская тюрьма оказывала мужской, так как в виды коменданта не могло входить, чтобы заключенные валились с ног от цынги и истощения. Разумеется, пересылавшиеся нами суммы были невелики и колебались между 50 и 200 рублями, а в год составляли от 500 до 700 рублей. Эти деньги получались частью от заказов, но, главным образом, собирались из присылок наших родственников.

Мы стремились к тому, чтобы обходиться своими средствами, не касаясь присылаемых денег, но это не удавалось. Расчет при этом строился на том, что большинство из нас получали больничные пайки, т.-е. пшеничную муку вместо ржаной и немного больше мяса, чем при обыкновенном пайке. Но мы должны были на свои деньги покупать чай, сахар, сало для жарения (масло было совсем изгнано вследствие своей дороговизны), мыло, сальные свечи, спички, картофель и др. овощи. Ржаная мука, получавшаяся из тюремного ведомства, продавалась нами на сторону, и взамен ее приобреталась пшеничная в добавление к той, которая полагалась от казны. Пшеничный хлеб подавался к чаю, а за обедом ели ржаной хлеб, который покупался у арестантского старосты. Пшеничный хлеб пекла Н. А. Армфельд, пока была в тюрьме, а потом его отдавали печь на сторону женщине за плату. Все эти финансовые операции производила для нас надзирательница.

Случалось, что не было заказов или присылки сокращались, и тогда мы были бессильны что-либо сделать для товарищей, хотя и слышали, что они бедствуют, голодают и болеют.

Несмотря на эти случаи беспомощности с нашей стороны, заботы о мужской тюрьме имели для нас громадное значение. Получалась задача, об'ектом которой были не мы сами; при этом задача по размерам настолько была обширна, что она заставляла нас напрягать силы, во-первых, для работы, а во-вторых, чтобы измыслить различные способы сбережения и экономии. Эта созданная условиями жизни цель делала нашу тюрьму похожей на муравейник, в котором все заняты важным, всем им понятным делом.

Бывали, конечно, у нас часы досуга, и они проводились в оживленных разговорах. По большим праздникам Наденька пекла куличи или булки из белой муки, а вечером даже пелись песни теми, у которых были голоса.

В женской тюрьме не существовало своей особой библиотеки, а большая библиотека в мужской тюрьме считалась также собственностью женской тюрьмы, и мы могли пользоваться ею. В виду этого привезенные нами с собой книги, если мы того желали, отсылались в мужскую тюрьму библиотекарю, и он вносил их в каталог библиотеки. Один раз в неделю нам разрешалось отсылать прочитанные книги и выписывать новые. Отвозил их на «Нижний промысел» верховой казак или жандарм, если случайно ехал по делам. Чтобы книги не терялись и не портились дорогой, мы сшили из казенного сукна на холщевой подкладке большую сумку, которую надевал верховой через плечо или клал впереди себя на седло. Когда дежурный жандарм вносил в ворота сумку с книгами, то очень часто у нас поднимались волнение и радостный шум, потому что присылка книг была единственным событием, нарушавшим однообразие нашей жизни. Книги предварительно вносились в жандармское помещение и только после тщательного просмотра отдавались нам. Хотя жандармы знали, что в них не закладываются письма и не пишется ничего, тем не менее, процедура осмотра повторялась с неизменною аккуратностью.

Самыми выдающимися событиями этих первых лет моего пребывания на Каре были, несомненно, приезды к нам доктора Веймара. Мы воспользовались посещением тюрьмы забайкальским губернатором Хорошхиным и просили его разрешить доктору Веймару лечить Т. И. Лебедеву. Это было в феврале 1885 г. Губернатор дал свое согласие, и через несколько дней в сопровождении смотрителя с «Нижнего» и жандарма приехал к нам доктор Веймар, тогда еще содержавшийся в тюрьме.

К тому времени у нас заболела А. И. Лисовская, и у Веймара, таким образом, оказались две пациентки. Несмотря на обоюдное желание, и с нашей, и с его стороны, он отказывался посидеть у нас и выпить стакан чаю. «Не стану засиживаться у вас,—гово-

рил он,—начнутся доносы, и мне запретят ездить к вам и лечить вас». Он был крайне раздражителен, и казалось, что надзор для него физически непереносим. Ясно было, что он его мучает и заставляет страдать.

Два раза правительство предлагало ему полное восстановление в правах, если он подаст прошение о помиловании, и он оба раза отвергал эти предложения.

В апреле того же года, как доктор Веймар стал ездить к нам, его выпустили в вольную команду. Одновременно из нашей тюрьмы выпустили Н. А. Армфельд, А. И. Лисовскую, М. А. Коленкину и Розу Львовну Прибылеву. Но здоровье Веймара уже не могло поправиться. К концу зимы, когда он находился еще в тюрьме, он стал сильно кашлять. Мы с болью прислушивались к его кашлю и понимали, как опасна должна была быть чахотка для истощенного организма нашего нового друга.

Когда он очутился в вольной команде, население обрадовалось, что может пользоваться отличной медицинской помощью, и повалило к нему. Приезжали из окрестностей, его звали к далеко живущим больным, дома тоже его осаждали больные. Он никому не отказывал в помощи, хотя случалось, что пациенты платили ему черной неблагодарностью, и даже раза два пациенты из местных поселенцев его основательно обкрадывали. В августе 1886 г. Веймар ездил на «Средний промысел» за 15 верст вверх по речке Каре, где лечил находившуюся при смерти жену священника. Он спас ее не только своими знаниями, но и тем, что был при ней сиделкой. Он не отходил от ее постели, пока не убедился, что она вне опасности. Но сам поплатился жизнью. Возвращаясь со «Среднего» к себе домой, Веймар попал под проливной дождь. Было уже довольно холодно, а он ехал в летнем пиджаке, как его застал зов к больной. Рассказывая нам об этом случае, Веймар ответил на наши сожаления: «Зато я спас ей жизнь, пусть поживет».

Его собственная болезнь с тех пор ухудшилась в такой степени, что конец его стал близок. Температура держалась высокая. Случались глубокие обмороки, а так как Веймар жил один в домике, который купил на Каре, то положение его было даже опасно. Однажды он упал и пролежал на полу несколько часов. Для ухода за ним переехала к нему Р. Л. Прибылева. Веймар слег и больше не встал. В это же время умирала на Нижней Каре А. И. Лисовская. Веймар часто спрашивал о ней, и, когда узнал, что она умерла, воскликнул: «Ну, теперь очередь за мной!» Он умер несколько дней спустя.

Прошло 2½ года с моего приезда на Кару. За это время не произошло ничего радостного, а были болезни и страдания, и все же этот период наиболее счастливый в истории Карийской женской тюрьмы: он светлый и ясный сравнительно с мрачной эпохой, которая настала потом.

ЧАСТЬ II [1].

I. Мрачные времена.

Главная причина, ухудшившая положение заключенных в женской тюрьме и превратившая его в сплошную и трудно переносимую муку, было психическое расстройство Елены Ивановны Россиковой. У нас говорили про ее сумасшествие, и, тем не менее, никто не думал, что у нее неизлечимая болезнь мозга. Да и могли ли бы мы ставить диагноз? Между нами не было медиков, а прибегать к помощи тюремного врача для констатирования психической болезни товарища никому не могло притти в голову. Следовательно, когда говорили о сумасшествии Россиковой, то имели в виду свойства ее характера, нелогичность или экстравагантность ее поступков. А когда после нескольких лет психическое расстройство обнаружилось с несомненной ясностью, все были удивлены неожиданным концом страшной карийской драмы.

Наша жизнь стала особенно несчастлива вследствие того, что нами—и мною в том числе—была сделана ошибка, которая вследствие сумасшествия Россиковой стала непоправимой и роковой.

К великому моему огорчению я не могу закончить своих воспоминаний о Каре радостным сознанием, что нами не было совершено ни одной ошибки во время заключения. Нет, она была сделана, и ее мрачное значение состояло в том, что она легла в основание навязчивой идеи несчастной Елены Ивановны Россиковой. Отсюда само собой очевидно, какие коллизии должны были создаться, какие муки переживались и какое опасное положение должно было вызвать это стечение обстоятельств.

Но в самое мрачное время безумия Россиковой у нас оставалось утешение, что наша ошибка лишь случайно превратилась в источник бедствий для тюрьмы, тем более, что она тотчас же была сознана, и нами было сделано все возможное, чтобы загладить несправедливость, допущенную нами, к тому же допущенную без всякого намерения нанести кому-нибудь вред или обиду. Для нас было неоспоримо, что при тогдашнем психическом состоянии Россиковой повод для разлада в тюрьме появился бы неизбежно; столкновение произошло бы на какой-нибудь другой почве и повлекло бы за собою не менее чувствительные последствия.

---

[1] Начало моих воспоминаний о Каре появилось в № 3 «Русского Богатства» за 1914 год. II часть писалась весною 1914 года, но печатание ее задержалось частью по моему желанию, частью по желанию В. Г. Короленко. В 1921 году в письме от 9 июня Владимир Галактионович советовал мне далее не откладывать печатание продолжения моих воспоминаний. Но только теперь осуществляется его совет. Таким образом, II часть моего повествования о Каре в предлагаемом читателям сборнике появляется в печати впервые.

А. П.-К.

Зачем я все это говорю? Зачем было вообще затрагивать столь больные когда-то вопросы? Но писать о Карийской женской тюрьме, не касаясь самого тяжелого периода ее существования, невозможно; с другой стороны, мучения, перенесенные заключенными, так сильны и глубоки, что не должны пройти бесследно. Пусть на ошибке, доставившей адские страдания людям, совершившим ее, не рассчитавшим возможных последствий, учатся другие избегать несправедливости.

В самом начале открытия женской тюрьмы на Усть-Каре внутри ее образовалось два течения. Одни из каторжанок смотрели на заключение, как на неизбежное явление, и переносили его твердо, как человек переносит несчастие, встретившееся на его жизненном пути. Другие видели в страже и в тюремных служащих представителей правительственной власти и вели с ними партизанскую войну. Ее проявление сибиряки своим реалистическим умом об'ясняли себе женскою блажью и смотрели на эти проявления снисходительно, может быть, с некоторым соболезнованием, но во всяком случае взгляд их клонился не к чести и не в пользу тюрьмы.

Когда это было замечено товарищами, считавшими долгом поддерживать все выступления против конвойных казаков, часовых и жандармов, они резко порвали с партизанской войной.

С своей стороны, администрация на Каре давно тяготилась беспорядками в женской тюрьме и ходатайствовала у забайкальского губернатора о переводе некоторых из заключенных. В марте 1884 года, перед моим приездом, с Кары были увезены в Иркутск Е. Ив. Россикова, С. Н. Богомолец и Елиз. Ник. Ковальская. Они содержались в Иркутске в одиночной тюрьме, где находилась также М. П. Ковалевская, увезенная раньше с Кары. Здесь произошел побег Е. Н. Ковальской, ее поимка, а затем, вследствие введения карцерного положения, продолжительная голодовка.

Четверо карийских каторжанок оставались в Иркутской тюрьме около 1½ лет, до осени 1886 года. Ко времени их возвращения на Кару из прежних товарищей по заключению, протестовавших против партизанской войны, оставалась только С. А. Лешерн. Инициаторши партизанской войны и заключенные, протестовавшие против нее, расстались во враждебных отношениях. Это была не личная вражда, она вызывалась различием взглядов на вещи, но это не мешало ей быть резко выраженной.

Вообще же состав тюрьмы в момент приезда 4 иркутских заключенных был следующий: Круковская, Лебедева, Лешерн, Смирницкая, Ивановская, Якимова, Корба. Другие товарищи, которых я застала на Каре, были или в вольной команде, или на поселении.

До начала 1884 года в женской тюрьме не было общего артельного хозяйства. Заключенные жили группами и группами делились средствами. С появлением народовольцев на Каре основалась артель, в которой средства были общие, а расходы делались по смете,

составленной сообща. Артель возникла самопроизвольно, без предварительных обсуждений, и возникла вследствие того, что некоторые из нас не имели никаких средств существования, тогда как другие были обеспечены ежемесячными присылками от родных. Ее целью было уравнять пользование деньгами и дать возможность жить тем товарищам, которые были лишены средств. В течение около трех лет артель доказала превосходное свое устройство. За все это время в тюрьме не было ни одной ссоры, ни одного расхождения, что отчасти надо приписать артели. Она об'единяла и сплачивала людей; с ней жилось легко и хорошо. Но она имела недостаток, никем из нас не замеченный, который мы оценили только со временем. Она не имела писаного устава, и права членов не были точно формулированы. Так, например, право вступать в нее всех прибывающих в тюрьму никогда не обсуждалось, и прием членов артели зависел от желания наличного ее состава.

Осенью 1886 г. стали прибывать иркутские заключенные. Первой приехала Е. Н. Ковальская. Для нее артель была новым явлением; ей захотелось вступить в нее, и ее приняли. Несколько позднее привезли Марию Павловну Ковалевскую. Многие из нас, проезжая через Иркутск, виделись и познакомились с ней. Это была живая и подвижная средних лет женщина; небольшого роста, очень тонкая и худая; с большим запасом жизненных сил и жаждой жизни. В Иркутске она много занималась и читала. Разговаривая со мной, она сказала, что старается не отстать в знаниях от современного их уровня. Ее тревожила мысль, что будет об'явлена конституция, нас вернут на родину, а по познаниям мы далеко отстанем от передовых людей России.

Я здесь заговорила о М. П. Ковалевской потому, что о ней сравнительно мало знают, а она, несомненно, была выдающимся человеком по уму и энергии, не знавшим утомления. Она была сестрой известного писателя-народника, знакомого публике под инициалами В. В., т.-е. Воронцова. По порывистости характера, по страстности стремлений М. П. Ковалевская принадлежала к южному типу людей, и, действительно, родилась она и выросла на Украине. В 1887 году, в августе, она как-то принялась высчитывать, сколько ей осталось еще просидеть в тюрьме до вольной команды. Подобные расчеты, вообще, составляют довольно сложную процедуру. По выкладкам оказалось, что ей приходится сидеть в тюрьме около месяца, а в сентябре ее должны выпустить в вольную команду. Она заявила об этом в ближайший приезд коменданта и просила высчитать ее срок в канцелярии. Там получился иной результат, и согласно ему Марии Павловне надлежало пробыть в тюрьме еще два с половиною года. Комендант прислал заведующего канцелярией заявить ей об этом и показать, на чем основан расчет, который оказался верным.

Это открытие произвело на Марию Павловну потрясающее впечатление; на нее напала тяжелая грусть, и нам, ее товарищам, пока-

залось по каким-то неясным признакам в виде смутного предчувствия, что мы слышим смертный приговор, произнесенный над ней, и что человек из канцелярии пришел читать ей отходную. В самом деле, при пылком и беспокойном характере М. П., отсрочка ее освобождения становилась угрозой ее жизни. Предчувствия не обманули ни ее, ни нас. Как известно, М. П. умерла, приняв яд в один день с Н. К. Сигидой в ноябре 1889 года, когда ей оставалось просидеть в тюрьме не более двух месяцев.

Когда М. П. привезли на Кару осенью 1886 года, она тоже вошла в артель к обоюдному удовольствию.

Позднее всех прибыли Е. И. Россикова и С. Н. Богомолец, и сразу получилась заминка. С. А. Лешерн решила выйти из артели, если будут приняты Россикова и Богомолец. Мотивом ее решения служила уверенность, что с их приездом водворится опять хаос и беспорядочная борьба, какая велась раньше, и что артели надо держаться как можно дальше от них. Все знали непреклонную волю С. А. Лешерн, знали, что ее решение неизменно, и пожалели ее. Если б она стала вести свое отдельное хозяйство, ей пришлось бы неизбежно каждый день стоять у печки, хлопотать о провизии и проч., тогда как в артели каждая из нас, отбыв свое дежурство, была свободна на несколько недель. При больных легких С. Ал. эти соображения имели большое значение.

Не могу не признать, что при решении вопроса о принятии Россиковой и Богомолец я была против них. Если б я стала убеждать нашу публику голосовать за их принятие, может быть, результат получился бы иной, но для меня это было невозможно. Я рассуждала так: они материально обеспечены; в хозяйстве они будут чередоваться и до своего от'езда в Иркутск они вели его также только вдвоем, отдельно от других.

Артель, хотя неохотно, решила не принимать Россикову и Богомолец. Правда и то, что их приезд был для нас неожидан. Мы были к нему не подготовлены, и вопрос об их принятии ранее не обсуждался. А когда они уже были налицо, то надо было сразу решить вопрос в ту или другую сторону. Возможно, что при общем обсуждении нашелся бы средний путь, решение получилось бы менее резкое, а последствия были бы менее печальные.

Как только Россикова и Богомолец узнали о нежелании артели принять их членами, так отношения их ко всем остальным заключенным в корне испортились. Постепенно установилась очень тяжелая атмосфера, которая держалась упорно, никогда не смягчаясь. Каждая минута была отравлена присутствием двух лиц, враждебно настроенных по отношению к нам.

Вскоре стало ясно, что о прежней борьбе со стражей нет более речи, а вся энергия Е. Ив. Россиковой была направлена на преследование ее внутренних врагов, которыми оказались все заключенные.

Положение становилось особенно критическим вследствие влияния, какое имела она на С. Н. Богомолец, не подозревавшей ее психического расстройства. Иногда враждебность переходила в буйные припадки гнева.

Гораздо ранее обострения отношений мы уже поняли все значение создавшихся в тюрьме условий и делали много раз попытки восстановить нормальную жизнь. Мы доводили до сведения Россиковой и Богомолец, что нами руководило желание видеть мир и спокойствие в тюрьме, а не намерение оскорбить или обидеть их. Мы говорили, что сознаем промах, сделанный нами, глубоко сожалеем о нем и предлагаем им вступить полноправными членами в артель. Ничего не помогало. Россикова и Богомолец не хотели слышать ни оправданий, ни извинений. Положение становилось безвыходным; не раз Софья Александровна, хватаясь за голову, говорила: «Какую ужасную глупость я сделала. Надо было выйти из артели, не говоря ни слова». С своей стороны я восклицала: «Надо было дать Соне уйти из артели, а потом искать способы улучшить и облегчить ее положение».

Несправедливость, о которой я упомянула раньше и которую мы совершили по отношению к Россиковой и Богомолец, состояла в том, что они оказались более одинокими, чем была бы Софья Александровна, если б вышла из артели. Это соображение мы упустили из виду при решении вопроса.

Среди постоянных страхов, в ожидании новых буйных припадков, в июле 1887 года мы видели приближение смерти Т. Ив. Лебедевой и боялись, что последние дни ее будут потревожены. Но все было тихо. Настроение у Россиковой было спокойное. Зато осень того же года была наиболее бурным периодом. Бывали часы и дни, когда тюрьма цепенела от ужаса, спрашивая себя, что же будет далее.

Финал нашей тогдашней тюремной драмы фактически состоял в следующем. По мере того, как надвигалась осень, Россикова становилась беспокойнее и, наконец, стала нам внушать сильнейшие опасения. Около 20 сентября она ходила по двору, ища что-то. К вечеру она, действительно, отыскала то, что ей было нужно, а именно — толстую палку, на которой уголовные арестанты ежедневно приносили нам ушат воды и которую они оставляли в углу между тюрьмой и палями[1]. Россикова схватила свою находку и с торжеством понесла ее в камеру. Это видели некоторые заключенные, и все согласились при нападении на кого-либо из нас крикнуть, чтобы все слышали и бежали на помощь. Действительно, около 12 часов ночи, когда мы обыкновенно ложились спать, в коридоре раздался крик С. А. Лешерн. Россикова, вооружившись палкой, поджидала ее за печкой и подняла свое орудие нападения над ее головой. Удар не пришелся

[1] Палями в Сибири назывались тюремные ограды, строившиеся из высоких, наверху заостренных бревен.

по темени, потому что С. А. защитилась рукою, подняв ее над головой, а тем временем все остальные женщины выбежали из своих камер (в то время всех нас находилось в тюрьме 10 человек: Россикова, Богомолец, Ковальская, Ковалевская, Смирницкая, Калюжная, Якимова, Лешерн, Ивановская и я), после чего Россикова бросила палку. Кто-то, кажется Калюжная, призывала к примирению. Все поддержали это предложение, но крики от этого не только не унимались, а, напротив, с каждым мгновением усиливались, и становилось ясно, что при таких условиях примирение не может состояться.

Так думала не только я одна, но также и те из нас, которые не потеряли присутствия духа. Теперь все сгрудились в пространстве между двумя печками в коридоре. Мне захотелось быть подальше от этого сумбура, и я встала на скамейку, помещавшуюся сбоку от той печки, которая была ближе к выходным дверям. Но это не помогло нисколько. Стали не только слышны шум и выкрики, но и видно было все, что происходило внизу. Внезапно Богомолец бросилась на пол и стала биться об него в истерике. Стало ясно до очевидности, что нормальная жизнь в тюрьме не может восстановиться. В ту же минуту я сошла со скамьи и направилась к выходным дверям тюрьмы с тем, чтобы более в нее не возвращаться. Когда я постучала в дверь, дежурный жандарм, перепуганный необычайным шумом в тюрьме, поторопился отпереть. Это был старший жандарм Кравченко. Когда я очутилась во дворе, куда он шел следом за мной, я сказала, что больше в тюрьму не вернусь. В это время послышался новый стук в дверь, и пришла С. А. Лешерн, а за ней П. С. Ивановская. Обе заявили то же самое, что и я. Жандарм, боясь ответственности, стал убеждать нас вернуться в тюрьму. Мы же повторяли, что в тюрьму не возвратимся, и предложили ему дать знать об этом коменданту. Вскоре мы услышали топот коня. Верховой казак поскакал на «Нижний» с докладом о случившемся. Наш выход из тюрьмы был неожиданностью для нас самих. Относительно себя скажу: я постучалась в выходную дверь тюрьмы в ту минуту, когда инстинктивно почувствовала, что мой рассудок в опасности.

Было очень холодно, но к счастью кто-то захватил с собой теплые платки, и мы надели их. Около часу ночи приехал комендант Яковлев. Это был лучший из перебывавших на Каре жандармских офицеров. На свое несчастье он пил запоем и по целым неделям не мог выйти из дома. К нам он приехал трезвый и тоже принялся нас убеждать вернуться в тюрьму. Видя, что слова его не действуют на нас, он отправился в жандармскую, посоветовался с подчиненными, куда нас поместить. На дворе стояли еще скамейки, не унесенные от летнего времени, и мы сидели на них в ожидании коменданта. Он вернулся и сказал, что единственное, что сейчас может сделать для нас, это посадить нас в жандармскую в ожидании, пока найдется другое помещение. Нас отвели в маленькую комнату жандармов, где их жило двое, а третий был старший жан-

дарм Кравченко, дежуривший в эту ночь. Они уступили нам две кровати, а сами легли на полу у печки и у дверей. Мы просидели остаток ночи на кроватях, изредка засыпая прислоняясь головой к спинке деревянных кроватей. В тюрьме после нашего ухода настала полная тишина, там ожидали с минуты на минуту нашего возвращения, но наше решение было бесповоротно. Следующий день мы собирались провести не евши, не пивши, но поутру дверь отворилась, пришла Анна Васильевна Якимова и принесла нам большой чайник с горячим чаем, стаканы, сахару и хлеба. Мы были очень тронуты и обрадованы ее заботливостью, а она обещала, что будет нас кормить все время, сколько бы нам ни пришлось сидеть в жандармской. К двум часам она, действительно, принесла обед, а вечером — чай и ужин и не утомлялась это делать в продолжение долгого времени. Против ожидания наш перевод в другое помещение значительно затянулся. Мы просидели в жандармской каморке 11 дней. За это время комендант являлся часто и говорил, что в его распоряжении нет зданий, кроме тюрьмы и жандармских казарм, и что нас перевести некуда. Мы настаивали, чтобы нас перевели в одиночные камеры, или куда-угодно. Он уезжал, обещая хлопотать о нашем перемещении. Анна Васильевна принесла нам книги и наши работы, и таким образом кое-как проходили дни, которые нам казались годами. Наконец, 1 октября нам об'явили, что переводят нас в больницу на Нижне-Карийский промысел.

У меня осталась в памяти нарядная, по-праздничному одетая толпа, которую мы встречали по дороге, когда нас везли в тележке на «Нижний» в праздник «покрова»; поэтому и число удержалось в памяти.

Оригинальную встречу в больнице устроил нам доктор-добряк по фамилии Рогалло. Он явился под вечер, когда мы успели уже немного осмотреться и устроиться, С. А. Лешерн в одной огромной палате, а я с П. С. Ивановской в другой, такой же большой. В обеих палатах, кроме нас, никого не было. Как все чиновники на Каре, где они пропадали от скуки, доктор Рогалло любил выпить. Он пришел к нам навеселе, заявил довольно громко, что он здесь хозяин и не позволит жандармам распоряжаться. Это говорилось в присутствии жандарма, который не выходил из палаты с момента появления в ней доктора. Уходя, последний вытащил из карманов своей шинели две бутылки какого-то вина и поставил их на стол. Эта сцена вызвала в нас большое отвращение. Когда доктор скрылся за дверью, мы позвали дежурного и попросили убрать оставленное доктором вино. Жандармы, как истые сибиряки, смотрели на вещи, прежде всего, с утилитарной точки зрения. Дежурному стало жаль, что мы не воспользуемся принесенным нам добром, и он сказал: «Если доктор разрешил, то вы можете пить это вино». Его слова окончательно вывели нас из терпения, и я попросила, чтоб сию минуту вино исчезло из нашей палаты, что и было поспешно исполнено.

Мы прожили в больнице более 4 месяцев. В это время произошла новая перемена: коменданта Яковлева сменил Масюков. Много мы вдвоем с Прасковьей Семеновной перечитали книг за это время, обо многом было переговорено и передумано. Особенно как-то грустно мы были настроены в первый день рождества. Утром мы пили чай у Софьи Александровны и, не зная хорошенько, что делать в этот всеобщий праздник, втроем стояли у окна, когда к крыльцу соседнего дома через дорогу под'ехали сани-розвальни, покрытые окровавленным холстом. Оказалось, что в больницу для вскрытия привезли трупы целой семьи, зарезанной в эту ночь под рождество с целью завладеть деньгами, накопленными для от'езда на родину. Зачинщицей этого убийства была женщина из уголовной вольной команды. Под следствием и потом после суда она содержалась в одиночной камере в ручных и ножных кандалах. У ней был сын двух лет, которого нянчили по очереди уголовные женщины. Для своего удовольствия они поили ребенка водкой из чашки, и он пил, сколько мог проглотить.

В феврале 1888 года нас перевезли на Усть-Кару, в домик, который стоял рядом с женской тюрьмой и который с того времени стал носить название «карцера государственных преступниц».

Местные, «забайкальские», казаки исполняли обязанности часовых при охране женской политической тюрьмы и нашего карцера, который одной своей стороной приходился очень близко к палям тюрьмы. При смене часовых на вопрос разводящего: «что ты стережешь?» казак, специально приставленный к фасаду нашего домишки, неизменно отвечал: «стерегу канцыр государственных преступен». Этот ответ, услышанный нами, заставлял нас смеяться или, по крайней мере, вызывал у нас улыбки. Карцер состоял из большой камеры, в которой одна из стен имела щель, через которую виднелся дневной свет. В этом домике ранее была арестантская пекарня или кузница. Стены были черные от дыма, пол изрублен топором. Чтобы не замерзнуть в феврале, когда морозы в Забайкалье еще очень сильны, приходилось днем и ночью поддерживать огонь в железной печке.

В июне к нам присоединилась здесь М. А. Ананьина, только-что перед тем прибывшая в Усть-Карийскую тюрьму. Вскоре после того в одно воскресное утро перешла к нам на жительство Анна Васильевна Якимова.

Теперь в карцере нас оказалось 5 человек. Вся камера была заставлена железными койками, на которых мы спали. При домике не было двора, и мы вовсе не пользовались прогулками; разрешалось только сидеть на крыльце на свежем воздухе. Приход М. А. Ананьиной, которую мы совсем не знали, и А. В. Якимовой доставил нам большую радость и оживил наше заключение. Вскоре нам пришлось утешать и по возможности развлекать М. А. Ананьину, которая совершенно не могла приспособиться к суровой жизни на Каре.

В тот день, когда А. В. Якимову перевели к нам, были увезены на Нижний промысел, в ту же больничную палату, где ранее жила С. А. Лешерн, Е. Ив. Россикова и Богомолец. Они оставались в заключении на Нижней Каре около $2\frac{1}{2}$ лет, пока в 1891 году не было окончательно обнаружено сумасшествие Россиковой. Она бросилась душить лежавшую на кровати С. Н. Богомолец, которая была спасена только случайно вошедшим на ее крик надзирателем.

С этого момента болезнь несчастной Россиковой получает официальное признание, становится предметом врачебного искусства усть-карийских больничных фельдшеров и усиливается с ужасающей быстротой. Люди, не видавшие Россикову месяц или два, не узнавали ее более. Ее увезли в иркутскую больницу для умалишенных, где она умерла очень скоро.

Что касается Софьи Николаевны Богомолец, она умерла на Каре еще молодой, лет 35, от скоротечной чахотки в январе 1892 года. Умерла на руках мужа и 12-летнего сына, приехавших из России навестить ее. Она была выпущена из тюрьмы за три или четыре дня до смерти на поруки мужу и скончалась на его квартире. Ее хоронила почти вся наша вольная команда, несмотря на сильнейший мороз, бывший в этот день.

II. Новые тревоги.

В женской тюрьме оставались четверо заключенных: Ковальская, Ковалевская, Смирницкая и Калюжная. Мрачные драмы исчезли с их горизонта, и наступил спокойный период, когда ничего чрезвычайного нельзя было ожидать. Никто не предполагал, что близятся события, из которых обе тюрьмы—и мужская и женская—выйдут потрясенными и окровавленными.

Однажды, в августе 1888 г. Анна Вас. Якимова, которая обладала большой наблюдательностью, заметила, что второй день в женскую тюрьму не доставляется провизия, т.-е. мясо, хлеб и молоко.

Наш карцер находился сбоку от палей женской тюрьмы, несколько отступя от проезжей дороги. Ворот тюрьмы от нас не было видно, но Анна Вас. ухитрилась заметить, что женщины не получают провизии,—иначе говоря, в тюрьме началась голодовка.

Сейчас же нами была вызвана надзирательница, которая лишь изредка приходила к нам. Это была очень добрая молодая женщина, жена старшего жандарма. Она сообщила, что во время приезда генерал-губернатора барона Корфа Ковальская, которая сидела во дворе и читала книгу, отказалась встать при его приближении. Генерал-губернатор рассвирепел, но никто не знал, в чем выразится наложенное на Ковальскую наказание. Два дня тому назад, в 4 часа ночи, в женскую тюрьму явился смотритель уголовных тюрем Бобровский в сопровождении конвойных и уголовных арестантов, которым велено было схватить Ковальскую. Последняя спала раз-

детая на своей кровати в той самой камере, в которой умерла Т. И. Лебедева. Уголовные исполнили данное им приказание. Ковальскую кое-как завернули в одеяло и потащили за ворота, положили в телегу и отвезли к дому смотрителя. Уже отсюда послали за надзирательницей и ей поручили принести из тюрьмы одежду Ковальской. Это было ею исполнено, после чего она помогла Ковальской одеться. Во время расправы с Ковальской остальные трое заключенных—Ковалевская, Смирницкая и Калюжная—находились запертыми на замки в своих камерах. Они были так возмущены происшедшим, что на другой день начали голодовку и теперь отказываются принимать пищу.

Рассказ надзирательницы не отличался большой связностью, и потому Анна Васильевна попросила оставшихся в тюрьме товарищей описать все случившееся; они ответили подробным письмом. В общем рассказ надзирательницы был верен, она только упустила передать, что у ворот тюрьмы Ковальская громко крикнула: «За насилие надо мной отомстят мои товарищи». Эти слова, как мы узнали впоследствии, произвели большую сенсацию среди местных обывателей. Им казалось, что они присутствуют при постановке на сцене интересной пьесы и с любопытством ждали, что будет дальше.

Как только А. В. Якимова узнала о том, что в женской тюрьме началась голодовка, как выражение протеста против насилия над Ковальской, она решила принять в ней участие. Но в этот первый раз волнение в женской тюрьме благополучно окончилось благодаря вмешательству товарищей из мужской тюрьмы. И. В. Калюжный получил свидание с сестрой и предложил от имени мужской тюрьмы прекратить голодовку на основании того, что Масюков дает возможность нашим товарищам произвести следствие о всех обстоятельствах, сопровождавших увоз Ковальской, и, между прочим, и над ним самим. Он был уверен, что ценой этой уступки ему удастся установить полное спокойствие в обеих тюрьмах, нарушенное делом Ковальской. Но ошибся. Трое товарищей, оставшиеся в женской тюрьме, прекратили голодовку в ожидании окончания следствия, производившегося мужской тюрьмой, но заявили, что, каково бы то ни было заключение следствия, они не будут считать дело Ковальской оконченным, пока комендантом останется Масюков, и что они прекращают с ним все сношения и никогда не допустят его появления в женской тюрьме.

В таком положении дела оставались до октября 1888 года. Еще во время пребывания коменданта Яковлева на Каре он осведомился, согласны ли мы жить в одной тюрьме с остальными заключенными в здании, которое для нас приспособляется на так-наз. «Отряде», в 11 верстах от Усть-Кары. Мы, разумеется, ответили утвердительно, и в середине октября состоялся перевод. Дня за два до того в Усть-Карийскую женскую тюрьму привезли Н. М. Салову и Г. Н. Добрускину. Мы познакомились с ними в день переезда. Погода

была великолепная, и 11 верст мы прошли пешком, обрадовавшись, что можно поразмяться ходьбой. Тюрьма, в которой нас поместили, была ветхая до того, что одну из стен при ремонте пришлось подпереть огромными бревнами. Называлась она на «Отряде» потому, что когда-то служила помещением для отряда казаков. Стояла она среди сопок и леса. Внутри были две большие светлые камеры, и при каждой по маленькой кухне с плитой. В одной камере помещались: Салова, Добрускина, Смирницкая, Калюжная, Ковалевская и позднее Тринитатская. В другой: Лешерн, Якимова, Ивановская, Корба, Ананьина и позднее Сигида.

Следствие мужской тюрьмы над комендантом длилось довольно долго. Оно закончилюсь резолюцией, которая в главной своей части гласила приблизительно следующее: Допущение Масюковым смотрителя уголовных тюрем в женскую политическую тюрьму для распоряжения при увозе Ковальской не может ничем быть оправдано, потому что не вызывалось никакими предшествовавшими обстоятельствами. Тем не менее, производившие следствие не видят в поступках Масюкова ни умышленной жестокости, ни злобы.

Резолюция не изменила отношений женской тюрьмы к Масюкову. Женщины ответили, что они дальнейшие действия откладывают до мая,—срок, который Масюков сам назначил для своего от'езда с Кары. В ожидании этого времени жизнь в новой тюрьме на «Отряде» протекала спокойно и никакими особыми событиями не нарушалась. В январе 1889 года приехали Сигида и Тринитатская. В мае вся женская тюрьма без исключения принялась голодать. Остатки воды употребляли для умывания, а свежей воды, равно как провизии, тюрьма не принимала. Этой голодовкой надеялись ускорить от'езд Масюкова. Но вместо того, чтобы уехать, Масюков обманул голодавших самым бесцеремонным образом. На 8 день он прислал смотрителя политических тюрем на Нижн. Каре, который пред'явил частную телеграмму, якобы полученную Масюковым от его приятеля, жандармского офицера в Иркутске, который поздравлял Масюкова с переводом на службу в Тифлис. У нас ослабевшие от голода заключенные поддались обману, и в тот же день голодовка прекратилась.

Между тем, Масюков не уезжал, и положение женской тюрьмы становилось все более и более тягостным. Бойкот, об'явленный Масюкову, был полный; уже около года тюрьма не принимала ни писем, ни денег от родных.

Это-то обстоятельство и вызвало покушение Сигиды. Накануне его она долго разговаривала с нами, жившими с нею в одной камере. При этом присутствовали С. А. Лешерн, П. С. Ивановская и я. Она сообщила нам, что на следующий день она попросит, чтобы ее вызвал комендант, и в разговоре с ним даст ему пощечину. Мы принялись убеждать ее не делать безумного шага, поберечь свою молодую жизнь, так как, несомненно, она ею рисковала, идя на

такое, в сущности, непривлекательное дело. «Не убеждайте меня»,—говорила она нам в ответ,—я твердо решила исполнить задуманное. Не потому, что я нахожу, что Масюков заслужил пощечину. Я его совсем не знаю и никогда не видала, но жить при создавшихся условиях я не могу. Тянуть так месяцы, может быть, годы, мне не по силам, и я ищу выхода из теперешнего положения тюрьмы».

У Н. К. Сигида были малолетние брат и сестра, которых она вырастила. Она любила их безгранично, и ее мучила мысль, что дети погибнут без ее влияния. Не физически погибнут, а попадут в негодную среду и нравственно испортятся. Эта забота стала ее преследовать, в особенности с тех пор, как на этапе однажды она увидала среди уголовных преступников своего двоюродного брата. Он предстал перед ней, как призрак, показавший ей судьбу, которая, может быть, ожидает любимых ею детей. Она утешала себя тем, что издали будет следить за их развитием и будет наставлять их в своих письмах. Неожиданно она застала на Каре условия, когда переписка с родными была невозможна вследствие бойкота коменданта. «Сама я не затянула бы недоразумения с комендантом на такое продолжительное время,—продолжала она свой разговор с нами,—но, раз это случилось, надо положить конец невыносимому положению. Поэтому не разубеждайте меня. Единственно, что могло бы меня удержать, это соображение, что меня могут подвергнуть телесному наказанию». Но как могли мы ее запугать, когда нам самим казалось такое надругательство над молодым созданием несбыточным. И только Софья Ал. Лешерн, которая обладала большим знанием жизни и людей, сказала Сигиде: «Вы имеете дело с лицами, от которых можно всего ожидать. До сих пор не было случая, чтоб политических заключенных наказывали розгами, но ручаться за то, что этого не будет, невозможно. А потому вы должны отказаться от своего намерения».—«Но вы также не можете с уверенностью сказать, что это будет»,—возразила на это Сигида. Мы пробовали убедить ее еще тем, что доказывали ей нелогичность ее решения. Она хотела положить конец создавшемуся положению, но шла навстречу неизвестному будущему, которое создаст для нас администрация и которое, может быть, точно так же не даст ей возможности переписываться с родными. Отсюда вытекал вывод, что следует ждать, пока обстоятельства примут благоприятный исход. На это Сигида отвечала, что именно это для нее невозможно. «Никто из вас не испытывает того, что я испытываю,—говорила опять Сигида.—Может быть, вы ясно не представляете себе чувство, которое не покидает меня. С одной стороны, ответственность за детей, с другой, невозможность сноситься с ними». Разговор кончился тем, что она просила не разубеждать ее более, чтобы ей не пришлось сожалеть о том, что она доверилась нам.

Она уехала на «Нижний» на другой день. Через несколько часов мы узнали, что пощечина, как говорили, не была дана, но что Ма-

сюков испугался и выскочил в окно; свидетелями были двое жандармов, которые бросились остановить руку Сигиды в момент, когда она хотела ударить коменданта. Как нам передавали, она успела нанести удар Масюкову. Ее тотчас заперли в какое-то небольшое помещение около канцелярии коменданта, а через некоторое время перевезли на Усть-Кару, в нашу бывшую тюрьму.

С того времени, как политических заключенных перевели на «Отряд», тюрьма на Усть-Каре была преобразована. Внутри ее были уничтожены одиночные камеры, а вместо них вдоль наружных стен получившегося общего обширного помещения построили нары. В преобразованной тюрьме помещались уголовные женщины. То маленькое помещение, которое служило в прежнее время жандармской и где мы провели томительные 11 дней, было обращено в одиночную камеру. В нее заключили Сигиду, и здесь в первых числах ноября 1889 году кончилась ее молодая, но горестная жизнь.

В день покушения Сигиды, немедленно после ее от'езда на «Нижний», женская тюрьма стала волноваться. Раздавались голоса, что ее действия следует поддержать, что нельзя допустить, чтобы ее поступок всей тяжестью оставался лежать на ней одной. На другой день с утра это мнение начало принимать определенные формы. Но и на этот раз, как почти всегда бывает, в распоряжении тюрьмы было только одно средство проявить активность, это—голодовка. Она началась в этот же день. К ней приступили Ковалевская, Калюжная, Смирницкая, Салова, Добрускина и с ними голодала жившая в одной с ними камере Тринитатская.

В нашей камере примкнули к голодающим А. В. Якимова и П. С. Ивановская. Что касается С. А. Лешерн и меня, мы стояли на точке зрения, что дело Ковальской потребовало уже и без того тяжелых и многих жертв, и пора ему положить конец. На этом основании мы отказались присоединиться к голодающим, и наше мнение разделяла М. А. Ананьина. Из того, что мы отказались голодать, не следует, однако, что мы много ели в это страшное время. Пробовали варить что-то, но, не дотронувшись до пищи, просили надзирательницу унести ее. Пили по стакану или по два чаю в день и с'едали кусочек хлеба.

На этот раз голодовка протекала как-то особенно тяжело. В майскую голодовку мы чувствовали себя довольно бодро и не испытывали больших страданий. Мы лежали на кроватях, читали, изредка перекидывались словами и подолгу играли в дурачки. Ночи проходили спокойно, и сон был крепкий. Теперь было совсем не то. С первых дней наши товарищи ослабели и двигались с трудом. Был сентябрь в начале, стояла ясная и прохладная погода. Целые дни голодающие проводили во дворе, и как-то случилось, что тюрьму перестали запирать на ночь. Было ясно, что Масюков и жандармы смотрят на заключенных, как на полумертвых. Только ворота были на замке, а входная дверь в тюрьму даже ночью стояла открытой.

Воздух освежал наших страдалиц. Уже начались заморозки, а некоторые из голодающих ночевали на дворе. Лица становились синевато-темными, глаза стеклянными.

Где взять силы смотреть, как здоровые и любимые люди умирают? Все же наши товарищи не поддавались страданиям; и трудно поверить, они рукодельничали до последнего дня голодовки, прекратившейся только на 13-й день. Некоторые из голодающих шили или вышивали, другие вязали или даже читали вслух. Именно в эту голодовку М. П. Ковалевская вышивала полотенце для П. Л. Лаврова, которое позднее было докончено в нашей камере и переслано ему в Париж.

Надо было спасать наших друзей. На 4 день голодовки я спросила: определены ли условия, при которых голодовка могла бы прекратиться и услышала в ответ, что требования не выработаны и условия не поставлены. «Вы решились на самоубийство?»—спросила я в отчаянии.—«Нет,—ответила А. В. Якимова, с которой я вела этот разговор,—мы вовсе не стремимся к самоубийству». Я просила ее в таком случае поскорее сговориться относительно требований. А. В. ушла и через несколько минут вернулась ко мне и сказала, что все согласились на том, чтобы трех лиц, бывших свидетельницами увоза Ковальской, а именно Ковалевскую, Смирницкую и Калюжную, перевели в такую тюрьму, хотя бы уголовную, которая не подчинена Масюкову и не находится в зависимости от него.

Я решила немедленно переслать условия голодающих коменданту, о чем предупредила товарищей. Это не было по форме, так как бойкот коменданта со стороны всей тюрьмы продолжался. Но требования надо было довести до сведения Масюкова во что бы то ни стало, так как другого способа прекратить голодовку не было. Пришлось решиться на компромисс. Я написала Масюкову письмо, в котором изложила условия и просила торопиться с ответом, так как замедление могло повести к смерти голодающих, истощенных предыдущей майской голодовкой и продолжительным тюремным заключением вообще. Часовой дал свисток и вызвал дежурного жандарма, которому я вручила письмо с просьбой немедленно послать его коменданту.

Во время голодовки дежурные жандармы избегали находиться во дворе или в стенах тюрьмы, а сидели в кордегардии, которая находилась за оградой.

В нашей кухне было окно, выходившее во двор, где помещался дом для жандармов, сарай и конюшня. Из окна видно было, когда жандарм запрягал лошадь в таратайку, чтобы ехать на «Нижний». Теперь Ананьина и я, мы подходили к этому окну, чтобы убедиться, уехал ли посланный, вернулся ли он, привез ли ответ и идет ли в тюрьму. Говорить ли о том, что нам казалось, что жандарм свою лошадь запрягает бесконечно долго, что он еле-еле поворачивается,

чтобы сесть в таратайку и взять вожжи, или что мы много раз в отчаянии отходили от окна, не дождавшись приезда посланного?

И было от чего приходить в отчаяние. Дни шли за днями, и каждый из них приближал товарищей к смерти.

На первое мое письмо Масюков ответил, что лично ничего не имеет против перевода Ковалевской, Смирницкой и Калюжной в другую тюрьму, но что своей властью он этого сделать не может, так как перевод заключенных зависит от губернатора. После этого наступило молчание, долгое, бесконечно долгое. Не видно было конца страданиям,—ни для товарищей, которые умирали голодною смертью, ни для нас, близких к смерти от зрелища, разыгрывавшегося перед нашими глазами все в более и более ужасающих чертах.

Я еще два раза посылала коменданту письма. В первом я просила переговоры с губернатором относительно перевода троих моих товарищей вести по телеграфу и расходы покрыть из имевшихся в его распоряжении наших сумм. Во втором письме я торопила его, говоря о неизбежной смерти 8 человек в виду затянувшейся голодовки. Слова моих писем к Масюкову были ударами набата среди могильной тишины, водворившейся в нашей тюрьме. Однажды, не будучи более в состоянии переносить душевную пытку, я решилась покончить с собой. Я собрала свои тетради, письма и заметки и наскоро стала жечь их в печке, которая была в нашей камере. С. А. Лешерн, которая, вероятно, читала в моих мыслях—что было, впрочем, нетрудно,—подошла ко мне и спросила, не думаю ли я прибегнуть к самоубийству, и так как я молчала, она положила руку на мое плечо и сказала: «Поживи еще немного, прошу тебя, а умереть успеешь». Эти простые слова сильно подействовали на меня, и я перестала искать смерти.

Во все эти черные дни меня особенно тянуло к земле. Хотелось броситься на пол и не вставать более. Но так как я была не одна и этого нельзя было сделать, то я садилась очень низко, поближе к полу. Нашу маленькую кухню от камеры отделял порог вышиною вершка в три; здесь я сидела большую часть времени и в близости к земле чувствовала некоторое облегчение сердечным мукам. Я также вышивала по сложному узору, который требовал изменений и приспособлений к работе. Надо было напрягать внимание, чтобы не делать ошибок; было чрезвычайно трудно отрывать мысль от действительности и принуждать ее сосредоточиться на работе, но, когда это удавалось, то получалось некоторое облегчение в страданиях.

Утром на тринадцатый день голодовки дежурный жандарм Попов отпер снаружи калитку в воротах тюрьмы и впустил смотрителя Пахорукова. Пахоруков шел быстро и, не дойдя до крыльца, громко сказал: «Собирайтесь, я приехал увезти троих на Усть-Кару».

Это означало конец драмы, конец голодовки. В несколько минут бедные наши товарки были готовы. Они накинули на плечи арестант-

ские халаты, а на головы надели платки. Дождаться чаю они наотрез отказались. Мы все вышли на крыльцо провожать их. И когда они шли по двору колеблющейся походкой, я подумала: увидимся ли мы еще когда-нибудь, и смутно чувствовалась невозможность встретиться вновь.

Надо было накормить оставшихся. Кто-то успел поставить самовар, и он уже кипел. Прежде всего голодавшие выпили чаю с молоком, а потом начали есть понемногу, пока не перешли на нормальное питание. Они вымылись в бане, после чего стали чувствовать себя лучше. Выздоравливание шло медленно, но правильно.

Недели через две или три после окончания голодовки, т.-е. уже в октябре, у нас стало известно, что в мужской тюрьме огласили бумагу главного тюремного управления в Петербурге. В ней говорилось, что государственные преступники отныне во всем уравниваются с уголовными арестантами, не исключая и телесных наказаний, которые будут применяться в случае особых провинностей или нарушений тюремных правил.

После этого об'явления в мужской тюрьме по камерам начались обсуждения, каким образом реагировать на угрозу телесных наказаний. Я знаю об этих дебатах по письму Ин. Фед. Волошенко, которое читала мне П. С. Ивановская. В мужской тюрьме была группа, к которой принадлежал также Волошенко. В ней резко ставился вопрос о том, что делать в виду создавшегося положения, и обсуждение велось с поразительной логикой и бесстрашием.

Лица, составлявшие помянутую группу, исходили из той точки зрения, что каково бы ни было начало волнений в женской тюрьме, повидимому, вызвавших распоряжение о телесных наказаниях, и как бы ни смотреть на повод, приведший к ним,—с момента об'явления циркуляра дело вступило в новую фазу и таким должно быть рассмотрено. Теперь речь шла о защите чести заключенных обеих тюрем, и здесь никакие полумеры не могли помочь. Затем были подвергнуты критике все способы действия, какие возможны и доступны в тюрьме, и все они были отвергнуты по тем или иным причинам. Остался один наиболее тяжкий для заключенных, но непреодолимый для администрации и потому победоносный, это—массовые самоубийства. Возникал вопрос, кто примет в них участие. Нельзя было рассчитывать на то, что все заключенные поголовно согласятся умереть. Жеребьевка была отвергнута, и остановились на том, что каждому по собственной воле предоставляется примкнуть или нет к самоубийствам.

Оставалось определить время действия. «В сущности, — писал И. Ф. Волошенко,—следовало бы тотчас после об'явления циркуляра начать самоубийства, но, так как мы люди и всем жить хочется, а надежда не совсем потеряна, что угроза не будет выполнена и циркуляр останется мертвой буквой, то решили прибегнуть к массовым самоубийствам только в том случае, если телесное наказание

будет все-таки применено, и продолжать их, пока наказание, позорящее личность заключенных, не будет отменено».

Несколько дней спустя после об'явления нового циркуляра в мужской тюрьме, он был прочитан у нас при довольно торжественной обстановке. Нас вызвали на крыльцо в то время, как двор стал наполняться жандармами и казаками, вооруженными ружьями с примкнутыми штыками. Немного погодя во двор вошел присланный заведующим каторгой чиновник, который стал читать бумагу, стоя на порядочном расстоянии от крыльца, окруженный вооруженными людьми. Все пережитое впоследствии уже тогда смутно вставало перед умственным взором каждой из нас. И больше всего тревожила мысль о Над. Конст. Сигиде. Страшила возможность применения к ней петербургского циркуляра при всей чудовищности этой меры; и это теперь казалось возможным, хотя покушение Сигиды было совершено ранее, чем даже появилась мысль у администрации ввести на Каре телесное наказание.

Прочтение бумаги у нас не вызвало прений, потому что решение мужской тюрьмы уже было известно, и некоторые из женщин тотчас примкнули к нему, т.-е. решили принять участие в массовом самоубийстве, как только оно произойдет.

Некоторое время спустя было получено первое письмо от Марии Васильевны Калюжной. В нем она говорила, что в начале их пребывания на Усть-Каре Мария Павловна Ковалевская была психически расстроена и заговаривалась. Ее товарищи по заключению приписывали это заболевание малокровию и слабости, наступившим после последней голодовки. Они очень боялись за ее рассудок, но постепенно здоровье Мар. Пав. Ковалевской стало поправляться, и ко времени, когда писалось письмо, она была совсем нормальна. О Н. К. Сигиде Мария Васильевна говорила, что она редко ее видит, хотя она содержится в одном с ними здании; что ее дело еще не решено, что есть надежда на благополучное окончание его, но полной уверенности нет. Калюжная описывала условия, в которых им приходилось жить среди уголовных женщин в прежней политической женской тюрьме. Они занимали один из углов большого помещения, где им было отведено место на нарах. В конце письма Калюжная бодро прибавляла, что им обещались доставлять книги из мужской тюрьмы, что один из помощников заведующего каторгой относится к ним гуманно и старается по возможности облегчить их тяжелое положение. Она писала еще, что они не ожидали встретить такие благоприятные, сравнительно, условия, какие нашли, и надеются кончить благополучно свои сроки заключения.

Замечательно, что сроки всех троих истекали в ближайшем будущем; каждой из них, может быть, оставалось досиживать не более нескольких месяцев. Но горизонт тюрьмы был заволочен черными тучами, и вскоре раздался громовой удар, который унес жизнь всех четырех политических заключенных, очутившихся в одной тюрьме.

III. Трагические события.

6 ноября (1889 г.) Н. К. Сигида была подвергнута телесному наказанию. Произошло неслыханное злодеяние; совершился факт, в возможность которого воображение отказывалось верить. И в тот же день бедной юной Нади не стало: она отравилась припасенным заранее ядом. Поздно вечером того же дня отравились в общей тюрьме Калюжная, Смирницкая и Ковалевская. Они завесили свой угол простыней, и под ее покровом разыгралась одна из самых мрачных драм, какие только знает история русских тюрем.

Утром следующего дня умерла Калюжная, за нею Ковалевская и позднее других Смирницкая. Она еще дышала, когда отравившихся на телеге, запряженной волами, увезли на Нижний промысел.

Известие о событиях на Усть-Каре через несколько дней достигло до мужской тюрьмы, и не могло быть иначе. Наши товарищи в вольной команде не считали себя в праве скрывать истину от заключенных.

В это именно время прервалось всякое сообщение, т.-е. так-называемая почта, между нашей тюрьмой и мужской, а также между нами и вольной командой, вследствие доноса, сделанного каким-то уголовным арестантом. Мы оказались отрезанными от всего мира. Полная неизвестность окружала нас,—но в ее мгле нам чудились тяжкие несчастия.

Так прошел октябрь и большая часть ноября. Около 20 числа мы увидали из окна нашей камеры стоящего на часах казака, который был нам рекомендован еще в то время, когда существовала почта. Его пост был в узком и пустынном проулке, отделявшем тюрьму от ряда сопок. В камере находились Ивановская, Лешерн и я. Прасковья Семеновна быстро вскочила на окно, открыла форточку и спросила: «Что нового?»—«Много нового, но все очень печальное»,—ответил часовой и кратко и быстро перечислил все события последнего времени, начиная с истязания Сигиды. От него мы также впервые узнали, что вслед за смертью четырех женщин в мужской тюрьме целой камерой была сделана попытка самоотравления, причем умерли Калюжный и Бобохов; остальные хворали, но остались живы. Произошло это в ночь с 13 на 14 ноября.

Прасковья Семеновна соскочила с окна и торопливо передала нам двоим слова часового. Надо было немедленно решить, что предпринять и, прежде всего, сказать ли остальным заключенным то, что мы слышали, или нет. Каждую минуту кто-нибудь из товарищей мог войти и по нашим расстроенным лицам угадать, что случилось нечто ужасное. Но если б товарищи узнали хоть часть правды, немедленно начались бы отравления, так как все имели при себе яд. Наше совещание продолжалось не более нескольких минут, и мы решили скрыть от всех роковые извещения. Приходилось делать вид, что

ничего не произошло. Это казалось едва ли исполнимым, но опасность положения помогла нам преодолеть все трудности.

Еще более усложнил дело приезд забайкальского губернатора Хорошхина на Кару, вызванный ноябрьскими событиями. Одного неосторожного слова губернатора было бы достаточно, чтобы вскрыть тайну, которую мы так тщательно скрывали; но он ограничился тем, что спросил, не имеем ли сделать заявления, и, получив отрицательный ответ, стал уверять, что администрация миролюбиво к нам настроена. Так как мы хранили гробовое молчание, то Хорошхин повернулся и вышел, а за ним потянулись его многочисленная свита и еще более многочисленные телохранители, состоявшие из жандармов в полном вооружении и казаков с ружьями и штыками.

Вскоре после от'езда губернатора с Кары представился случай отправить почту в мужскую тюрьму. В письмах к своим корреспондентам мы изложили положение дел в женской тюрьме и просили группу, принимавшую участие в отравлениях, известить обо всем происшедшем наших товарок и убеждать их, по крайней мере временно, не совершать самоубийств, так как тюрьма не в состоянии будет перенести новые потрясения и вся целиком вымрет.

Наше желание было в точности исполнено. Сергей Диковский и некоторые другие лица прислали нашим товаркам письма, в которых подробно описывали все случившееся и пережитое и просили быть спокойными, а также ничего не предпринимать в виду того, что Масюков ходатайствует перед губернатором об отмене циркуляра тюремного управления—о применении телесных наказаний к политическим каторжанам. Переписка по этому поводу должна была занять несколько месяцев, и в ожидании ответа мужская тюрьма решилась выжидать. Если же циркуляр останется в силе, то 5 человек постановили умереть по-очереди с промежутком в две недели в уверенности, что такой образ действия повлияет неотразимо на администрацию. Товарищи приглашали наших женщин присоединиться к этому решению и ждать до мая месяца—срок, который был определен ими.

Наши товарки согласились с этими доводами, и на полгода (с декабря 1889 года) спокойствие водворилось в обеих тюрьмах. Но настал май и ребром стал вопрос, отменен ли циркуляр тюремного управления, или нет. В мужской тюрьме снова поднялись по этому поводу волнения, о которых напуганные предыдущими событиями жандармы тотчас донесли коменданту. В ответ на их сообщение Масюков поторопился вызвать к себе тюремного старосту и показал ему ответ губернатора на его, Масюкова, ходатайство об отмене циркуляра петербургского главного тюремного управления. Из чтения бумаги стало ясно, что администрация, не желая капитулировать перед политическими заключенными, все же сообщала Масюкову через губернатора, что телесное наказание к женщинам

впредь применяться не будет, а относительно мужчин сохраняется только в случаях открытого нападения на должностных лиц.

Мужская тюрьма сочла себя удовлетворенной, так как никто из наших товарищей не собирался делать нападений на администрацию. Политические заключенные выходили победителями из неравной борьбы, и честь карийцев была восстановлена.

Наступил конец трагических переживаний на Каре.

IV. Заключение.

Почти одновременно распространился слух, шедший из канцелярии коменданта, что обе политические тюрьмы будут расформированы. Все мужчины-каторжане, которым кончался срок заключения, будут выпущены в вольную команду; что же касается остальных, они будут переведены в Акатуй, где вновь отремонтирована тюрьма, в которой содержались декабристы. Женщины, не окончившие срока заключения, будут помещены в Усть-Карийскую уголовную тюрьму; остальные же будут выпущены в вольную команду.

Осуществление этого проекта много раз откладывалось, но в конце-концов состоялось в последних числах сентября 1890 года.

В этот день из нашей тюрьмы в вольную команду, которая находилась на Нижней Каре, вышли: Добрускина, Ивановская, Лешерн, Тринитатская и я. Покидали мы тюрьму без малейшего радостного чувства. Расставаться с товарищами, которым предстояло дальнейшее заключение, да еще в уголовной тюрьме, это было тяжело и грустно до последней степени. А мысль, что товарищам мужчинам в числе 13 человек предстоит страшившее всех заключение в Акатуе, отравляла жизнь всем остававшимся на Каре.

Трех наших товарок, а именно—А. В. Якимову, Салову и Ананьину—перевели в Усть-Карийскую тюрьму, которой еще раз было суждено принять в свои стены политических женщин. Они помещались на нарах среди уголовных женщин, с которыми жили в ладу и которым часто помогали в их обязательных работах.

В один день с нами вышли в вольную команду 21 человек мужчин. На следующее утро мы все отправились на свидание к от'езжающим, чтобы проститься с ними. Печальное событие это происходило в мужской тюрьме, теперь опустевшей. Между от'езжающими были: А. М. Зунделевич, П. Ф. Якубович, Павло Иванов, Санковский, кончивший самоубийством через несколько месяцев по прибытии в Акатуй вследствие столкновения с начальником тюрьмы, Дулемба, Левченко, Чуйко, Спандони, Маньковский, Нагорный, Дзвонкевич, Березнюк и Фомичев.

Лично я пробыла в вольной команде два года, до сентября 1892 г. В день моего от'езда в Читу на поселение трех наших товарищей

выпустили из женской тюрьмы в вольную команду. Это были: А. В. Якимова, Салова и Ананьина. Я успела повидать их мельком.

Несколько позднее тюремное ведомство закрыло уголовные тюрьмы на Каре; других тогда уже не было, так как политические тюрьмы были упразднены в 1890 году.

Во время окончательной ликвидации тюрем старостой в вольной команде политических был А. М. Зунделевич, вернувшийся из Акатуя в начале 1892 года. Тюремные строения стали продаваться на своз. Зунделевич от имени артели отправился на торги и купил здания бывших трех политических тюрем—мужской и двух женских. Рабочие разобрали тюрьмы, возчики свезли бревна на артельный двор, пильщики распилили их на дрова.

Причиной покупки тюрем служило то обстоятельство, что ни Зунделевич, ни артель не хотели, чтобы стены, слышавшие стоны больных, страдающих и умиравших, бывшие свидетелями стольких несчастий и мук, послужили для постройки обывательских домов, Они сгорели в печах, и прах их рассеялся по свету.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О П. Ф. ЯКУБОВИЧЕ [1].

Одним из признаков оживания заключенных после трагических событий зимы 1889 года в карийских политических тюрьмах явилось возобновление нелегальной почты между мужской тюрьмой на Нижне-Карийском промысле и нашей, находившейся от нее в 4 верстах, на краю почтовой дороги. По смешному противоречию наша тюрьма называлась «новой», хотя часть одной ее стены подпиралась большой слегой, а потолок грозил свалиться на наши головы.

С одной из первых же почт мы получили письмо от Петра Филипповича Якубовича. Он просил прислать материалы, какие мы можем собрать, для составления биографий Сигиды, Калюжного и Бобохова. Мужская тюрьма поручила Петру Филипповичу написать эти биографии, и он просил сообщить ему все, что нам известно о прошлом и о жизни в тюрьме наших погибших товарищей.

Предложение П. Ф. послужило началом моей переписки с ним, которая длилась потом в течение нескольких лет его заключения и гораздо позднее, когда мы оба были в России, изредка возобновлялась после 1906 года.

П. С. Ивановская записала для Петра Филипповича все, что мы знали из рассказов Нади Сигиды: о ее детстве, о первых годах юности, о том, как она вступила в партию «Народная Воля», как стала хозяйкой типографии в Таганроге; о ее путешествии по этапам, где она свела знакомство с выдающимися людьми тогдашней административной ссылки. Ей еще не исполнилось 20 лет, но она была уже вдовой. Муж ее, немногими годами старше, умер в Харьковской центральной тюрьме по дороге на Сахалин. Известие об этом дошло до Нади в тот самый момент, когда ей предстояло перешагнуть через порог нашей тюрьмы. Старший жандарм, исполнявший обязанности смотрителя, передал ей в канцелярии официальное извещение о смерти мужа, и через несколько минут ее ввели в нашу камеру вместе с Е. М. Тринитатской. Она была точно окаменелая. Глаза ее, казалось, ничего не видели, лицо застыло в выражении, которое мы сначала не могли разгадать, ничего не зная об известии, только-что ее сразившем. Напрасно мы старались развлечь ее расспросами. Она оставалась безучастной. Наконец, Тринитатская отвела кого-то из нас в сторону и сказала о том, что пришлось только-что пережить нашей новой товарке.

Вот что пришлось П. С. Ивановской сообщить на вопросы Якубовича об этой короткой и трагической жизни. Я прибавила небольшую характеристику Сигиды и воспользовалась случаем, чтобы приветствовать Якубовича, как поэта, стихи которого уже тогда

---

[1] «Русское Богатство», 1912 г., № 10.

производили на меня глубокое впечатление. Я знала, что в мужской тюрьме муза П. Ф. встречала мало откликов. Его любили и уважали, как прекрасного человека и товарища; многие ценили в нем поэтическое дарование и огромные знания в области русской поэзии и литературы вообще. Но большинство было равнодушно к поэзии и к стихам Якубовича в частности. Тогда звучали еще отголоски писаревских настроений, а в нашем положении черты «борца за свободу» и «общественного деятеля» покрывали другие проявления духовной жизни. Все это было понятно и естественно, но мне захотелось порадовать Петра Филипповича откликом, который показал бы ему, что здесь, на Каре, у него есть еще товарищи, ему неизвестные, которые чтут его музу и любят поэзию, которая ему так бесконечно дорога.

С тех пор между нами установилась дружеская переписка, доставлявшая мне много радости с примесью естественной грусти за судьбу поэта.

Биографии погибших товарищей были закончены, и Якубович прислал их в женскую тюрьму. Они были написаны очень красиво и очень трогательно. К сожалению, их постигла судьба довольно обычная в тогдашних наших условиях: их попытались переслать в Россию через вольную команду, и они пропали бесследно [1].

Иногда П. Ф. присылал мне свои стихотворения, которые он писал в то время на Каре, т.-е. в первой половине 1890 года.

Его небольшие письма ко мне, в которых он говорил о том, что занимает его мысли, над чем он работает, что тревожит или радует его (случались и минуты радости!), поражали своим изящным простым слогом. Это были маленькие перлы красивой прозы, и я не удержалась от совета П. Ф. испробовать свои силы в повести. Между прочим, в одном письме он говорил о Розе Федоровне Франк, его невесте. Мысль, что ему не суждено уже увидеться с нею, была ему очень тяжела. Я напоминала ему, что для него скоро настанет срок вольной команды, и Роза Федоровна тогда получит возможность приехать к нему. Я не предвидела, что до этого желанного свидания ему предстоит еще тяжелое испытание—жизнь в Акатуйской тюрьме, и что эта страшная своим бесчеловечным режимом тюрьма и ее рудники, в которых пришлось работать Петру Филипповичу, подточат тонкую организацию и надорвут его чуткое сердце.

Но Якубович родился русским поэтом...

В мае 1890 года снова разгорелась тревога в обеих тюрьмах. Ответа о телесных наказаниях все еще не было. Заключенные устали напряженно ждать, и опять назревала возможность массовых самоубийств.

---

[1] Я слышала, что ссыльные в Якутской области видели эти биографии в 1891 году в Якутске.

Но на этот раз судьба пощадила карийцев. Комендант Масюков, из-за феноменальной ограниченности которого произошли все волнения, тянувшиеся с августа 1888 по май 1890 года, вызвал в свою канцелярию старосту мужской тюрьмы и показал ему бумагу, в которой губернатор Забайкальской области извещал Масюкова о том, что тюремное управление согласилось отменить телесные наказания для политических заключенных на Каре.

В то же время был решен в отрицательном смысле вопрос о существовании политических тюрем на Карийских золотых приисках. Тюрьмы должны были закрыться осенью того же года. Все заключенные, для которых кончался обязательный срок тюремного заключения, отпускались в вольную команду. Остальные переводились: женщины—в уголовную тюрьму на Усть-Каре, а мужчины—в Акатуйскую тюрьму. О последней ходили зловещие слухи: тюрьма воздвигнута на том самом месте, где некогда томились декабристы. Долго ее не могли достроить из-за обычных хищений, но, наконец, она была готова и ждала своих жертв.

Подробности предстоявших перемен доходили до нас постепенно, а списки заключенных по разрядам стали официально известны почти накануне тюремных преобразований. Но наши товарищи умели безошибочно высчитывать сроки заключения и потому могли заранее определить, кому из них предстояло итти в Акатуй. Обреченных было тринадцать человек, и в их числе—Петр Филиппович Якубович.

Администрация об'явила наперед, что по дисциплине и суровости заключения Акатуйская тюрьма должна быть «образцовой».

В это время я лишь изредка получала письма от П. Ф., но настроение их попрежнему оставалось спокойным и ясным.

Положение предназначенных в вольную команду нельзя было назвать завидным. Сознание, что из нашей среды будут выхвачены несколько человек и отправлены на муки, почти на верную погибель в Акатуй, наполняло сердца тоской и болью.

В сентябре были освобождены более тридцати человек, в числе которых из женской тюрьмы: Г. Н. Добрускина, П. С. Ивановская, С. А. Лешерн, Ек. Мих. Тринитатская[1] и я. Оставались доживать сроки заключения: М. А. Ананьина, Н. М. Салова и А. В. Якимова. Да на Нижней Каре находились в лазарете: Е. И. Россикова и С. Н. Богомолец. Первая, подобно Тринитатской, впала в психическую болезнь и в 1891 году была увезена в Иркутск, где тоже вскоре умерла. С. Н. Богомолец умерла в заточении от туберкулеза в 1892 году.

Ананьина, Салова и Якимова были тотчас после нашего выхода

[1] Вскоре по выходе в вольную команду Е. М. Тринитатская заболела резко выраженным психическим расстройством и была увезена в Иркутск, в дом умалишенных, где умерла в том же году.

увезены в Усть-Кару, в ту самую тюрьму, где мы когда-то сидели, где умерли Сигида и трое других наших товарок и где теперь находились уголовные.

Между уголовными женщинами были еще такие, на глазах которых разыгралась драма Сигиды и самоотравление политических. Они рассказывали об этом с трогательным сочувствием. О последнем дне жизни Сигиды они передавали следующее. Когда она возвращалась с места истязания, Мария Павловна Ковалевская шла по двору ей навстречу. Надя упала в ее об'ятия со словами: «Моя жизнь окончена», и тотчас ушла в небольшую боковую камеру, где содержалась в одиночном заключении (прежде здесь находилось помещение дежуривших при нашей тюрьме жандармов). Через несколько часов ее не стало, но женщины не могли рассказать подробностей о ее последних минутах, и был ли кто-нибудь при ней в эти минуты. В следующую же ночь приняли яд Ковалевская, Смирницкая и Калюжная. Утром их увезли в лазарет на Нижнюю Кару, отстоявшую на 15 верст от Усть-Кары. Они уже были в бессознательном состоянии, и, может быть, не все были живы.

Их похоронили тайно, и никто из местных жителей не знал, где их могилы. Когда мы жили в вольной команде, то не могли отыскать места их погребения.

Трудно описать чувство растерянности и безграничного уныния, с каким мы вышли на волю. Не легко было уходить из тюрьмы, оставляя позади себя трех наших товарок, с которыми мы сжились и которых любили. Но еще гораздо большею тяжестью ложилась на душу мысль о товарищах, отправленных в Акатуй. Не хотелось радоваться облегчению своей участи; легче было самим итти в Акатуй, чем провожать других в это зловещее место.

Через два дня после нашего выхода из тюрьмы рано утром нам дали свидание с 13 уводимыми. Оно происходило на Нижне-Карийском промысле, в одной из камер опустевшей мужской тюрьмы. Я помню эту обширную комнату в деревянном здании, низкий потолок и полутьму. Все помещение оказалось до тесноты заполнено пришедшими «вольнокомандцами» (которых с прежде вышедшими в вольную команду было более 40 человек) и отправляемыми, с которыми мы пришли прощаться. В течение свидания, продолжавшегося не более получаса, среди нас то и дело сновал старший конвойный с какими-то бумагами, и приходил какой-то писец за справками.

Посредине комнаты оставался свободный проход аршина в два шириною. В этом сравнительно свободном пространстве находились увозимые. Каждый из них то подходил к кому-нибудь из пришедших, говорил несколько слов, обнимал товарища и выслушивал дружеское напутствие; то, увидев в толпе другого человека, с которым еще не обменялся ни словом и с которым тоже хотелось поговорить, бросался к нему. Стояли говор и нервная суматоха.

Здесь, в этой толкотне, я впервые увидала Петра Филипповича. Он был в кандалах, но не бритый, и его прекрасное лицо с умным и бесконечно добрым выражением не было обезображено.

В эти мрачные минуты Якубович сохранял полное самообладание. Он говорил, улыбался и даже шутил. Все вообще уходившие были мужественно-спокойны. Приход вольнокомандцев, видимо, доставил им несколько радостных минут. Более других были взволнованы Павло Иванов и Санковский.

Но вот со стороны солдат послышались напоминания, что свидание кончается. Начались братские об'ятия и поцелуи, так сильно напомнившие «последние лобзания». Движение и толкотня еще усилились, появился конвой, чтобы вести наших товарищей. Выкрикивались последние дружеские прощальные слова; в последний раз для мимолетного пожатия протягивались руки. Кто-то громко крикнул: «До свидания, товарищи!». Санковский ответил: «Какое уж свидание! Мы идем умирать!». Другие громкие голоса заглушили это восклицание... Прощание кончилось.

На рассвете следующего дня наших товарищей уводили этапами в Акатуй.

Мы возвращались в свои жилища, как после страшных похорон; точно на наших глазах опустили в могилы живых людей.

Восклицание Санковского оказалось для него пророческим. Прошло несколько месяцев акатуйского заключения. При одном столкновении с администрацией, находясь в крайне раздражительном состоянии, он бросил чайник с горячей водой в начальника тюрьмы и был за это посажен в карцер в ожидании суда. Ночью он принял яд, с которым не расставался, и утром его нашли мертвым.

Не вернулся к нам и Павло Иванов, талантливый и выдающийся человек. Он умер от последствий тифа уже в вольной команде в Кадае.

Однако, у нас не было времени предаваться унынию в вольной команде. На дворе стояла холодная, дождливая осень; на улицах Нижней Кары, где мы теперь жили, была невылазная грязь. Между тем, ни у кого не было теплой одежды и не было другой обуви, кроме бродней. Всю эту нужду приходилось так или иначе устранять. И вообще вольнокомандцам предстояла трудная задача: устроить свою жизнь так, чтобы она протекала в сносных материальных условиях.

Первое дело, на которое решились все, у кого были близкие родственники в России, состояло в отправке телеграмм с просьбой выслать немного денег. Эти просьбы были тотчас исполнены, и из полученных средств, вместе с остатками тюремных касс, поступивших в ведение вольной команды, образовался маленький запас в 600—700 рублей, который лег в основу нашего артельного хозяйства. Каждому из нас в одиночку пришлось бы жестоко бедствовать;

все же вместе мы образовали артель, положение которой можно было назвать вполне удовлетворительным.

Это сравнительное благосостояние основывалось на посильном труде каждого из нас; без усиленной работы со стороны своих членов артель не могла бы, разумеется, существовать. Хозяйственные дела решались собраниями; первое же такое собрание избрало артельным старостой Н. А. Люри. Он жил в довольно обширном каменном доме, принадлежавшем горному ведомству. У последнего на Нижней Каре было несколько зданий, никем не занятых, и, так как они от времени приходили в упадок, то администрация решила уступить их под жилище нашей вольной команде. Но у артели были и собственные небольшие деревянные дома, когда-то построенные уголовными вольнокомандцами и купленные нашими предшественниками. Дома эти были сложены не очень правильно и еще менее красиво, но два из них были довольно поместительны, и в одном помещалась столярная мастерская Г. Е. Батогова, нашего товарища, вышедшего в вольную команду ранее нас. При этой мастерской через сени была комнатка, в которой поселились по выходе из тюрьмы П. С. Ивановская и я. Мы принялись обшивать вольную команду и вскоре сделались специалистками по шитью мужских блуз. Из России было прислано много фланели темных цветов, и у нас образовалась маленькая мастерская. Тут же мы изготовляли теплые рукавицы, без которых наши товарищи не могли бы работать зимою.

Вместе со старостой поселился А. И. Преображенский, который стал вследствие этого естественным помощником его во всех хозяйственных работах. В том же самом доме помещалась кухня, где готовился обед для членов артели. Так как общественной столовой не было, то желающим предоставлялось обедать в кухне, но таких было мало, и большинство приходило с судками; обедали по домам, большею частью, компаниями в несколько человек. У артели был свой слесарь Красовский, который делал отличные судки и самовары из белой жести.

Обед готовил повар с помощником, при чем обязанности повара редко исполнялись женщинами, но мы понедельно в качестве помощниц отбывали дежурства.

У артели были две коровы, и только для доения их применялся наемный труд: утром и вечером приходила с этой целью нанятая женщина и доила коров. Уход за коровами брал на себя тот из товарищей, кто смотрел также за лошадьми и именовался конюхом. Обыкновенно лошадей была пара, и они требовались для вывозки дров из леса, для доставки их на дом членам артели, для возки воды, провизии и проч.

Самыми трудными работами были—рубка дров и косьба. Для этих занятий составлялись компании, в которые товарищи входили по желанию; но, в сущности, они ежегодно составлялись приблизи-

тельно из одних и тех же лиц, так как только очень сильные и здоровые люди годились для тяжелых работ. Во главе их всегда стоял Н. В. Яцевич (недавно умерший в Полтавской губернии), тогда совсем молодой человек, не жалевший для товарищеской артели своих могучих сил и богатырского здоровья.

Дроворубы уходили осенью в лес за несколько верст от Нижней Кары и жили там в шалаше, который сами строили. Понятно, что они сильно страдали от холода и согревались только за работой или у костра. Дрова заготовлялись в большом количестве и вывозились зимой.

Сенокошение, если только погода благоприятствовала, было менее мрачно по своей обстановке. Косцы тоже жили в шалаше, но летом кочевой образ жизни не доставлял таких мучений, как в осеннюю стужу рубка леса. Самая работа была легче, и вечерами, после ужина и чая, еще сохранялись у косцов силы для долгой беседы и хорового пения у костра. С «Нижнего» иногда приходили гости, чтобы провести день с друзьями и помочь им в работе.

Раз я заговорила о хозяйственной стороне нашей жизни в вольной команде, то для характеристики ее надо добавить, что акатуевцы считались членами нашей артели, и ежемесячно посылалась им небольшая сумма денег, необходимая для покрытия самых существенных их потребностей. Так продолжалось около двух лет, когда материальное положение акатуевцев улучшилось. Акатуйские товарищи считались также собственниками части нашей обширной карийской библиотеки; транспорт книг, по их собственному выбору, был отправлен в Акатуй, и эти книги легли в основу собственной акатуйской библиотеки.

Но вернемся к осени 1890 года. Комнатка, в которой я поселилась с Прасковьей Семеновной Ивановской, была до невероятия мала, и когда шитья у нас стало больше, я наняла себе за ничтожную плату неподалеку комнату у женщины, по имени Аксинья. Она и муж ее заслуживали бы специального упоминания в последовательной хронике нашей жизни на Нижне-Карийском промысле, но в моем беглом очерке я могу лишь сказать, что, хотя Тимофей (так звали, помнится, мужа Аксиньи) отбывал уголовную каторгу, но они оба были люди совершенно нравственные в обычном смысле этого слова и легко поддавались культурному влиянию политической ссылки. Дело, за которое Тимофей судился, можно скорее назвать несчастным случаем, — в пьяном виде он убил своего односельчанина. Семья эта жила удивительно дружно; они оба, Аксинья и ее муж, были неутомимы в работе и поэтому довольно зажиточны. Тимофей легко терял сознание при опьянении и поэтому совсем перестал пить. Своей единственной дочери они дали первоначальное образование, потом послали в Читинскую гимназию, и из нее вышла славная молодая интеллигентная девушка.

В избе Аксиньи я наняла комнату и прожила в ней довольно долго. Здесь я получила первые письма Петра Филипповича из Акатуя. Иногда он писал через начальника тюрьмы Архангельского (изображенного им «В мире отверженных» под именем Шестиглазого), но гораздо чаще пользовался каким-нибудь случаем, чтобы отправить свои письма неофициально. В них он не жаловался на жизнь в Акатуе, но у нас было хорошо известно, каким страданиям и мукам подвергались наши товарищи, затерянные по двое и даже по одному среди уголовных. Им приходилось отстаивать свое человеческое достоинство против грубой и дикой администрации, и положение их было тем более опасно, что в списке наказаний, угрожавших заключенным, числилось телесное наказание, которое каждый из них предупредил бы самоубийством. А так как причин для столкновений было очень много, то заключенные жили под постоянным давлением мысли о возможной и очень близкой трагедии. Смерть витала над головами заключенных.

Физические условия также были ужасны. Тюрьма быстро переполнилась арестантами. Их помещалось в камерах вдвое больше, чем полагалось по расписанию, отчего воздух портился в ужасающей степени и ночью, в особенности, был нестерпимо смрадный. С большим трудом удавалось нашим товарищам убедить уголовных открывать форточки для проветривания камер. Арестанты не любят холода, привыкли не обращать внимания на зараженный воздух и мало замечают его. Нужна была упорная проповедь правил гигиены, чтобы получить их согласие на открытие форточек.

Пища была общая,—уставом «образцовой» тюрьмы запрещалось иметь отдельное продовольствие. Улучшение пищи разрешалось только в виде улучшения «общего котла». Разумеется, потребовались бы громадные средства, чтобы кормить всю тюрьму мясом, и такими средствами наши товарищи не обладали. Все, что они могли сделать, это покупать для общего котла мясо два раза в неделю по постным дням [1]. Белый хлеб, а также молоко запрещались в тюрьме; таким образом, на свои личные деньги можно было приобрести для личного пользования только чай, сахар и табак.

Существенным мучением в Акатуе являлись паразиты, которые очень быстро населили вновь выстроенную тюрьму. Они не давали спать, и большая часть ночи проходила в истреблении клопов и прочей нечисти. В кухне было так много тараканов, что они падали в котел с арестантской пищей и плавали сверху целым слоем. Чтобы зачерпнуть щей, повар предварительно отмахивал своим ковшом тараканов к противоположному краю котла. Политические заключенные долго трудились над тем, чтобы в кухне вывести тараканов,

---

[1] Интересно отметить, что по постным дням арестантам давали жидкий суп с говяжьим салом, вместо мяса.

и это им удалось, но затем паразиты снова размножились, и на них пришлось махнуть рукой.

Что касается рудничных работ, то некоторым из политических заключенных, в том числе и Петру Филипповичу, может быть, удалось бы освободиться от них путем настойчивых заявлений о болезнях и общей физической слабости. Но к таким приемам наши друзья не могли прибегать по разным причинам, между прочим, потому, что все политические не могли добиться освобождения от работ, а никто не хотел стать в привилегированное положение. С другой стороны, уважение уголовных и непоколебимый авторитет в их глазах можно было получить, только разделяя с ними всю тяжесть положения и не уклоняясь от общих работ. Режим Акатуйской тюрьмы, сравнявший политических арестантов с уголовными, вынуждал первых по небходимости беспрекословно соглашаться на пагубные подземные работы в шахтах, при отравленном воздухе, скудной пище и недостаточном сне.

Ужас положения смягчался для Якубовича одно время тем, что он заведывал тюремной библиотекой, обучал так же, как и другие товарищи, уголовных грамоте и читал вслух произведения русской и иностранной литературы (что описано им в статье: «Классики перед судом русской каторги»). Но книги в Акатуе появились только на второй год. В течение же первого года наши товарищи были лишены какой бы то ни было духовной пищи, а, следовательно, и всех средств отвлечься умственно от ужасавшей действительности. Целый год потребовался для решения вопроса, следует ли акатуйским заключенным выдать принадлежавшие им книги, или нет.

В это первое и самое трудное время акатуйского заключения жизнь Якубовича скрашивалась дружбой с А. М. Зунделевичем, который любил и ценил П. Ф., как человека и как поэта, оберегал минуты его вдохновения и умел поддерживать в нем интерес к творчеству. Многие прекрасные стихотворения П. Ф. относятся к этому именно времени, например, «Здравствуй, забытый рудник», «Юность», «Человек», «Дороже райских благ», «Во мраке былого» и проч.

В конце 1891 г. Петру Филипповичу пришлось проститься с «Зундом» (как звали всегда товарищи А. М. Зунделевича), уходившим в вольную команду на Кару. Но в это время находился уже в Акатуе другой человек, к которому П. Ф. дружески привязался и образ которого лег в основу портрета молодого врача Штейнгарда «В мире отверженных». Это—Л. Вл. Фрейфельд. По образованию он был студентом пятого курса медицинского факультета, и ему, как всем, причастным к медицине, пришлось врачевать в Сибири. В Акатуе очень ценили его медицинские способности и познания; между прочим, он очень удачно поддерживал безнадежно больную жену Архангельского. Это обстоятельство повлияло даже на положение политических заключенных в Акатуе: на время исчезли поводы

к столкновениям между администрацией и нашими товарищами, и они вздохнули свободнее.

Наиболее плодотворный период литературной работы для Петра Филипповича наступил, когда в конце 1892 года в Акатуй прибыли так-называемые «вилюйцы», т.-е. осужденные в каторгу якутским судом после обстрела политических административно - ссыльных в Якутске в 1889 году. Между прибывшими были: Мих. Петрович Орлов, Мих. Раф. Гоц, Ос. Солом. Минор, Алекс. Сем. Гуревич, Терешкович, Уфлянд, Брамсон и другие. Около трех лет осужденные провели в Вилюйске, в той самой тюрьме, где содержался Чернышевский. Потом их перевели в Акутай, где они пробыли до 1895 г.; когда дело их было пересмотрено, все они были освобождены от каторги, и им было разрешено вернуться в Россию через небольшие промежутки времени.

В разговоре с «вилюйцами» П. Ф. упомянул, что давно уже у него являлось желание передать в беллетристической форме кое-что из пережитого в Акатуе. Новые товарищи стали убеждать его писать свои «записки из мертвого дома». Он отнекивался, ссылаясь на невозможность пересылки рукописи, но они брались все устроить, лишь бы он писал. Они с любовью и вниманием охраняли его покой. а ему этих условий было достаточно, чтобы работать с поразительной быстротой. Так, в короткое время была создана 1-я часть книги «В мире отверженных».

Писал ее Якубович на клочках бумаги карандашом, а потом им же все было переписано на почтовой бумаге чернилами, почти без изменения текста. П. Ф. обладал редким даром писать без помарок.

Когда этот труд был окончен и Якубович несколько отдохнул от него, товарищи начали упрашивать, чтобы он описал в виде личных воспоминаний все пережитое им самим и первыми политическими, заключенными в Акатуе в 1890—1892 годах. П. Ф. согласился и в короткое время окончил эту вторую большую акатуйскую работу свою. Когда он прочел «Воспоминания» товарищам, они поняли, что перед ними поразительное по красоте и силе литературное произведение.

М. П. Орлов, который был свидетелем всего сейчас описанного, говорит, что в то время, как П. Ф. читал товарищам «В мире отверженных», несмотря на то, что эта книга содержит много чудных и выдающихся по драматизму страниц, чтение довольно часто прерывалось замечаниями и поправками, иногда даже не совсем уместными. Не то было при чтении новой книги Петра Филипповича. Тут стояла полная тишина, слушатели сидели, потрясенные и очарованные. Иногда раздавались громкие рыдания.

Вручая свое детище от'езжавшему Г., он сказал ему: «Берегите эту вещь и помните, что второй раз мне не написать ее».

В виду впечатления, произведенного на слушателей чтением рукописи и отзыва самого П. Ф., высказанного ему Г., можно

с большою вероятностью допустить, что «Воспоминания» были одним из лучших творений Якубовича. Как читатель сейчас увидит, «В мире отверженных» было написано два раза, а воспроизвести свои личные воспоминания об Акатуе П. Ф. не мог; он вложил в них всю силу своей прекрасной, чуткой души. Такие вещи не повторяются. И все же этому произведению суждено было погибнуть. Оно погибло, благодаря нелепой случайности, обидной и горькой.

Это случилось в Чите. Один из наших товарищей X. взял рукопись к себе на несколько часов. Вечером, когда он читал ее, постучался к нему местный житель Л., предупреждая о том, что идет полиция с обыском. У X. тотчас же явилась мысль, как бы не увеличить еще страданий Петра Филипповича и его товарищей, если «Воспоминания» попадут в руки полиции. Он бросил листки в печку и поднес к ним зажженную спичку. Листки сгорели в одно мгновение. А, между тем, оказалось, что Л. только пошутил. Говорили, что, когда он понял, какие последствия имела его шутка, он хотел застрелиться. Долго и тяжко горевал также X. Для Петра Филипповича весть о случившемся была настоящим ударом. Немало перестрадал и покойный теперь Г., выдавший рукопись для прочтения. Глубоко огорчались все, кто слышал об этом несчастии. Но прошлого не воротишь, и одно из прекраснейших и задушевнейших творений Якубовича погибло безвозвратно. Случилось это весной 1895 года.

Я уже говорила, что Петр Филиппович писал мне неофициальным путем письма из Акатуя. Главным их содержанием были его тогдашние стихотворения. Он записывал их карандашом на папиросной бумаге своим бисерным почерком и пересылал мне так же, как и все свои карийские стихи. Так получилось у меня полное собрание всех акатуйских и карийских стихотворений Петра Филипповича, которые я бережно хранила под влиянием мысли о возможности в акатуйских условиях самых мрачных неожиданностей, может быть, даже смерти.

Позднее, когда я жила в Чите на поселении, я переписала их вторично в тетрадь, нарочно для этой цели заказанную переплетчику Алексеем Кирилловичем Кузнецовым и подаренную мне. В 1893 г. (в начале) я получила от Петра Филипповича поручение отправить один экземпляр его стихотворений за границу для напечатания. Очевидно, в то время у него было мало надежды выйти на волю и увидеть свои произведения напечатанными в России. Но я медлила исполнением его воли; мне не хотелось отрезать пути его стихам к появлению в России с его именем. Поступая так, я не ошиблась. Вскоре получилось от Якубовича другое распоряжение. Он просил повременить с отправкою до нового уведомления, мотивируя эту перемену именно тем, что все же он еще не совсем потерял надежду увидеть свои стихотворения изданными в России.

Я сохранила свою тетрадь до 1904 г., когда я и семья моя уезжали из Сретенска. К тому времени все имевшиеся у меня стихотворения уже появились в печати, и я не хотела, чтобы тетрадь, которую я переписывала с такой любовью и таким благоговением, при случайном обыске была захвачена полицией. Поэтому я оставила ее на память жившему тогда в Сретенске одному хорошему знакомому нашей семьи.

Прибыв на поселение в Читу в октябре 1892 г., я поселилась в домике с двойным названием. Обитатели его и ближайшие их знакомые называли его «зимовье», читинская молодежь звала его «в лесах». Итти «в леса», это значило итти в «зимовье». Теперь этот домик изуродован, и земля, на которой он стоял, продана в другие руки. Сам он перетащен на новое место и смотрит таким загнанным, угрюмым и несчастным. Когда же я в нем жила, он красовался своим светлым срубом из тесанных лиственниц. Его большие окна смотрели нарядно и весело, освещенные ослепительным сибирским солнцем. Он стоял среди соснового леса, который теперь тоже вырублен. В тех местах, где я наслаждалась природой и почти первобытно чистым воздухом, выстроено множество домов, возникли целые улицы.

В то время «зимовье» принадлежало нашему товарищу С. П. Богданову, который уехал из Читы. В его домике жил Г. Е. Батогов; его столярная мастерская помещалась в нескольких саженях от «зимовья», присмотр за которым был ему поручен. Из трех комнат Батогов уступил мне самую большую и удобную; сам же поместился в маленькой и крайней комнате. Средняя служила нам столовой и гостиной.

Редко кто живал такой безмятежной жизнью, какой я жила в «зимовье». Старые карийские раны несколько зажили. И излечило их не что иное, как забайкальская природа. Когда в 1891 году, т.-е. в первом году, который я проводила на Каре вне стен тюрьмы, настало лето и во всей красе развернулась великолепная природа Даурии [1], то сердечные боли куда-то стали уходить. Нельзя было не восхищаться горами и тайгой, дивными цветами, ярким солнцем и безоблачным небом. Первый луч радости проник в мое сердце, когда я стояла на мостике и глядела в быстро бегущие, прозрачные струйки ручья, впадавшего в Кару.

Лучшего компаньона по квартире, чем Г. Е. Батогов, нельзя было желать. Еще с Кары он был большим другом А. В. Прибылева и моим.

Происходя из крестьян Полтавской губернии, он родился крепостным, и 9 лет от роду добыл себе свободу, убежав от преследований жестокого управляющего. И не только он сам освободился, но настоял, чтобы мать его бежала также и поселилась с ним.

[1] Название юго-восточной части Забайкалья.

Позднее он выучился столярному ремеслу и стал первоклассным мастером. На всех его произведениях лежала печать даровитости и красоты.

Над «зимовьем» веяло знамя труда, и основой нашей жизни была работа. Батогов вставал с петухами и уходил в мастерскую. Я поднималась позднее, убирала комнаты и хлопотала около самовара. Потом Батогов возвращался, и мы пили чай, после чего я уходила из дома на урок, или ко мне приходили маленькие ученики и ученицы. Каждый из нас зарабатывал достаточно, чтобы удовлетворить свои спартанские потребности. В «зимовье» не было кухни, и мы обедали и ужинали у наших соседей Фриденсонов. После обеда я писала письма своим многочисленным корреспондентам, ходила на почту, в библиотеку или сидела дома с книгой или за работой.

Под вечер часто заходили 2—3 человека молодежи, большею частью молодые девушки. Они любили приходить к нам. Здесь они находили радушный прием, оживленную беседу, новые журналы и газеты и необычное в других слоях общества мировоззрение. Мне кажется, молодежь видела в «зимовье» маленькую ячейку счастливого будущего, и посещения нашего домика всегда настраивали ее на несколько праздничный и торжественный лад.

По воскресным утрам на столе нашей столовой-гостиной неизменно появлялся «Кобзарь» Шевченко, и Батогов, которого в товарищеской среде звали не иначе, как Галась, углублялся в чтение «Кобзаря». Иногда он читал мне вслух, и от него я впервые услыхала дивные стихи Шевченко на его родном языке.

Однажды утром, в июне 1893 года, когда я была занята уборкой комнат, отворилась наружная дверь, и вошла женщина в платке. Она остановилась у порога и молча огляделась. Я подошла к ней, и она спросила, здесь ли живет Анна Павловна? Когда я назвала себя, она сказала, что у нее есть кое-что для меня. Но я уже и без ее слов догадалась о цели ее прихода. Читатель, если вы когда-нибудь будете в ссылке и к вам тихо войдет человек и станет у дверей, осторожно оглянется прежде, чем заговорить, и лицо у него приветливое и ласковое, знайте, что он пришел к вам с добрыми вестями,—он принес вам письмо от друзей.

Моя посетительница подала мне письмо от Петра Филипповича. В нем говорилось, что вместе с письмом я получу посылку. И, действительно, через полчаса та же женщина принесла мне небольшой ящичек. Когда она ушла и я вскрыла его, в нем оказались листы почтовой бумаги, мелко исписанные почерком Якубовича. Это была рукопись 1-й части «В мире отверженных».

Тут же находилась инструкция для меня. П. Ф. просил сохранить в тайне его произведение и не давать его для прочтения; мне не предоставлялось право пересылать рукопись по почте, и я должна была ожидать для этого поездки верного человека в Иркутск. П. Ф. писал, что пришлет российский адрес, по которому из Иркутска

следовало направить рукопись. Она предназначалась для «Вестника Европы».

К сожалению, никто не ехал в Иркутск, или, по крайней мере, не ехал человек, заслуживавший полного доверия. Уже настала осень, уже я жила в другом маленьком домике, и вернулся домой А. В. Прибылев (служивший все лето на прииске под Нерчинском), когда собрался ехать в Иркутск купец, хорошо нам знакомый и дружески к нам расположенный. Я решилась с ним послать рукопись в редакцию тогдашнего «Восточного Обозрения», так как все мои иркутские знакомые были сотрудниками этой газеты, а личные адреса их мне не были известны. Рукопись была доставлена аккуратно. Я отправила ее с той же инструкцией, которую получила от Петра Филипповича, и сообщила ему об этом. Он одобрил мои первые шаги, снова настаивал, чтобы рукопись не пускалась в обращение, и повторил свое намерение прислать адрес. На этом прервались надолго мои сношения с Акатуем, и, таким образом, дело отправки «В мире отверженных» затянулось на время, казавшееся мне бесконечным.

Прошло опять несколько месяцев, когда, наконец, я получила письмо из Акатуя с запросом, почему так долго не отправлена рукопись в Петербург и почему в Иркутске не соблюли условий, а давали читать рукопись посторонним лицам, о чем стало известно Петру Филипповичу.

Письмо меня чрезвычайно огорчило.

Оно показало мне ясно, что, во-первых, российский адрес был послан, но не дошел до меня, а, во-вторых, меня возмутило поведение сотрудников «Восточного Обозрения», нарушивших волю Якубовича.

В тот же день я написала в Иркутск, и в ответ от лица, которому была направлена рукопись, получила сообщение, которое сразило меня гораздо более, чем акатуйский запрос. Мне писали, что рукопись затерялась в редакции и ее не могут найти... Относительно чтения рукописи в письме говорилось, что она была показана только двум лицам, очень близким к Петру Филипповичу.

В моем распоряжении оставалось только одно средство, к которому я и прибегла и успех которого доказал, что в самом начале рукопись следовало направить в Петербург по почте, не откладывая дела из-за нового адреса, который так и не получился. Я послала в «Восточное Обозрение» телеграмму с категорическим требованием отыскать рукопись и отправить ее заказным письмом в редакцию «Вестника Европы». Через несколько дней я получила известие, что рукопись найдена и отправлена по назначению. Но она уже опоздала.

Якубович, который отличался поразительной энергией в работе, написал всю 1-ю часть книги сызнова, и теперь она была отправлена кратчайшим путем в Петербург на имя Н. К. Михайловского, кото-

рый очень удивился, узнав, что точно такой же экземпляр рукописи получен в «Вестнике Европы». Оба экземпляра были почти тождественны, с незначительными уклонениями, неизбежными в виду того, что второй из них составлялся на память, без черновиков, которых нельзя было сохранять в тюрьме. По прочтении рассказа, Николай Константинович сейчас же решил отстоять его для «Русского Богатства» и вел об этом переговоры с Петром Филипповичем, который жил в то время в вольной команде в Кадае.

Редакции «Вестника Европы» П. Ф. в самом начале поставил условием печатать «В мире отверженных» без пропусков; если же это окажется невозможным, то просил передать рукопись Н. К. Михайловскому.

Несмотря на желание покойного Стасюлевича поместить рассказ в своем журнале, он не находил возможным печатать его целиком, и потому ему пришлось уступить его. Тогда начались длинные переговоры Николая Константиновича с цензурой, требовавшей значительных сокращений. Но Михайловскому удалось отстоять целость сочинения, и оно начало печататься осенью 1895 г. в «Русском Богатстве» в том виде, как было написано, за небольшими и неважными исключениями.

Каторга для П. Ф. приходила к концу.

В июле 1895 г. его ожидали в Чите проездом в Курган. Как только я узнала об этом, я решила ехать в Читу повидаться с Розой Федоровной и Петром Филипповичем. В то время я лечилась на минеральных водах в Дарасуне, в 60 верстах от Читы. Там же проводили лето М. Р. Гоц с женой Верой Самойловной, которые тоже захотели приветствовать Якубовича и его жену. Меня известили о дне прибытия П. Ф., и мы отправились в путь.

Была страдная пора, и лошадей можно было найти в деревне только на ночь. Ради сокращения расходов я взяла с собой попутчицу, молодую девушку, а Гоцы ехали в отдельном тарантасе. Ночью пришлось ехать лесом, мой ямщик наскочил на пень и опрокинул тарантас. Барышня выпала из него, но, к счастью, отделалась только ушибами. Остальную часть ночи мы провели на станции и на следующий день приехали в Читу.

Роза Федоровна и Петр Филиппович остановились в доме Соловьевой, где исстари проживали читинские ссыльные, при чем одни наслоения следовали за другими. На этот раз в доме царствовал невообразимый хаос, благодаря наплыву приезжих. Здесь временно приютились многие из «вилюйцев», возвратившиеся из Акатуя и ожидавшие разрешения выехать в Россию. Во всех комнатах стояли кровати, были нагромождены ящики, тюки, дорожные корзины. Среди этого беспорядка пришлось нам встретиться. Петр Филиппович мало изменился с того памятного дня, когда я его видела перед отправкой в Акатуй; он был слишком молод еще, чтобы

пять лет каторги могли его состарить. К тому же он успел отдохнуть и поправиться в вольной команде. Он был еще в полуарестантской одежде. Мы вообще неохотно расстаемся с платьем, которое носили, когда много и долго страдали. Но мне было тяжело видеть П. Ф. в казенном одеянии, и я попросила его переодеться. Он исчез из комнаты и скоро вернулся одетый в черное. Мы втроем сидели у окна, и время быстро летело в дружеской беседе. Говорили о пережитом, о будущих надеждах и много раз возвращались к книге «В мире отверженных». Погоревали сообща о безвозвратно погибшей рукописи, о потере адреса, которая была причиною того, что автору пришлось два раза писать одну и ту же вещь. Он рассказал о переговорах с ним Н. К. Михайловского и читал мне его письма.

В тот же день Петр Филиппович снимался у Алексея Кирилловича Кузнецова, лучшего тогда фотографа в Чите. С кабинетного портрета, сделанного Кузнецовым, воспроизведен позднее портрет П. Ф., изданный в Киеве г-жою Водовозовой. Он вполне передает облик П. Ф., каким он был в то время.

Вечер мы провели в доме Сухомлиных, у которых я остановилась, и пили чай у них в саду. Знакомая молодежь, узнав о приезде Якубовича, приходила его приветствовать, и вокруг него образовалось большое общество.

Через 10 лет мы встретились снова. Я находилась в Одессе со своей семьей. Якубович приехал туда же на три дня для свидания с своей матерью, которую он сильно любил. Его приездом решил воспользоваться дамский кружок по устройству литературных вечеров. Было начало 1905 года. Период банкетов сменился повсеместными частными литературными вечерами. Петр Филиппович мужественно отбивался от предложения А. М., которая достигла большого искусства в организации подобных собраний. Он дорожил каждой минутой, желая 3 дня, бывшие в его распоряжении, провести с матерью. В качестве последнего довода он сослался на то, что, уезжая из Петербурга, он не взял с собою черного сюртука, но был сражен заявлением, что в магазинах дают платье напрокат. Я присутствовала при этом разговоре и предложила П. Ф. сопровождать его в поисках магазина готового платья. Мы довольно долго колесили по улицам на извозчике, так как был праздничный день и многие магазины были закрыты. Наконец, мы увидели большой склад готового платья. П. Ф. зашел в магазин и вскоре вышел оттуда со свертком в руке.

Вечером я видела его в собрании в большом частном доме, когда он выступал перед публикой, встретившей его горячо и сердечно. П. Ф. был несколько бледен и казался утомленным. Читал он на память без книги одно из любимых им стихотворений Некрасова.

Спустя два года мне пришлось быть в Петербурге проездом в Финляндию, и мы случайно сошлись у знакомых с Розой Федо-

ровной и П. Ф. Он был бодр и оживлен, как и прежде, но жаловался мне на одышку и непорядок сердечной деятельности. Якубовичи жили тогда на даче по Варшавской ж. д., и я убеждала П. Ф. воспользоваться летом для отдыха, который был ему так необходим. Роза Федоровна горячо поддерживала меня и, между прочим, говорила, что требуются громадные усилия, чтобы заставить П. Ф. бросить работу и итти подышать свежим воздухом. Он, смеясь, отвечал, что сам намеревался отдыхать на даче, но взял с собой массу работы и теперь сидит за письменным столом так же, как бывало в Петербурге.

Становилось грустно от его слов. Страшила мысль, что при полном невнимании к своему здоровью П. Ф. ненадолго хватит.

Позднее во время этого свидания я спросила П. Ф., не пишет ли он чего-нибудь нового, если проводит так много времени за письменным столом. Он сказал на это, что в России не в силах писать, что писалось только в Сибири; в России же его покинуло вдохновение. В опровержение его слов я указала на стихотворения, написанные им по возвращении в Россию, и на статьи его в «Русском Богатстве». Но он возразил, что за большие темы не в состоянии приняться, так как все время его поглощено редакционной работой, о которой он, тем не менее, отзывался с великим терпением и даже любовью.

В этот раз было особенно тяжело расставаться. Казалось, что мы больше не увидимся.

С 1906 года моя переписка с П. Ф. касалась исключительно дел благотворения, в которых он принимал широкое участие. Никто другой так легко и быстро не приходил на помощь товарищам, как он. Он умел привлекать жертвователей и из их взносов организовал правильную поддержку больных и безработных вернувшихся ссыльных. Если в Москве иссякали источники и я обращалась к нему с просьбой помочь тому или иному страдающему товарищу, он придумывал новые пути к получению материальных средств и облегчал положение нуждающихся.

Теперь нет больше между нами этого талантливого, сильного духом, бесконечно доброго и мягкого человека... Он был безупречен, и никто не мог бы указать ни малейшего пятна в этой прозрачно чистой жизни. Он любил людей, как братьев, не исключая уголовных заключенных. В них он чтил человеческий образ и умел среди наслоений грязи и преступлений отыскать и показать миру черты, глубоко человечные, а порой и порывы, полные благородства и справедливости. Его талант владел тайной соединять внешнюю красоту и глубину мысли с идеальными чертами высоких гражданских стремлений. Он находил живое наслаждение в упорном умственном труде, в наивысшем напряжении человеческой мысли. Но русская жизнь не сберегла это чудное сердце.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ И МАРИЯ ОСИПОВНА СЫЦЯНКО[1].

В Москве, в 1907 году, Мария Осиповна Сыцянко, по мужу Ослопова, часто бывала у нас на Долгоруковской улице. Когда мы с ней оставались одни, она мне рассказывала о своей жизни в Сибири, о своем брате, а однажды, когда была очень грустна, сообщила мне подробности его самоубийства в Воронежской тюрьме в 1898 году.

Обстоятельства, вызвавшие и сопровождавшие смерть Александра Осиповича Сыцянко, не должны быть забыты, когда история станет подводить окончательные итоги борьбы царизма с русскими общественными силами. Сама М. О. имела намерение приготовить к печати описание смерти своего брата. Но у нее не было достаточно времени для такой работы. Она вела образ жизни настоящей подвижницы, редко даже имела постоянное местожительство в Москве, а чаще всего после усиленных хлопот за день по делам Крестьянского союза партии с.-р. ей приходилось вечером искать пристанище, где бы переночевать. Но именно потому, что М. О. не оставила после себя описания смерти брата, мне хочется сделать это за нее и, по возможности, в том виде, как она мне изобразила драму Александра Осиповича.

Семейство Сыцянко родом из Харькова. Отец был приват-доцент медицинского факультета и популярный в городе врач, вследствие чего семья пользовалась сравнительным благосостоянием. Матери не было в живых. Трое юных детей жили с отцом в его собственном доме на окраине города. Необычайно дружно и счастливо протекала скромная и тихая жизнь семьи. Но политическая буря проникла в убежище идиллических радостей и разметала членов семьи в разные стороны. Первый признак надвигавшихся несчастий обнаружился осенью 1879 г. На чердаке недостроенного флигеля во дворе дома Сыцянко были найдены случайно различные предметы, имевшие явное отношение к деятельности революционной партии: нелегальная литература, спираль Румкорфа, земляной бурав и т. п. Это событие, может быть, прошло бы бесследно для семьи Иосифа Семеновича, так как принадлежность найденных вещей не могла быть доказана[2]. Но предательство Гольденберга погубило семью. В своих показаниях он говорил, что предметы, необходимые для взрыва под Александровском, получил для Желябова в доме приват-доцента Харьковского университета Сыцянко от его сына Александра. Это сразу изменило положение вещей. Отпираться от найденного теперь было уже бесполезно, и, чтобы спасти отца от ответственности в деле, к которому он не имел касательства, А. О. признал, что прятал вещи на чердаке без ведома отца.

---

[1] Печатается впервые.

[2] Сведения о семье Сыцянко см. в «Голосе Минувшего» за 1917 г., № 2, в ст. С. Г. Сватикова «Опальная профессура 80-х годов».

Оба были арестованы и просидели год в тюрьме в ожидании следствия и суда. 2 октября 1880 года Харьковский военно-окружный суд приговорил А. О. к 2 годам и 8 мес. каторжных работ. В виду несовершеннолетия (А. О. было тогда 19 лет) приговор был смягчен, каторжные работы были заменены ссылкой на житье в Восточную Сибирь, в Верхоленский округ Иркутской губ. Отец был оправдан, но испытанные потрясения и тяжкая участь сына сократили его жизнь: он умер в конце 80-х годов.

В своем рассказе М. О. упомянула о том, как печально протекала ее жизнь с сестрой, когда во всем доме они оставались одни со старой, очень любившей их прислугой. Долгие зимние вечера сестры проводили вместе, и всегда разговор возвращался к счастливому прошлому и страшному будущему, угрожавшему отцу и брату.

В Сибирь А. О. был отправлен с партией централистов в 1881 году, и М. О. сопровождала его в место ссылки, где прожила некоторое время. А. О. Сыцянко плохо мирился с ссылкой. Вскоре после от'езда сестры он бежал, но неудачно, был арестован и на этот раз водворен в Киренский округ.

М. О. в это время (1889—1892) находилась в административной ссылке вместе с своим мужем Ослоповым в Ишиме.

О пребывании А. О. в Сибири вообще мало известно. Под конец его ссылки его снова перевели в Верхоленский округ, где он прожил до 1896 года. Мне удалось видеть только одно лицо, которое встречалось с ним в Киренске. Лицо это—Феликсия Никол. Лянды, в доме которой А. О. бывал, когда приезжал в город. Местная администрация обязывала его жить в деревне, и из-за появления его в городе выходили препирательства с полицией. Ф. Н. Лянды характеризовала мне А. О., как чрезвычайно милого и симпатичного юношу, с мягким и нежным характером, что сказывалось, между прочим, в его доброте ко всем ссыльным товарищам.

Окончив ссылку, он вернулся в Россию 36 лет от роду и не захотел жить в Харькове, а поселился в Воронеже, куда также переехала М. О. Здесь А. О. застал новые веяния революционных идей, которые к концу 90-х годов приняли очертание молодой партии социалистов-революционеров. Он стал одним из первых ее приверженцев и пропагандировал новое движение среди молодежи и рабочих.

Через год уже он был снова арестован и содержался в тюрьме в одиночном заключении.

Арест брата не тревожил М. О. Она знала, что никаких угрожающих обвинений ему не могло быть пред'явлено, никаких серьезных улик не существовало. Его арестовали одновременно с воронежскими социал-демократами, но в виду большой энергии и кипучей деятельности его на него было обращено особое внимание.

Тогдашние воронежские аресты были последствием провокации, организованной жандармским полковником Васильевым, орудием

в руках которого служили супруги Эсманские: муж—фельдшер по профессии, вращался в рабочей среде, а жена была помощницей заведующей библиотекой имени Кольцова, основанной кружком местной прогрессивной интеллигенции. Эта библиотека представляла удобное поле деятельности для нечистых целей провокаторши, так как здесь любили собираться прогрессисты для обсуждения различных текущих вопросов.

Эсманский был изобличен в провокаторстве вследствие жалоб на него рабочих и по приказу товарища прокурора посажен в тюрьму, в тот же коридор, где находились его жертвы. Что же касается Эсманской, то плоды ее деятельности обнаружились, когда были арестованы некоторые из воронежских общественных деятелей, не имевших никаких связей с революционным миром, и им были пред'явлены обвинения, основанные на словах, сказанных ими в Кольцовской библиотеке.

Расследование вел сам полковник Васильев, который был известен в городе, как охранник высшей пробы. Он внушал такое отвращение своими приемами и действиями, что М. О. решила не обращаться к нему ни с какими просьбами. В начале ареста брата она официально хлопотала о свиданиях с ним, но Васильев отказал ей в этом, и с тех пор она не возобновляла попыток видеться с братом, стараясь не встречаться с полковником.

Так продолжалось до первых чисел февраля 1898 года. В эти дни настроение М. О. резко изменилось, сердцем ее овладели опасения и тяжелая тоска. Не сознавая причин этой перемены, она стала волноваться по поводу брата. Ее поражало настроение, в котором она не могла дать себе отчета: оно пугало ее и заставляло бояться большого несчастия для брата. 7 февраля ее беспокойство достигло таких размеров, что она все-таки решилась итти к Васильеву и настаивать на свидании. Она, гордая, не удостаивавшая его взглядом или словом, теперь, в переживаемой душевной муке, готова была просить его со слезами дать ей свидание с братом. Когда он увидал ее, расстроенную и едва владевшую своими нервами, он (М. О. сказала: «даже Васильев») смутился и обещал разрешить немедленное свидание. М. О. осталась одна в комнате и не могла дождаться минуты, когда ее позовут и она увидит брата. Но дверь отворилась, опять появился Васильев и заявил: «Нет. Я не могу вам дать свидание, я передумал, я решительно не могу». М. О. ушла домой, плохо сознавая окружающее.

Утром следующего дня ее уведомили, что в эту ночь ее брат покончил с собою, повесившись в своей одиночной камере. А еще через несколько дней она узнала подкладку этой драмы.

Васильев, предполагая, что в лице А. О. имеет дело с важным революционером, решился во что бы то ни стало выпытать от него интересные показания. Он держал его в полной изоляции, надеясь таким образом воздействовать на его душевное состояние. Вместе

с тем он мучил его допросами, на которых А. О. отказывался отвечать. Когда из всей игры Васильева никаких результатов не получилось и М. О. пришла просить свидания, он уже готов был сдаться, но передумал и решил испробовать последний козырь. Он составил записку от имени кого-то из заключенных и велел надзирателю обронить ее, как бы случайно, в камере А. О. В записке, обращенной к товарищам, говорилось, что А. О. Сыцянко стал выдавать, и давался совет остерегаться его. Расчет Васильева, очевидно, основывался на расстроенной нервной системе А. О., и неудивительно, что она действительно была расшатана. С 18 до 36-летнего возраста он мучился по тюрьмам и в ссылке. Возвратившись в Россию, он не стал отдыхать или поправлять здоровье, а с остающимися еще силами тотчас бросился в пропаганду новой революционной программы. А затем тюрьма с'ела и остаток его сил.

Васильев в своем предательском плане, между прочим, рассчитывал на полное одиночество своей жертвы. Одного короткого свидания с сестрой было бы достаточно, чтобы рассеять туман, наведенный на ум заключенного палачом-жандармом. Но свидания он не дал...

М. О. знала, что по качествам своей натуры Васильев тешился мучениями, пережившимися ее братом и ею, но не подозревала прямого преступления. А оно должно было быть велико, если сломило не мальчика, не юношу, а мужчину 37 лет, испытанного в борьбе с монархизмом и его слугами.

Подробности действий Васильева М. О. удалось узнать от товарищей брата по заключению и от преданных надзирателей. Уже после ее смерти, в марте 1917 года, я виделась в Москве с одним из тогдашних воронежских друзей А. О. Он рассказал, что на воле после катастрофы было получено письмо, которое писал А. О. за два или три дня до кончины. В нем он говорил, что Васильев его измучил допросами и давлением, производимым на него. Между прочим, Васильев грозился арестовать М. О. и других близких ему людей.

В системе игры жандарма записка, подброшенная в одиночной камере А. О., должна была явиться последним выигрышным ходом и действительно оказалась таковым. Не доказано, конечно, чтобы Васильев искал смерти своей жертвы, возможно, что он только стремился к заветной для всех пресмыкающихся цели—к повышению по службе, но он натянул струну слишком туго, и она должна была оборваться.

Горе М. О. было беспредельно. Свое отчаяние она стремилась заглушить деятельностью в новой партии социалистов-революционеров. Вскоре она попала во вторую свою административную ссылку в Енисейскую губернию. Отсюда она бежала в Иркутск в 1904 году. Скрываясь от преследований и живя нелегально, она работала в подпольной с.-р. типографии, перепечатывавшей партий-

ные издания предреволюционного времени, выходившие в России. В конце 1905 г. М. О. была уже в Москве, которую не покидала до своего последнего ареста в 1908 году.

М. О. была всеми помыслами предана интересам пролетариата, но она сердечно любила крестьянство, как более близкую и более знакомую ей среду. Она была истинной народницей. В ее представлении крестьянство всей России сливалось в одно могучее и прекрасное целое, благу и счастью которого она отдавала свои силы и знания. С самого основания в 1905 году с.-р. Крестьянского союза она посвятила себя его работе и не покидала его рядов до ареста.

Из только-что сказанного не следует заключать, что М. О. идеализировала русское крестьянство. Темные стороны его быта и низкий уровень его умственного развития были ей хорошо известны. Но деятельность с.-р. Крестьянского союза была направлена на просвещение крестьян, на образование его политических взглядов и понятий, на пробуждение в нем любви к свободе, на организацию его для массовой борьбы с административным гнетом и для завоевания себе политических и гражданских прав, а, главное, права на землю.

М. О. судили в Смоленске в 1910 году после двухлетнего тюремного заключения в Москве и Смоленске. Ее приговорили к лишению всех прав и поселению в Восточной Сибири. Я видела ее два раза после суда в 1911 г. в Канске и в 1914 в селе Казачинском, в Енисейской губернии, уже по получении ею права раз'ездов. Энергичная и деятельная, как всегда, М. О. посвящала все время, которое у нее оставалось от работы по добыванию средств к жизни, заботам о ссыльных товарищах, устраивала вновь прибывших, ухаживала за больными, помогала хозяйничать семейным. Надо ли говорить, что себе она отказывала во всем, даже в самом необходимом.

Так в трудах и заботах прошла молодость М. О., прошли зрелые годы, а когда пришла старость, то организм оказался подорванным в корне. Случайная простуда вызвала воспаление легких со смертельным исходом. М. О. умерла в Омске в больнице на 50 году жизни, за 3½ месяца до начала русской революции, к достижению которой были направлены ее силы и стремления.

СЫН КРЕСТЬЯНИНА, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АНАНЬИН [1].

В «Голосе Минувшего» за 1918 г., № 1—3, в статье А. С. Полякова «Царь-миротворец. Резолюции Александра III», на стр. 220 говорится: «Привлеченная по делу 1 марта 1887 года М. Ананьина [2], значившаяся по паспорту женою крестьянина, в своих показаниях мимоходом упоминает, что она готовила своего сына в гимназию. Царь дает для себя четкую характеристику в такой резолюции: *«Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию»*.

Неуч-царь не терпел образованности в других и находил предосудительным и неблаговидным стремление крестьян и такназываемых «людей низшего звания» дать своим детям среднее, а, по возможности, даже и высшее образование. Но сейчас меня интересует не самодержец, носивший имя Александра III, а судьба крестьянского мальчика, Николая Ивановича Ананьина.

Мария Александровна Ананьина была дочерью служащего на одном из петербургских заводов, где она родилась и провела большую часть своей жизни. Выйдя замуж за крестьянина Пермской губернии, тоже служившего на заводе, она осталась жить при отце с мужем, от которого у нее родилось двое детей. Впоследствии отношения между супругами изменились к худшему, Ананьин уехал на родину, семья ничего не знала о его жизни и считала его почти без вести пропавшим.

Оставшись одна с детьми, М. А. изучила акушерство, чтобы собственным трудом кормить и растить детей. Это ей отлично удалось. Она была хорошей акушеркой, имела большую практику, что давало возможность семье жить безбедно. Вообще она была щедро одарена природой. Ее ум отчетливо и ярко воспринимал впечатления, она была музыкальна, но главные ее способности заключались в ручном труде. Во всех отраслях его, доступных на Каре (где мы встретились), М. А. проявляла большую долю талантливости. Она вязала тонкие кружева, плела соломенные шляпы, кроила и шила платья и белье. Хотя на Каре трудно было применить кулинарное искусство, все же раза два или три в течение двух лет с лишним, прожитых нами совместно в тюрьме, М. А. доказала, какая она превосходная стряпуха.

У нее всегда была не одна начатая работа, как у всех нас, заключенных, а пять или шесть, которые она вперемежку подвигала вперед очень быстро и удачно.

В своих показаниях она упомянула о том, что готовила сына в гимназию с А. И. Ульяновым, бывшим его учителем. Насколько могу судить по ее рассказам о детях, с момента ареста мысль о сыне и страх за его будущее не покидали ее. Дочь ее, Лидия Ива-

[1] Печатается впервые.
[2] Умерла от нефрита в 1899 году в Акатуе.

новна, была уже взрослой молодой девушкой. Она также привлекалась к процессу 1 марта 1887 года и была административно сослана в Березов. Как ни казалась свирепой мера наказания, примененная к дочери, М. А. могла быть уверена, что Лидия Ивановна сумеет постоять за себя, что товарищи по ссылке примут в ней участие и не покинут ее в беде и одиночестве. Совсем в ином виде представлялась судьба бедного мальчика уму матери, семейное счастье которой оказалось сразу и навсегда погибшим. В Доме предварительного заключения, чувствуя полное бессилие отныне влиять на жизнь сына, М. А. впадала в мрачное отчаяние, и все же ей непреодолимо хотелось оградить милого, славного ребенка от угрожавших ему несчастий и сказать или крикнуть слова, которые предохранили бы его от нависшего над ним рока; являлось желание разжалобить кого-то неумолимого и жестокого, и приходила в голову безумная мечта, что этот кто-то сжалится над ее сыном и не даст ему погибнуть в нищете и невежестве. Тщетная надежда! Люди, до которых могли дойти ее слова, были глухи и мертвы к голосу страдания. Царем и его приближенными владело одно только чувство— животного страха за прочность трона и собственного существования. Чувству страха приносилось в жертву все живое, и это же испытал на себе и маленький Ананьин. Какая-то невидимая рука преследовала 10-летнего ребенка. Кто теперь скажет, совершалось ли это по приказанию императора, или какие-нибудь Плеве и Муравьевы, желая угодить своему господину, осуществляли то, что им казалось особенно желательным для него, или агенты, еще более мелкие и ниже поставленные, исполняли свою собственную импровизацию?

Коля Ананьин был арестован одновременно с матерью и посажен в Дом предварительного заключения. Долгое время ему и М. А. отказывали в свиданиях. Наконец, однажды его ввели в камеру, где его мать лежала тяжело больная. Он бросился к ней, стал утешать ее, успокаивать и уверял, что теперь сразу стал большой. На вопрос матери, почему он так думает, он отвечал, что его держат в мужском отделении в одиночной камере, выпускают гулять с надзирателем, возили на допрос в карете, словом, не делают никакого различия между ним и взрослыми мужчинами.

Когда охранное отделение убедилось, что мужественное дитя не даст показаний, его отпустили на волю. К этому времени у семьи Ананьиных в Петербурге не оставалось родственников. Дедушка умер, а другие близкие раз'ехались. Но у М. А. были друзья, которые до разгрома семьи принимали в ней участие и соглашались и после арестов взять мальчика к себе, воспитать его, как сына, и дать ему образование.

Так, повидимому, устраивались дела, пока М. А. находилась в Доме предварительного заключения. Когда же после суда ее отправили в Сибирь на Кару, начались настоящие испытания для ее сына.

Охранное отделение об'явило, что разрешает ему жить в Петербурге только на поруках у родственников. Но в виду того, что в столице таковых не оказывалось, мальчику велено было выбраться из нее, указав охранному отделению, какое местожительство и у кого он для себя выбирает. Он вспомнил тетку, которая жила где-то на Северном Кавказе. Охранное отделение запросило ее, согласна ли она принять мальчика к себе. Она ответила, что с проклятиями, но возьмет племянника. Это была родная сестра М. А., крайне черносотенно настроенная. Легко себе представить, какие сердечные муки доставляла Ананьиной участь сына, за которой она могла следить отныне только по письмам. Чтение их на Каре и рассказы о сыне всегда сопровождались слезами. Ее утешало немного участие, которое товарищи по тюрьме принимали в ее сыне. Она читала нам вслух его письма, и поэтому мне известны несчастия его детских лет. Не помню теперь подробностей путешествия на Кавказ: но знаю, что оно сопровождалось приключениями. Между прочим, мальчику нехватило денег, отпущенных ему на дорогу благодетельным охранным отделением, и ему с большим трудом удалось добраться до тетки. Его появление на пороге ее дома было полно драматизма. Она показала ему угол в кухне, где он должен был спать, сказала, что он будет носить дрова, выливать помои, мыть посуду и исполнять мелкие поручения домашних. «Мама!—восклицал бедный ребенок в письме,—я все это буду делать. Я понимаю, что ничего другого мне не остается». В следующем письме он писал, что работает, сколько хватает сил, но у него почти нет времени учиться, он не только не идет вперед, но начинает забывать старое. Пришло еще одно письмо на Кару; в нем мальчик говорил об отчаянии, которое его охватывает при мысли, что он должен отказаться от учения. Потом, после долгого промежутка времени, получилось извещение тетки, что Коля скрылся из ее дома неизвестно куда, что она принимает меры к его розыску, но до сих пор они напрасны.

Несколько лет спустя, когда Лидия Ивановна кончила свою ссылку в Березове и получила право раз'ездов, ей удалось найти брата. Он работал где-то на уральском заводе.

Мы, старые друзья и товарищи его матери по женской тюрьме на Каре, были рады знать, что царю-бегемоту не удалось сокрушить телесно и духовно крестьянского мальчика, за судьбою которого мы следили с волнением и нежностью.

VI. Предатели и провокаторы.

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ДЕГАЕВ [1].

Лично я знала Сергея Дегаева в течение 2½ лет: с 1880 до половины 1882 года. Знакомство это было чисто деловое, к которому не примешивалась ни дружба, ни просто симпатия. Проблеск более живого интереса к его личности я почувствовала только в тот момент, когда узнала о выходе его из Дома предварительного заключения в марте 1881 года. Но освобождение человека из тюрьмы всегда является желанным событием, и не надо быть очень привлекательной личностью, чтобы вызвать радость в своих знакомых одним фактом появления среди них после заключения, какова бы ни была его продолжительность.

Дегаев принадлежал к тем людям, которые не отличаются привлекательностью. Я не знаю ни одного из наших революционеров, кто относился бы когда-либо к нему с любовью или питал к нему чувство дружеской привязанности. Но об отношениях революционеров к Дегаеву я скажу позднее; теперь же замечу, что все сообщенное мною о нем из периода времени, последовавшего за моим арестом, я слышала от лиц, истинность слов которых стоит вне всякого сомнения.

Дегаев по образованию был артиллерийский офицер и служил в Кронштадтской крепостной артиллерии. Одно время он был слушателем артиллерийской академии, но был удален оттуда за неблагонадежность. Потом он вышел в отставку. Большие способности к математике, как и вообще хорошие способности, соединенные с большой трудоспособностью, возбудили в нем желание поступить в Институт путей сообщения. Он это и исполнил, и в годы, к которым относятся мои воспоминания, он состоял уже студентом института.

Сношения Дегаева с революционным миром Петербурга начались в конце 70-х годов. И так как он всегда мог представить наилучшие рекомендации последующим деятелям на революционном поприще, то его связи продолжались также с народовольцами, программу которых он разделял. Его считали полезным членом партии: он вел, насколько это было выполнимо, пропаганду между студентами-пу-

[1] «Былое», 1906 г., № 4.

тейцами и предоставил народовольцам знакомство с некоторыми радикалами-офицерами из своих прежних сослуживцев. Между прочим, Дегаев в 1880 г. служил связующим звеном между партией «Народная Воля» и центральным петербургским студенческим кружком, все члены которого ему, поэтому, были известны. Вообще он никогда не отказывался исполнять поручения, которые давались ему членами Исполнительного Комитета. Состава последнего Дегаев не знал, но несомненно, что, приходя часто в соприкосновение с некоторыми его членами, он догадывался об их принадлежности к Комитету.

В 80 г. Дегаев перевез в Петербург свою семью с юга России. Семья эта состояла из матери, двух сестер, из которых старшая была замужем за техником М., окончившим курс в Московском техническом училище, и младшего брата Владимира.

Кажется, не будет ошибкой, если я скажу, что семья Дегаева была очень романтична. Ей нравилось все необыкновенное и чрезвычайное. И эта любовь к исключительному влияла на поступки всех членов семьи. Старшая сестра Дегаева была убеждена, что в ней кроется большой сценический талант, и готовилась стать знаменитостью. Приехав в Петербург, она пожелала дебютировать перед большой публикой. Некоторые радикалы, знакомые ее брата, доставили ей знакомство с артистическим кружком, и на его сцене должен был состояться дебют жаждавшей проявить свой талант артистки. Драматический вечер состоялся, сестра Дегаева выступила с большой смелостью, но успеха не имела. Она не обладала красотой, которая могла бы подкупить зрителей, таланта в ней не открыли, а дикцию ее нашли манерной и нехудожественной. Неудача сразу охладила рвение к театру молодой особы, и вскоре после своего провала—иначе нельзя назвать холодность, с которой встретила ее публика—она уехала обратно из Петербурга в Харьков.

Летом 81 г. мне случилось быть в Харькове, и по просьбе матери Дегаева, тогда жившей у замужней дочери, я посетила ее. В этот мой приезд хозяйка дома, которая, к слову сказать, очень мало меня знала, уверяла меня, что в бытность ее в Париже за год или за два до того Петр Лаврович Лавров об'яснялся ей пламенно в любви, но она устояла против всех искушений. Теперь, как и тогда, я считаю этот рассказ старшей сестры Дегаева плодом ее фантазии и любви к романтизму. Мои усилия убедить ее, что она ошибочно приняла какую-нибудь дружескую беседу за об'яснение в любви, не привели ни к чему. Она твердо стояла на том, что П. Л. был без ума в нее влюблен, и, видно, это убеждение доставляло ей большое удовольствие.

Младшую сестру звали Лизой, и она просила радикалов, бывавших в Петербурге в квартире ее брата, называть ее этим уменьшительным именем. В 80 г. это была молодая девушка лет 21—22,

красивой наружности, одетая всегда с претензией на изящество и даже кокетство. Она училась в Петербургской консерватории и, по мнению ее родных, хорошо играла на фортепьяно.

Тотчас после переселения своей семьи в Петербург Сергей Петрович стал настаивать на том, чтобы представители «Народной Воли», которых он знал, сиречь члены Исполнительного Комитета, посетили его с целью познакомиться с его матерью и сестрами. Не желая оскорбить Дегаева отказом, некоторые члены Комитета решили пожертвовать несколькими часами драгоценного времени для скучного и непредставлявшего ни малейшего интереса посещения. После много раз повторенного приглашения Желябов и, кажется, еще кое-кто отправились к Дегаевым. В этот вечер Лиза играла на рояли, но игра ее впечатления на гостей не произвела, и все дело ограничилось лишь несколькими вынужденными с их стороны по адресу Лизы комплиментами.

Так как Дегаев был очень чувствительным к знакам уважения и доверия, оказываемым его семье, то народовольцы и после этого вечера посещали его. Они пользовались его квартирой для маловажных свиданий или для других подобных целей. Старуха мать смотрела очень благосклонно на эти посещения и принимала гостей с неизменным радушием и приветливостью. Что руководило ею при этом? Сама она производила впечатление мало развитой и мало образованной женщины, наружностью напоминавшей чиновницу средней руки или что-нибудь в этом роде. Она знала, что гости ее сына принадлежат к видным революционным деятелям и любила из их уст слышать самые свежие новости из революционного мира, деяниями которого был полон тогда весь Петербург. Ее внезапное увлечение революционным движением было правдиво, иначе она сделалась бы доносчицей, но оно не могло быть глубоким, так как началось со вчерашнего дня.

Тщеславие было свойственно семье Дегаевых, и возможно, что с своей стороны мать лелеяла заманчивые планы будущего. Может быть, ей мерещилось, что когда-нибудь эти смелые люди с выразительными и обаятельными лицами составят счастье горячо любимых детей ее. Впрочем, к чести госпожи Дегаевой надо сказать, что ей не были чужды и вполне человеческие чувства, источником которых являлись непосредственные импульсы сердца. Когда после 1 марта 1881 года она узнала из приговора осужденных, что у Геси Гельфман должен родиться ребенок, она вызвала меня через кого-то и со слезами на глазах просила помочь ей получить этого ребенка на воспитание. Я обещалась сделать все, что будет возможно, но уже тогда выразила сомнение в осуществимости такого проекта. Когда же я посетила почтенную даму в Харькове, я должна была ей сказать, что доброе намерение ее оказалось невыполнимым, так как ребенок Геси Гельфман был увезен из Дома предв. заключ. и сдан в воспитательный дом.

На Елизавете Петровне Дегаевой вполне оправдалось мое мнение о том, что семья эта была обуреваема романтизмом. В день исполнения приговора над первомартовцами она захотела непременно присутствовать при казнях. Остальные члены семьи отказались ей сопутствовать, и она отправилась одна на лобное место Петербурга. Ужасное зрелище вызвало в ней обморочное состояние. Она пошатнулась и упала в предупредительно расставленные подле нее об'ятия «горохового пальто», у которого оказался припасенный пузырек с нашатырным спиртом. Нашатырный спирт и любезность кавалера привели барышню в чувство. Молодой человек предложил ей отвезти ее домой, на что она охотно согласилась. Под'езжая на извозчике к своей квартире, барышня попросила своего спутника зайти к ней, чтобы представиться ее мамаше, которая очень рада будет познакомиться с спасителем ее дочери. Носитель горохового пальто не заставил себя упрашивать и был ласково принят матерью, Сергеем Петровичем же хмуро и недоверчиво. Его пригласили к семейному обеду, за которым он один говорил. Он выдавал себя за служащего в какой-то строительной конторе и уверял, что это учреждение дает хорошие заработки переписчикам его бумаг. Елизавета Петровна с одушевлением стала его просить доставить ей переписку, так как она давно уже ищет работы, желая скопить денег для поступления на высшие женские курсы. Нечего и говорить, что ее желание было более чем быстро исполнено. На другой же день кавалер явился с пачкою бумаг под мышкой и поручил барышне их переписку на весьма выгодных условиях. Его посещения участились и стали обыкновенным явлением в квартире Дегаевых. Беспокойство Сергея Петровича росло, так как его наблюдения над новым знакомым ничего хорошего ему не говорили. Он повидался с Савелием Златопольским, пребывавшим тогда в Петербурге. Златопольский справился в списке шпионов, которым обладал Исполнительный Комитет со времени Клеточникова. В нем значился новый знакомый Дегаевых с именем, отчеством, фамилией и с приметами его привлекательной наружности.

Сергей Петрович просил пришельца прекратить посещение его дома под предлогом, что не желает, чтобы его сестра вела знакомство с молодым человеком, никем ей не рекомендованным.

В 80 г. Владимиру Дегаеву было 19 лет. Он был небольшого роста, с светло-пепельными волосами, с очень бледным лицом, сохранившим, как и симпатичные глаза, почти детское выражение; вследствие этого юноша казался много моложе своих лет. Он учился в морском корпусе, но был удален оттуда за неблагонадежность, после чего поступил на службу в правление какой-то железной дороги, кажется Рязанской. В этом же учреждении занимался, будучи в то же время студентом, и его брат Сергей. Познакомившись через своего брата с революционным движением, он искренно и горячо им увлекся. Из всех Дегаевых, в том числе и Сергея, Володя был

наиболее способен к восприятию идей. В отличие от других членов семьи он мог руководиться ими в своих поступках, не повинуясь скрытым побуждениям тщеславия, любви к чрезвычайному и т. п. Мысль, что началась борьба за освобождение России от самодержавного произвола, что и он может принять участие в этой борьбе, наполнила его детски-чистую душу восторгом, под влиянием которого он был готов на самые большие жертвы. К революционерам, посещавшим его брата, он относился с благоговением. Эти суровые люди, всегда поглощенные делами и сосредоточенные на задачах дня, на минуту забывались в разговоре с ним; его искреннее увлечение вызывало на их лицах дружескую улыбку, и симпатии к юноше зарождались в их сердцах. Мне приходилось слышать от многих наших народовольцев, что у Володи более цельный характер, чем у его брата, что он самый симпатичный из всех Дегаевых.

Погромы начала 81 года положили конец частым сношениям революционеров с С. Дегаевым. Около того же времени Володя попался с прокламациями и был посажен в Дом предварительного заключения. Его арест продолжался уже несколько месяцев, когда однажды знаменитый Судейкин вызвал его к себе на допрос. «Я знаю, что вы мне ничего не скажете,—обратился он к нему,—и не для того я вас позвал, чтобы задавать вам бесполезные вопросы. У меня другая цель относительно вас. Я хочу предложить вам очень выгодные условия. Ваше дело будет прекращено, ваша виновность будет забыта, если вы мне окажете существенную услугу». «Как!—воскликнул с негодованием юноша,—вы хотите из меня сделать шпиона. Кто дал вам право говорить мне подобные вещи?».—кричал он, выходя из себя. Но Судейкин остановил его. Начиналась игра кошки с мышью, столь любимая Судейкиным. «Вы даже не выслушали меня, а уже рассердились,—заметил он, самоуверенно улыбаясь.—Не думайте, что я предназначаю вас на роль шпиона или предателя. Я не решился бы на это из уважения к вашей семье; и по вас вижу, что вы слишком благородны для таких ролей. То, что я вам предлагаю, заключается в следующем: правительство желает мира со всеми, даже с революционерами. Оно готовит широкие реформы. Нужно, чтобы революционеры не препятствовали деятельности правительства. Нужно их сделать безвредными. И помните, ни одного предательства, ни одной выдачи я от вас не потребую». По мере того, как произносилась эта речь, Володя больше и больше задумывался. Клеточников уже был арестован. Весть о его значении для революционной партии распространилась по Петербургу. О ней знала вся радикальная молодежь. Многие юноши мечтали сделаться Клеточниковыми. Этого желал и Володя. Слова Судейкина прозвучали для него откровением. Оказывать неоценимые услуги партии, спасать революционеров от опасности! Какая победа! Какой удар для зверя, которого он видел перед собой! Может быть, судьба именно его, юношу, почти еще мальчика, пред-

назначила для великих дел! И если он примет предложение Судейкина, то только потому, что он всем сердцем желает свободы для своей родины,—потому, что он страстно ожидает наступления царства справедливости и счастья на земле.

Судейкин уже кончил говорить, а Володя молчал, погруженный в свои наивные мечтания. В течение нескольких минут Судейкин мог наслаждаться произведенным им впечатлением.

«Я ничего не могу вам ответить,—опомнился, наконец, Володя,—не подумавши над вашими словами, но и сейчас же скажу вам, что никогда, ни при каких обстоятельствах вы не услышите от меня ни одного имени, не дождетесь ни одного предательства».

«Я вполне в этом уверен, Владимир Петрович»,—воскликнул Судейкин, внезапно превращаясь в джентльмена.

В тот же день Володя был освобожден. Он возвращался домой взволнованный и возбужденный: он торопился узнать мнение старшего брата о предложении Судейкина. Совещания с Сергеем Петровичем повели к тому, что последний отыскал представителя Комитета, из которого только один Савелий Златопольский в то время проживал в Петербурге. Другие члены Комитета находились летом 1881 года или в Москве, или в провинции. Златопольский не отклонил Володю от мысли поступить на службу к Судейкину. Он выяснил юноше всю трудность пути, на который зовет его Судейкин, указывал на возможность того, что его самоотречение останется без всяких результатов для партии и пройдет бесследно, но он не воспротивился решительным образом осуществлению проекта Судейкина, тогда как одного слова было бы достаточно, чтобы удержать юношу от ложного шага. Савелий Златопольский был поглощен идеей залечить рану, нанесенную партии арестом Клеточникова. Но, соглашаясь на услуги Володи, он упускал из виду, что искусственно и скороспело не создаются Клеточниковы, и в особенности не создаются из детей! И что еще важнее, он забывал громадное различие, которое существовало между скрытым контршпионом и таким, который завербован правительством из рядов радикалов. В первом случае, как это и было с Клеточниковым, такое лицо может приобретать все более и более доверия своего начальства, не совершая подлостей. Во втором случае человек будет очень скоро выставлен за дверь, как случилось с Володей, или же он станет предателем в самом мрачном значении этого слова и поможет правительству тащить революционеров на виселицу, как сделал Сергей Дегаев.

Для Володи началась его мнимая служба у Судейкина, а, в сущности, невероятно нелепое и тягостное для бедняги положение. Так как он не давал Судейкину никаких сведений, то в его глазах и не имел никакой цены. Сам он, мечтавший при своем дебюте узнавать очень многое от лиц, окружавших Судейкина, вскоре убедился, что он и видит-то только безмолвного швейцара у под'езда, да жандарма,

который подавал чай в кабинет, где происходили свидания Володи с Судейкиным. Было очевидно, что последний через своего молодого агента желает проследить народовольцев, а, если возможно, то и членов Исполнительного Комитета; поэтому Златопольский никогда не видался с Володей, а посредником между ними был Сергей Дегаев. Кроме скрытых целей, которые имел в виду Судейкин, завязывая сношения с Володей, он открыто ставил требование, чтобы тот сообщал ему о настроениях и новых течениях, с которыми он будет встречаться, а главное, чтобы он сообщал ему, если услышит, о готовящихся террористических актах. Между Судейкиным и Володей произошел однажды такой разговор:

Судейкин: Вы обращаете мое предприятие в шутку, так как ничего не делаете, чтобы оправдать доверие, которое я вам оказал.

Володя: Я совершенно серьезно смотрю на принятые мною перед вами обязательства, но я ничего не знаю, потому что боюсь показаться куда бы то ни было. Ваши агенты выследят тех невинных людей, к которым я пойду, донесут вам на них, и вы их арестуете.

Судейкин: Я дал приказ, чтобы за вами не следили.

О настроении в революционной среде Володя постоянно сообщал, что, насколько ему известно, оно не изменилось, а о террористических актах докладывал, что о них ничего не слышно. Так тянулось дело до начала 82 г.

В январе или в феврале Володя попросил у Судейкина командировку за границу. Предлогом для своей поездки он выставил намерение сблизиться с эмигрантами и заручиться их рекомендациями, с которыми он-де и приедет в Петербург для того, чтобы завязать более тесные сношения с радикальной молодежью. Непременным условием он ставил, чтобы заграничные шпионы ничего не знали о его приезде, иначе он грозил немедленно прервать всякие сношения с Судейкиным. Последний согласился на это условие и сдержал обещание, но Володя мало от этого выиграл. Приезду его в Париж предшествовало письмо Златопольского, в котором тот характеризовал положение молодого Дегаева без утайки, таким, как оно было в действительности. Но когда парижские эмигранты увидали Володю, посланного к ним одновременно и Исполнительным Комитетом, и Судейкиным, увидали юношу, недавно вышедшего из отрочества, то тотчас же отказались иметь с ним какие бы то ни было дела, отказывались даже от дальнейших встреч с ним. Володя вернулся в Петербург не солоно хлебавши. Впрочем, он выехал из-за границы не тотчас после своей неудачи. Во-первых, ее надо было скрыть от Судейкина и потому продолжить пребывание за границей. Во-вторых, одна из причин его поездки состояла в том, что ему надо было передохнуть от той удушливой атмосферы, в которую он попал, и хоть на время избавиться от душившего его кошмара. Он прожил несколько недель за границею, употребляя свой досуг на чтение и самообразование.

Судейкин встретил его довольно сурово. Он заявил ему, что до сих пор не видал результатов от своих стараний извлечь какую-нибудь пользу из деятельности своего молодого агента и от расходов, потраченных на него, что он ему дает еще некоторое время для исправления дурного мнения, которое он составил о его пригодности к «делу», но если образ действия его не изменится, то им придется расстаться. Володя обещал оправдать оказанное ему доверие и совершенные на него расходы. Надо правду сказать: расходы эти были очень незначительны, и их едва хватало на покрытие незатейливых володиных потребностей.

Вскоре после этой начальнической головомойки состоялось знакомство Сергея Дегаева с Судейкиным по инициативе первого из них. Но о свиданиях героев позднейшей драмы я расскажу в своем месте, когда перейду к фактам, относящимся к деятельности Дегаева, теперь же тороплюсь к развязке похождений его младшего брата.

Поведение Володи не могло измениться, и потому в глазах Судейкина он оставался по-старому плохим служащим, которого предстояло уволить не сегодня—завтра. В мае Судейкин призвал его к себе, чтобы дать окончательную отставку. Он излил перед ним всю горечь своего разочарования и в заключение сообщил ему обязательства, которые в дальнейшем на него налагал. Для Володи наступил призывной возраст, и он должен был отбывать воинскую повинность. Судейкин потребовал, чтобы он отправился в один из полков, расположенных в Саратове. «Устройтесь так,—сказал он ему на прощание,—чтобы правительство никогда больше не слышало о вас». Это звучало угрозой, и Володя с'ежился под ее ударом. Этим он доказал, что был, хотя и вполне чистоплотной, но в сущности слабой личностью. Он поторопился сдать юнкерский экзамен и выехал на службу в Саратов. С тех пор он погрузился в неизвестность, и имя его покрыто забвением. Самое первое время у Володи были еще некоторые сношения с проживающим в Саратове нелегальными Франжоли и его женой—Завадской, но с от'ездом их из Саратова всякие связи радикального мира с Володей оборвались совершенно и, кажется, более не возобновлялись.

Желая восстановить, насколько возможно, прошлое Сергея Дегаева, я намеренно долго останавливалась на описании его семьи, так как она составляет ту среду, к которой он сам принадлежал. Семья эта не была ни дурна, ни порочна, но чего абсолютно ей недоставало, это—твердо установившихся принципов и знания тех границ, на которых останавливается чуткая совесть или гордое самоуважение. Она являла собою зыбкую почву и не могла дать русскому революционному движению закаленного борца за свободу; она дала ему человека способного, предприимчивого, деятельного,

но тщеславного, лишь посредственно смелого, принимавшего участие в опасных предприятиях частью из тщеславия и, может быть, также из любви к чрезвычайному, столь свойственной всему семейству Дегаевых. И этот человек, когда очутился в тюрьме и увидал в перспективе для себя каторгу, не выдержал испытания и пал до самых низов той пропасти, где кроются измена, предательство, шпионство.

Таким Дегаев обнаружился впоследствии, в 80 и 81 же годах он неизменно оказывался хорошим работником на разных революционных поприщах и верным сотрудником народовольцев, которые относились к нему с полным доверием, считали его своим человеком и никогда не сомневались в его добропорядочности. Сам Дегаев не был доволен своим положением. В феврале 1881 г. он поручил Х. передать Комитету, что чувствует себя обиженным. Он жаловался на то, что в то время, когда он делает для революционного движения все, что только может, и готов отдать ему все свои силы, Комитет все-таки считает его недостойным стать в его ряды.

Комитет ответил через лицо, передававшее жалобу Дегаева, что очень ценит его услуги, вполне верит в его искренность, безусловно доверяет ему, и, если не вводит его в учреждение, стоящее во главе движения, то только потому, что не находит его достаточно революционным. Если же он желает проявить свое рвение к делу, ему предоставят возможность участвовать в работах по террористическому акту, которые в данный момент ведутся. Дегаев удовлетворился ответом и выразил согласие на предложение Комитета. Его допустили к участию в подкопе на Малой Садовой улице, где минные работы велись только по ночам и, само собой разумеется, представляли большой риск и большую опасность. Этот искус Дегаев прошел благополучно, но положение его не изменилось, и, повидимому, мысль проникнуть в Комитет не оставляла его и по временам тревожила. Предположение мое подтверждается тем, что гораздо позднее, зимой 82 г. (в январе), Дегаев повторил мне свои жалобы. Большие аресты народовольцев уже произошли тогда, и это обстоятельство в глазах Дегаева значительно увеличило его шансы попасть в Комитет.

Я возвращалась однажды с ним по железной дороге из Кронштадта, куда мы ездили по делам военного кружка. Вагон, в который мы поместились, был пустой, никто не мог услышать наш разговор, и Дегаев воспользовался случаем, чтобы излить передо мною свое неудовольствие: он перечислял свои заслуги и рассказывал о своих тщетных усилиях достичь равноправия с заправилами партии. «Отношение Комитета ко мне становится еще более непонятным,— говорил он,—после арестов многих его членов. Не может же Комитет отрицать, что он понес большие потери, так как столько выдающихся людей не могли не принадлежать к его составу».

Не желая поддерживать разговор на эту тему, я выразила Дегаеву соболезнование по поводу его положения и советовала ему настаивать на своем приеме.

Разумеется, при том безлюдии, которое ощущал в то время Комитет, единственным препятствием для принятия Дегаева служило, как и раньше, убеждение, что он не придаст ему силы. Его не признавали самостоятельным носителем революционной идеи, и это мнение Комитета являлось непреодолимой преградой, которую Дегаев встречал на своем пути.

Испытывал ли когда-нибудь Дегаев искушение сделаться предателем ранее, чем он стал им фактически? На этот вопрос вряд ли может ответить кто-либо, кроме него самого. Теоретически мысль его останавливалась на случаях предательства, и он углублялся в их анализ. Я заключила об этом из слов, сказанных им мне незадолго до 1 марта 1881 года, в тот период, когда он работал в подкопе на Малой Садовой.

Мы встретились в посторонней квартире. Поговорив о деле, ради которого мы пришли, Дегаев остался сидеть у стола, за которым мы помещались. У меня было несколько минут свободных, и я не торопилась уйти. Помолчав немного, он сказал, что его очень интересует вопрос, почему в России всегда счастливо доводятся до конца политические заговоры. Не было случая, чтобы у нас заговоры не удавались вследствие доноса, тогда как в других странах судьба политических заговоров была совершенно иная, и чаще всего они разоблачались в самом начале своего возникновения. Меня удивила неожиданность этой темы; все же я, вероятно, никогда не вспомнила бы о тогдашнем разговоре с Дегаевым, если б не произошел позднейший поворот в его жизни. Я ответила ему, что вижу причины удачи политических заговоров в России в том, что они являются народным, а не партийным делом, и тот, кто захотел бы стать изменником революционного предприятия в России, должен бы сделаться, прежде всего, предателем народного освобождения, и это, вероятно, чувствуется всяким, кто был бы способен на донос.

Дегаев согласился с моим мнением, и мы расстались.

Вскоре после 1 марта Дегаев был арестован по пустяшному подозрению или, вернее, потому, что тогда всех арестовывали. Он легко выпутался из беды, доставив неопровержимые доказательства того, что он всецело поглощен легальными занятиями, и у него не остается времени для революционных увлечений. Действительно, он готовился к экзаменам, давал уроки и брал из министерства заказную чертежную работу. Ему удалось также доказать, что его довольно многочисленная семья существовала исключительно на его заработки. Конечно, всего этого было достаточно, чтобы заполнить время всякого заурядного работника; следствие нашло Дегаева вполне благонамеренным, и после нескольких дней он был выпущен.

По окончании экзаменов он получил командировку в Архангельскую губернию для инженерных изысканий.

По дороге в Архангельск он виделся в Москве с некоторыми членами Комитета. Его брат в то время уже начал свою карьеру у Судейкина, и Дегаев говорил об этом в Москве. От членов Комитета ему пришлось выслушать упреки в том, что он не воспротивился службе малолетнего брата своего у Судейкина.

Вообще можно сказать, что остальные члены Комитета порицали Златопольского за его затею с Володей Дегаевым. Они много раз настаивали, чтобы сношения с ним были прекращены, но Златопольский постоянно просил отсрочки для окончания дела, надеясь в конце-концов извлечь из него пользу для партии.

В Архангельске Дегаев женился на тамошней мещанке, не отличавшейся ни образованием, ни нравственным развитием; эта особа, разумеется, не могла способствовать облагораживанию духовного облика своего мужа.

Вернувшись осенью в Петербург, Дегаев продолжал свои занятия в Институте путей сообщения и стал деятельным сотрудником С. Златопольского, все еще остававшегося единственным представителем Комитета в Петербурге. Это был период расцвета революционной военной организации, насчитывавшей в своих рядах много энергичных и выдающихся личностей. Пропаганда велась в разных городах России и шла очень успешно. Молодые офицеры жаждали продолжения деятельности партии «Народная Воля» и готовы были поддержать ее всеми средствами, которыми располагали.

Однако же, силы «Народной Воли» были так надорваны, что о новых предприятиях не могло быть и речи. Приходилось только пополнять кадры революционеров для того момента, когда Комитет почувствует себя опять сильным попрежнему. Этого никогда не случилось.

Февральские аресты в Москве причинили Комитету новые потери.

Осенью 81 г., правда, еще нельзя было предвидеть такого исхода. Общее настроение в Петербурге было бодрое, а успехи военной организации предвещали новые победы в будущем.

Сношения с Кронштадтским военным кружком в это время вплоть до весны 82 г. велись, главным образом, Дегаевым, так как Златопольский не имел возможности часто отлучаться из Петербурга. Он ввел в кружок Дегаева, который знал, таким образом, весь его состав. Некоторые члены кружка были ему знакомы ранее, и он же рекомендовал их Комитету.

Вместе с тем, Сергей Дегаев служил посредником между своим братом и Златопольским, о чем я упоминала раньше (в его отсутствие из Петербурга эта обязанность лежала на другом лице). Впрочем, позднее, и в особенности после того, как он убедился в осторожности Володи, Златопольский иногда лично видался с ним. В таком положении я нашла дела, когда возвратилась в Петербург в начале января 82 г., после более чем полугодовой отлучки.

В марте Златопольский уехал в Москву и был там арестован. Его заменили в Петербурге Грачевский и другое лицо, которые были присланы для усиления Комитета.

На очереди стало дело об убийстве Судейкина. Он успел произвести такое опустошение в рядах Комитета и всей партии, что неизбежно возник вопрос об его устранении, которое становилось условием, при котором только возможно было дальнейшее существование самой партии «Народная Воля». В момент приезда Грачевского в Петербург план убийства еще не был выработан. Одно было ясно, что Володя для этой цели непригоден, и о нем, как об исполнителе, никто даже не подумал. С своей стороны Сергей Дегаев решился лично познакомиться с Судейкиным, о чем он говорил Грачевскому и о чем с ним советовался. Володя должен был сказать Судейкину, что Сергей Петрович сильно стеснен в деньгах и ищет письменной работы, что он поручил спросить у него, Судейкина, не может ли он ему доставить чертежную работу или переписку бумаг.

Оба—Дегаев и Грачевский—рассчитывали на то, что Судейкин примет эту просьбу, как шаг к сближению с ним, и пойдет ему навстречу. Дегаев уже знал, что убийство Судейкина—решенное дело. Он высказал Грачевскому свое мнение о том, что необходимо для партии в видах самосохранения покончить с Судейкиным. Это понимали в то время все, стоявшие близко к делам «Народной Воли» и принимавшие участие в ее судьбе. На слова Дегаева Грачевский ответил, что решение Комитета уже состоялось и что лично он занят приведением этого решения в исполнение. Дегаев не брался за убийство Судейкина, но желал быть полезным при выслеживании Судейкина и надеялся, что его знакомство с ним обнаружит до некоторой степени образ его жизни, привычки, а, может быть, и квартиру.

Но выследить Судейкина было очень трудно. У него оказалась не одна, а множество квартир, разбросанных по всему Петербургу, которые он посещал не в определенные сроки, а когда вздумается. К тому же эти квартиры были очень недолговечны: после 2—3 посещений они бросались, и заводились новые. Ездил он, по преимуществу, в наемных каретах и иногда усаживал в такую карету того человека, который ему нужен был для переговоров.

Расчет Дегаева и Грачевского оправдался. Как только Судейкин узнал о просьбе Сергея Петровича, он выразил желание познакомиться с братом своего молодого агента и обещал помочь ему в его нужде. Свидание было назначено в маленьком деревянном доме, где-то на Песках. Домик имел мезонин, и в нем жила какая-то пожилая женщина. В этом мезонине Дегаеву пришлось дожидаться появления Судейкина. Свидание было непродолжительно и велось с обеих сторон в чисто деловом тоне. Работа была тотчас прислана Сергею Петровичу на дом. Она состояла в перечерчивании набело

планов здания, которое намеревался строить департамент полиции. Если не ошибаюсь, речь шла о казармах для городовых. В планах должны были произойти изменения, и о них-то Судейкин беседовал с Дегаевым [1]. Пока тянулась работа, состоялось еще одно или два свидания. Они не дали никаких результатов для слежки и ни на иоту не подвинули вопроса об убийстве, в виду чего было решено прекратить их под предлогом, что Дегаев начал готовиться к экзаменам.

Вскоре после того Судейкин расстался с Володей, при чем произошла выше мною описаннная сцена.

Сергей Петрович предвидел этот разрыв; он также знал, что после его знакомства с Судейкиным, несомненно, за ним и за членами его семьи будет учрежден полицейский надзор. Поэтому он решился, не ожидая развязки событий, выпроводить свою семью из Петербурга. Сам он также покинул Петербург еще ранее Володи, и так как это случилось в мае, то я думаю, что он не успел покончить с экзаменам.

В ночь на 3 июня, после неудачного или, вернее сказать, несостоявшегося покушения на жизнь Судейкина, были арестованы Грачевский, множество других лиц и я.

От старых народовольцев оставалась Вера Николаевна Фигнер, проживавшая в Харькове. Зная отчаянное положение партии, непоправимость дела в данный момент и опасность, которой подвергалась сама Вера Николаевна, я из тюрьмы умоляла ее уехать за границу и там образовать новый Комитет. Она прислала мне ответ, что не покинет России.

Много лет спустя я о дальнейшей судьбе Дегаева узнала следующее:

Осенью 82 г. он был арестован в Одессе по делу народовольческой типографии. Как только Судейкин узнал об аресте Дегаева, он

---

[1] Содержание своих разговоров с Судейкиным Дегаев каждый раз передавал Грачевскому, и если ему верить на слово, как тогда верили Грачевский и другие народовольцы, то на этих свиданиях шла речь о чертежах, по поводу которых Судейкин делал свои указания. Но в виду финальной деятельности Дегаева, естественно, возникают вопросы: говорил ли он Судейкину то, что передавал потом Грачевскому. Не тогда ли началась его измена.

Мне кажется, в виду полной исповеди, принесенной Дагаевым парижским народовольцам, в которой он не скрыл даже, что выдал членов военной организации, можно допустить, что, определяя местом своего падения Одесскую тюрьму, он сказал правду, и, следовательно, свидания его с Судейкиным весною 82 г. носили именно тот характер, который им придавал Грачевский со слов Дегаева. Лично я виделась с ним в это время довольно часто, слышала его рассказы о свиданиях с Судейкиным и помню, что вид у него был совершенно спокойный; в настроении его видимых перемен не произошло, и вообще решительно ничто не указывало на какое-нибудь внутреннее перерождение, которое могло бы тогда у него произойти.

выехал для самоличного допроса своего старого знакомого. При первом же свидании Судейкин предложил Дегаеву стать предателем своих прежних товарищей и поступить к нему на службу чистосердечно и искренно, а не так, как когда-то сделал его брат. Дегаев попросил свидания с женой, чтобы посоветоваться с нею. Оно состоялось при довольно характерной обстановке. Дегаева ввели в просторную красивую комнату, где находился обильно накрытый стол. Вскоре появилась жена, которая с плачем бросилась ему на шею. Нежных супругов оставили наедине, чтобы они на досуге в приятной обстановке решили кровавый вопрос о предательстве.

Они и решили его. После этого Дегаеву был устроен фальшивый побег. Для прикрытия его понадобилась помощь местных радикалов, и Дегаев обратился с просьбой помочь ему к немолодой уже госпоже X., по доброте сердца принимавшей всегда участие в революционерах. Она доставила ему в тюрьму по способу, им указанному, все необходимое для побега. Местные радикалы были в восторге от энергии, практичности и предприимчивости заключенного. Тотчас же после побега Дегаев отправился в Харьков, где проживала в то время В. Н. Фигнер, явился к ней, представил свой побег, как дело собственной ловкости и находчивости и, конечно, выразил горячее желание стать снова в ряды революционеров. Оснований не верить рассказам Дегаева у В. Н. Фигнер не было никаких, и вот перед Дегаевым открылись двери квартир революционеров, всех сочувствовавших и помогавших им, и, что для него было всего важнее, перед ним открылись все революционные тайны. Его заветная мечта осуществилась: фактически он стал в числе лиц, руководивших революционным движением.

Когда в Харькове все было узнано, и наступило время предать в руки правительства самое Веру Николаевну, Дегаев исполнил и это дело при помощи другого известного предателя Меркулова. «Дело» было устроено так: Дегаев завел с В. Н. Фигнер разговор о возможности ее ареста, на что Вера Николаевна ответила, что ее не арестуют, если только она не встретит как-нибудь Меркулова. Потом Дегаев осведомился у своей собеседницы, в котором часу она выходит из дому и есть ли из квартиры другой выход. Вера Николаевна ответила, что ход из квартиры у нее один, а выходит она ежедневно в 8 ч. утра. 10 февраля 83 года, выходя, по обыкновению, в 8 ч. утра из дому, Вера Николаевна встретилась в трех шагах от своей квартиры лицом к лицу с Меркуловым. Немедленно после этого Вера Николаевна была арестована, будучи в полном убеждении, что это дело рук Меркулова, и лишь в марте или апреле 84 года, при заключении следствия (следовательно, уже после убийства Судейкина, вторичной измены Дегаева и тщетных поисков его правительством), Вере Николаевне была пред'явлена подписанная Дегаевым тетрадь со всеми его выдачами. Тут только в первый раз узнала Вера Николаевна, кто был истинным предателем ее и множе-

ства других лиц. То был Дегаев, Меркулов же играл лишь подсобную роль.

Предавши Веру Николаевну, Дегаев отправился в Петербург и стал там «работать» во-всю. В деле провокации он сделался правой рукой Судейкина. Они сблизились и подружились, как могут дружить лишь два злодея. Тогда-то они выработали совместно обширные планы захвата власти, о которых рассказывается подробно в напечатанной в «Вестнике Народной Воли» статье «В мире мерзости и запустения». Дегаев жил широко на большие средства, отпускавшиеся ему его покровителем. При нем находилась его жена, без любви которой он не мог обходиться.

Подозрения в революционной среде росли, но ни к каким определенным выводам притти было нельзя, так как кругом все было уничтожено и провалено. Люди, имевшие непоколебимые доказательства против Дегаева, были заперты в крепости и отрезаны от всего мира. И он «действовал» на просторе.

Петербургская революционная молодежь, наконец, решилась отыскать предателя во что бы то ни стало. Некоторые лица уже указывали на Дегаева. Было назначено собрание, на котором должен был присутствовать и Дегаев. Чувствуя свою жизнь в опасности, он попросил тогда у Судейкина командировку за границу и выехал с женою в Париж.

Здесь он принес свое пресловутое покаяние. От парижских народовольцев Дегаев не скрыл ничего, вплоть до честолюбивых замыслов, которые развивались им совместно с Судейкиным. Глава русских шпионов при помощи провокации и мнимых террористических актов, которые им во-время открываются и блестящим образом устраняются, намеревался стать министром внутренних дел; Дегаеву же обещал за содействие место товарища министра. На этом мечтания сообщников не останавливались. Посредством систематических запугиваний дельцы надеялись фактически устранить от власти самого императора и править Россией по своему усмотрению.

Немедленно после этих признаний собрался совет нескольких народовольцев, живших в то время в Париже. Было решено даровать Дегаеву жизнь лишь под условием, что он доставит революционерам случай и возможность убить Судейкина. При выполнении этого условия народовольцы обещали вывезти Дегаева целым и невредимым за границу. Он должен был немедленно возвратиться в Петербург и отныне действавать по указаниям некоторых революционеров, которые с тех пор не упускали его из вида.

Жена Дегаева оставалась в Париже, и по его просьбе, в его отсутствие, ей помогли перебраться в Лондон, где она должна была ожидать его приезда. Ее пребывание за границей служило некоторой гарантией, что на этот раз ее муж не изменит принятому на себя обязательству.

Он очутился в тисках, из которых не мог уже вырваться. Вскоре после его возвращения в Петербург убийство Судейкина стало совершившимся фактом.

Лицо, близко знавшее обстоятельства этого дела, утверждает, что во время убийства Дегаев выказал большую трусость. Драма разыгралась в квартире, служившей местом свидания Судейкина с Дегаевым. В роковой вечер Дегаев впустил в нее участников убийства несколько раньше, чем ожидался приход Судейкина. Все они находились в одной из задних комнат, вооруженные ломами. Согласно условию, Дегаев должен был встретить Судейкина у входных дверей и дать ему пройти в комнаты. Но он поступил иначе. Судейкин пришел в сопровождении своего родственника, служившего в охранном отделении. Этот родственник обладал таким же, как и Судейкин, атлетическим телосложением. Дегаев встретил вошедших у входной двери, но затем, когда они у стены вешали свои шинели, он выстрелил Судейкину в спину, что не входило в план действия. Испугавшись собственного выстрела, он бросился вон через входную дверь, которую оставил за собой открытой, сбежал по лестнице и вышел на улицу. Предприятие было спасено только тем обстоятельством, что выстрел, раздавшийся за их спинами, вызвал в Судейкине и его родственнике панический ужас.

Вместо того, чтобы в свою очередь выбежать в открытую наружную дверь и таким образом избегнуть опасности, они опрометью бросились во внутренние комнаты, где их встретили ударами ломов. Один из участников убийства поторопился запереть дверь, оставленную Дегаевым открытой.

Первым свалился родственник Судейкина, впоследствии оживший, так как он был только оглушен; Судейкин был убит в отхожем месте, где искал убежища. Ломы были выбраны орудием убийства в видах того, чтобы выстрелами не привлечь швейцара и соседних жильцов.

Исполнители этого дела благополучно выбрались из дому. В тот же вечер Дегаев был отвезен на Варшавский вокзал человеком, поджидавшим его на улице, и когда русское правительство узнало о том, что убит один из усерднейших его слуг, Дегаев уже под’езжал к западной границе. Безостановочно он проехал в Лондон, и старания правительства отыскать этого двойного изменника остались тщетными.

ЯНВАРСКИЕ, ФЕВРАЛЬСКИЕ И МАРТОВСКИЕ АРЕСТЫ НАРОДОВОЛЬЦЕВ В 1881 ГОДУ [1].

Считаю нужным предпослать моей заметке несколько пояснительных слов. Я не пишу обвинительного акта против Окладского. И если анализ фактов и сопоставление их приводят к заключению о черных преступлениях Окладского, то не я в этом повинна. Не он меня интересовал, когда я в 1923 году собирала материалы для выяснения причин арестов народовольцев. Сами события стояли всегда передо мной, как только-что совершившиеся, и я считала важным и желательным установить подробности роковых провалов.

Недосуг мешал мне заняться этими вопросами, и только теперь я имела возможность записать выводы, к которым привело меня исследование материалов, которые легли в основу моей заметки.

Ключ к отысканию причин январских арестов из среды народовольцев в 1881 году дает известная «Справка о секретном сотруднике департамента полиции, Иване Александровиче Петровском», на самом деле об Иване Федоровиче Окладском [2], так как Петровский есть имя, данное Окладскому департаментом полиции. На первой же странице этой «Справки», найденной в архиве б. департамента полиции, говорится: «Благодаря указаниям и содействию Петровского были обнаружены в 1880 году две конспиративные квартиры в С.-Петербурге, из коих в одной помещалась тайная типография, а в другой изготовлялся динамит»...

То же самое известие изложено в обвинительном акте процесса «20-ти» [3] полицейским слогом, который хорошо помогает скрыть участие Окладского в деле раскрытия обеих квартир. Там говорится: «В конце января 1881 года полицейские розыски обнаружили, что участниками этого сообщества были наняты в Петербурге две так-называемые «конспиративные квартиры», из которых в одной—на Б. Под'яческой ул., д. № 37, кв. № 27, происходило приготовление динамита для задуманного членами сообщества злодеяния, а в другой—на Подольской ул., д. № 11, кв. 21, помещалась тайная типография революционного издания «Народная Воля». При открытии и осмотре означенных квартир оказалось, что они уже оставлены своими жильцами».

Еще более подробное, но и более лживое изложение мы находим в обвинительном акте «17-ти» [4]: «24 января 1881 г., при производстве дознания, возникшего вследствие ареста государственного преступника Александра Михайлова, были получены указания, что в начале 1880 г. «террористы» имели в Петербурге две квартиры, из коих

---

[1] Напечатано в журнале «Суд Идет», 1924, № 8-9-10.
[2] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 223.
[3] «Былое», 1906 г., № 1, стр. 238.
[4] «Былое», 1906 г., № 10, стр. 211.

в одной, помещавшейся в д. № 37 по Бол. Под'яческой ул., приготовлялся динамит, а в другой—в д. № 11 по Подольской ул.—помещалась тайная типография. В первой из этих квартир проживали неизвестные лица под именами Григория Еремеева, Анны Давыдовой и Марии Поликарповой, а во второй—Василий Агаческулов, жена его Надежда Семенова и Евгения Климович... Осмотром домовых книг в вышеупомянутых домах удостоверено, что Еремеев, Давыдова и Поликарпова проживали в доме № 37 по Б. Под'ячевской ул. с 5 января по 15 июня 1880 года, а Агаческулов с женой и Евгенией Климович проживали в д. № 11 по Подольской ул. с 8 мая по 23 июля 1880 г.

Означенные сведения подтвердились в главных своих частях показаниями государственных преступников Исаева, Якимовой и Лебедевой, признавших жительство свое в доме № 37 по Б. Под'яческой улице, и Кибальчича и Терентьевой, удостоверивших факт проживания их в доме № 11 по Подольской улице, первого—под именем Агаческулова, а второй—под именем Климович».

Ссылка на арест А. Михайлова, очевидно, понадобилась для того, чтобы отвлечь внимание заинтересованных лиц от сути дела, которая состояла в ядовитейшем предательстве Окладского. Все же для народовольцев обстоятельства как-будто складывались благоприятно, и они должны были избегнуть опасности провалов, так как квартиры их были очищены гораздо раньше, чем было сделано на них указание Окладского. Из дома № 37 по Б. Под'яческой ул. они выехали 15 июня 1880 года; из дома № 11 по Подольской ул.—23 июля 1880 года. Донос же был сделан 24 января 1881 года или несколькими днями раньше, как мы сейчас увидим. Но обстоятельства сложились иначе. Гибель подстерегала не только отдельных лиц, но существование самой партии было поставлено на карту.

В обвинительном акте «20-ти» народовольцев мы читаем на той же 238 странице [1]: «24 января 1881 года теми же розысками обнаружено, что по Казанской ул., в доме № 38, кв. № 18, проживает неизвестное лицо под тою же фамилиею Агаческулова, под которой был записан жилец вышеупомянутой «конспиративной» квартиры № 21, в доме № 11 по Подольской ул. По задержании этого неизвестного с производством у него обыска, по которому найдены разные противоправительственные издания, он оказался купеческим сыном, Григорием Михайловым Фриденсоном».

Но на Г. М. Фриденсоне успех Окладского не остановился.

25 января на квартире Фриденсона полицейская засада арестовывает Баранникова. Посредством такой же засады на его квартире полиция арестовывает 26 января Колодкевича, а в его квартире 28 января—Клеточникова и 29 января Льва Златопольского. С арестом Баранникова и Колодкевича у партии вырваны были две сильнейшие

---

[1] «Былое», 1906 г., № 1.

ее опоры, а с арестом Н. И. Клеточникова прекратилась безопасность ее существования.

Январские аресты 1881 года могут считаться об'ясненными, и факт, что причина этих арестов заключалась в предательстве Окладского, должен считаться доказанным.

Гораздо труднее выяснить непосредственную причину мартовских арестов 1881 года.

Они начинаются арестом Кибальчича (17 марта), и здесь сразу мы наталкиваемся на обстоятельство, заслуживающее внимания.

Даже в докладах царю как-будто скрывается то место, где был задержан Кибальчич. Лорис-Меликов 20 марта докладывает: [1] «Сегодня утром доставлен из секретного отделения градоначальства задержанный 17 марта на Лиговке известный преступник Кибальчич, сын священника..., приготовлявший взрыв царского поезда под Одессой».

В свою очередь Плеве пишет в докладе Александру III от 21 марта: «В последние дни дознание, не ограничиваясь исследованием обстоятельств к изобличению сына священника Николая Кибальчича, арестованного 17 марта в собственной квартире на Лиговке, д. № 83» [2] и т. д.

По своим личным воспоминаниям, я могу сказать, что непосредственно после ареста Кибальчича в радикальных сферах Петербурга говорили о том, что Кибальчич арестован при выходе из частной библиотеки-читальни Комарова, и, как на причину ареста, указывали на то обстоятельство, что Кибальчич имел обыкновение проводить за чтением газет утренние часы, когда все благонамеренные люди находятся на службе.

Почему следствию понадобилось замаскировать читальню Комарова, станет сейчас ясным для читателей, а пока я прошу их со вниманием читать выписки из делопроизводства, относящегося к 1881 году.

С Кибальчича открывается новая серия арестов. В докладе Плеве от 21 марта говорится: «Вслед за арестом Кибальчича петербургской полицией задержаны были еще два члена социал-революционной партии, из коих назвавший себя Капустиным был арестован в квартире Кибальчича (это М. Ф. Фроленко), а другой, именовавшийся Золотницким (Арончик), навлек подозрение тем, что незадолго до арестования Кибальчича был с ним в Публичной библиотеке» [3].

Эту последнюю ложь нетрудно опровергнуть. Если бы была правда, что за Кибальчичем следили «незадолго до ареста», то его арестовали бы тогда же; с другой стороны, в столь тревожное время, ка-

---

[1] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 41.
[2] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 44.
[3] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 44.

кое наступило после 1 марта, членам «с.-р. партии» было не до посещения Публичной библиотеки.

Кроме того, слишком мало времени прошло от ареста А. М. Зунделевича в Публичной библиотеке, чтобы Кибальчич, да еще вдвоем с Арончиком, отправились туда читать газету.

Совершенно верно, что Арончик навлек на себя подозрение, но не в Публичной библиотеке, а в библиотеке отставного генерал-майора Комарова.

Это доказывается следующими строками, взятыми из доклада градоначальника Баранова Лорис-Меликову в день ареста Григория Исаева, 1 апреля 1881 года. Здесь прямо говорится: «При продолжении розысков по делу Желябова и Кибальчича выяснено было знакомство с последним Золотницкого, уже задержанного, а равно и других подозрительных лиц, появлявшихся в частной библиотеке отставного генерал-майора Комарова» [1].

Из этих канцелярским слогом составленных строк ясно, что Золотницкий (т.-е. Арончик) был так же выслежен через частную библиотеку Комарова, как и другие подозрительные лица, появлявшиеся в ней.

Кстати надо отметить, что «подозрительными» народовольцы казались только полицейским ищейкам, которым приказано было ловить их; вообще же известно, что одевались все народовольцы прилично, хотя очень скромно, а по виду все были молоды и привлекательны.

Далее Баранов докладывает: «Сего числа, при прослеживании за одним из подозрительных лиц, называвшимся, как говорят, Ляминым (где же говорят? Очевидно, в библиотеке, где известны фамилии подписчиков—*А. П.)*, он застигнут был в районе 4 участка Московской части, при встрече и таинственных переговорах на улице с темными личностями. При этом захвачены только-что уволенный из Лесного института сын чиновника, Николай Гомалицкий... и другая личность, не об'явившая при задержании своего имени, при дознании же в секретном отделении оказавшаяся бывшим студентом Хирургической академии, Григорием Исаевым..., который состоит главным участником тайной типографии и в тайной же фабрикации динамита».

И далее: «Паспорт Лямина оказался фальшивым, и личность по этому документу... оказалась бывшим студентом петербургским, Папием Подбельским» [2].

Следовательно, при помощи частной библиотеки арестованы: Кибальчич, Фроленко, Арончик, Подбельский, Гомалицкий, Исаев. Всего 6 чел., из них такие выдающиеся лица и звезды первой величины, как Кибальчич, Фроленко, Исаев. Чем же это было достигнуто? На

---

[1] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 51.
[2] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 51.

этот вопрос мы должны искать ответа в «Справке» департамента полиции, о которой говорено выше. В этом документе перечисляются подвиги предательства Ивана Окладского и говорится, между прочим: «благодаря указаниям и содействию Петровского, были обнаружены в 1881 году личности задержанных после злодейского преступления 1 марта злоумышленников, главным образом, при негласном пред'явлении их Петровскому» [1].

Следовательно, благодаря указаниям и содействию Окладского, были произведены аресты в марте 1881 года и, главным образом, при негласном пред'явлении народовольцев Петровскому, т.-е. Окладскому.

Отсюда ясно, что не департамент полиции ловил народовольцев, и Окладский только удостоверял их личность. Совсем нет, благодаря его указаниям и содействию народовольцы были задержаны, и лучшего места для таких подвигов нельзя было найти, как библиотека-читальня Комарова. Находился ли этот отставной генерал-майор в близком родстве с начальником Петербургского жандармского управления генералом Комаровым—неизвестно. Но что заведение его служило департаменту полиции верой и правдой, в этом нельзя сомневаться. Очень вероятно, что негласное пред'явление происходило именно там, в этой читальне, куда народовольцы охотно шли на приманку большого количества газет и журналов, и в то время, когда они читали, Иван Окладский, спрятанный за дверью или портьерой, впивался глазами в их лица, узнавая прежде известных ему революционных деятелей и предавая их. Существует одно печатное доказательство популярности читальни Комарова среди народовольцев того времени. На суде «20» народовольцев, когда Емельянов вздумал взять назад все свои показания, подтверждавшие его участие в деле 1 марта, ему понадобилось доказать свое алиби утром этого дня во время самого события и доказать, вообще, в каких невинных занятиях он провел весь день 1 марта, он говорит: «С 10 часов утра и до двух часов я пробыл в кабинете для чтения Комарова, куда часто заходил читать газеты и журналы...» и далее: «...отсюда опять пошел в кабинет Комарова прочитать правительственное сообщение...». Емельянов сочиняет, изображая свое времяпрепровождение 1 марта, но из его слов ясно, что он бывал в читальне Комарова и чувствовал себя в ней, как дома. Его тоже откуда-то проследили, может быть, из того же самого места, как Кибальчича и других.

Между январскими и мартовскими арестами были еще и февральские и какие: 27 февраля арестован А. И. Желябов, один из вожаков и вдохновителей партии, при посещении им Тригони. Можно думать, что именно Окладский навел департамент полиции на след Тригони и, таким образом, вызвал арест Желябова.

---

[1] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 223.

Дело в том, что Окладский еще в ноябре 1880 года вступил на путь «откровенных признаний», что значит на полицейском жаргоне: назвал всех лиц, ему знакомых в среде революционеров. В Одессе он был знаком с Тригони, следовательно, он также указал на него, а когда тот приехал в Петербург, за ним стали следить, потом арестовали и у него взяли Желябова. Все это подтверждается докладом Лорис-Меликова царю от 28 февраля[1], где упоминается имя Окладского и говорится: «которого я снова приказал доставить ко мне из крепости».

Месяцем раньше (28 января) арестован Тетерка в роли извозчика. Весьма возможно, что и он пострадал от общего поветрия, был узнан на улице Окладским, который был с ним знаком, и донес на него департаменту полиции. Через один месяц, 27 февраля, Меркулов зашел навестить Тетерку и был арестован.

О „ВОЛЬНОМ СЛОВЕ“ И О РОЛИ В НЕМ МАЛЬШИНСКОГО[2].

В «Русской Мысли» за 1912 год напечатана интересная статья Б. А. Кистяковского «Орган Земского Союза «Вольное Слово» и легенда о нем». Как и в прежней работе г. Кистяковского «Страницы прошлого», цель автора—восстановить образ М. П. Драгоманова чистым от всякого двусмысленного сообщества с агентурой III отделения. Это желание понятно. М. П. Драгоманов был идейным вожаком части населения России, и важно, чтобы о нем сохранилась память, как о цельной, крупной и выдающейся личности, каким он был на самом деле. В этом, без сомнения, г. Кистяковский успел убедить своих читателей, и ни у кого из них, конечно, не явится желание подвергать сомнению личные нравственные качества Драгоманова.

Но когда речь заходит о газете «Вольное Слово», которую, с момента ее основания, г. Кистяковский стремится озарить светом полной невинности и кристалльной честности, то я чувствую себя вынужденной возразить автору и сказать, что в данном случае г. Богучарский, несмотря на часто неправильные приемы пользования историческим материалом, ближе подошел к действительности.

Г. Кистяковский приводит примеры нападок на «Вольное Слово», которые признает несправедливыми со стороны заграничной радикальной прессы. Обвинения ставились в упор. Говорили, что «Вольное Слово» «возникло по инициативе графа Игнатьева (министра), что в редакции газеты находится шпион Мальшинский,

---

[1] «Былое», 1918 г., № 4—5, стр. 17.
[2] «Русское Богатство», 1913 г., № 3.

который служит в III отделении и составил проект завести журнал, в котором под маской либерализма он скомпрометировал бы честную прессу и, вместе с тем, завел бы в редакции ловушку и шпионскую агенцию»[1].

Выдвигались и другие «обвинения», между прочим, и в том, что «в борьбе против революционеров «Вольное Слово» проявляет гораздо более энергии, чем в борьбе против правительства» и т. д.

Откуда же ожесточение целого «движения» (выражение г. Кистяковского) против «Вольного Слова»? Почему его клеймили так беспощадно? Г. Кистяковский видит единственную причину этой борьбы против «Вольного Слова» в том, что «оно было конституционным, а не социалистическим и революционным в узком смысле органом; борьба вызывалась выступлениями «Вольного Слова» против террора, который признавался «Вольным Словом» вредным для установления политической свободы в России» (стр. 24).

Утверждая, что радикальная пресса того времени способна была об'явить правительственным агентом и шпионом всякого, кто не согласен с нею во мнениях или подвергает критике приемы и взгляды революционеров, г. Кистяковский дает неверную оценку этой прессы; между прочим, он упускает из виду, что сама «Народная Воля» боролась за политическую свободу и подготовляла умы к восприятию идеи представительного образа правления. Отстаивания каким-нибудь органом печати конституционного строя было бы недостаточно, чтобы радикальные газеты об'явили его орудием правительства, а основателя его—шпионом. Против террора ратовали также чернопередельцы, тем не менее, народовольцы не переставали смотреть на них, как на товарищей. К тому же г. Кистяковский и сам признает, что подозрения против «Вольного Слова» начали высказываться, как только оно стало выходить (стр. 9). Следовательно, раньше, чем оно успело особенно проявить себя на почве борьбы с террором или защиты конституции в России.

Должна была, очевидно, существовать другая, более конкретная причина недовольства «Вольным Словом».

О ней я и хочу сказать несколько слов на основании моих воспоминаний. В 1880 году, именно в первой его половине, в одном из заседаний Исполнительного Комитета А. Д. Михайлов сделал доклад на основании сведений, полученных от Клеточникова, что министерство внутренних дел при помощи III отделения выработало проект основания в Женеве газеты для борьбы с революционерами. Этот орган должен был держаться строго конституционного направления, а главной задачей его являлась борьба с террором. Для осуществления плана в Женеву командировался агент III отделения, фамилия которого называлась, но которую я не припомню.

---

[1] Календарь «Народной Воли» на 1883 г., стр. 170.

Несколько позднее, но все еще в 1880 году, Клеточников сообщал, что название правительственного органа в Женеве будет «Вольное Слово», и что лицо, посланное для издания газеты, ведет переговоры с М. П. Драгомановым, приглашая его стать главным сотрудником, а, может быть, и редактором проектируемого органа.

Тотчас после этого сообщения Комитетом было отправлено письмо Драгоманову с предупреждением о том, что «Вольное Слово» будет правительственным органом, который основывается с целью бороться с революционным движением, и что Комитет узнал о переговорах, которые с ним, Драгомановым, ведутся из того же источника, из которого было узнано о роли и значении «Вольного Слова». Предполагалось, что это последнее обстоятельство послужит в глазах Драгоманова доказательством верности сообщения Комитета. Одновременно было отправлено письмо к П. Л. Лаврову с тем же извещением; ему сообщалось также о письме к Драгоманову.

От последнего был получен ответ, что Комитет волен безусловно верить в точность получаемых им сведений. Но, с своей стороны, он, Драгоманов, не придает им никакой цены и признает за собой право действовать по собственному усмотрению. Этот ответ произвел тягостное впечатление в Комитете, который не мог не видеть, что, вступая в сообщество с агентом III отделения, Драгоманов подвергает свою репутацию громадному риску; с другой стороны, члены Комитета считали нежелательным, чтобы человек с талантом и влиянием на некоторую часть публики, конституционно настроенную, содействовал известным «видам правительства». Тем не менее, взгляд Комитета на М. П. Драгоманова не изменился. Его отказ приписали недоверию к революционерам вообще, отчасти природному упрямству, а, может быть, и страстному желанию иметь в своем распоряжении орган прессы для развития своих взглядов.

Была сделана еще одна и последняя попытка воздействовать на Драгоманова через П. Л. Лаврова, которая осталась также безрезультатной, и затем дело было предоставлено собственному течению.

Таким образом, сообщения Клеточникова и оповещения о них, исходившие от Комитета, служили первоисточником тех взглядов на «Вольное Слово», которые установились в эмигрантской среде еще ранее, чем газета стала выходить в свет.

Не могу также обойти молчанием вопроса о г. Мальшинском. Я уже сказала, что не помню фамилии, которую назвал Клеточников, но по данным, почерпнутым исключительно из статьи г. Кистяковского «Орган Земского Союза», можно сделать заключение, что лицо, о котором говорил Клеточников, как об агенте III отделения, посланном в Женеву для основания газеты на казенные деньги, был не кто иной, как Мальшинский.

Присмотримся поближе к защите его г. Кистяковским. В резких отзывах Мальшинского на страницах «Вольного Слова» о «Священ-

ной Дружине» г. Кистяковский видит доказательство невинности Мальшинского. «Если б сам он принадлежал к членам «Священной Дружины», то в ругани по адресу этой же «Священной Дружины» пришлось бы видеть своего рода садизм», говорит г. Кистяковский (стр. 42). Мне кажется, что этот взгляд не совсем верен.

III отделение, к чиновникам которого, по всем вероятиям, принадлежал Мальшинский, вовсе не было однородно с «Священною Дружиною». Поэтому в попреках Мальшинского по адресу последней не было ничего удивительного. Известно, что III отделение относилось неодобрительно ко всякого рода лигам, в том числе и к «Священной Дружине». Происходила своего рода конкуренция профессионалов с диллетантами.

Перечитывая полемические и даже ругательные выдержки, которые г. Кистяковский делает из статей Мальшинского по адресу «Священной Дружины», выносишь впечатление, как-будто сведения Мальшинского получались им непосредственно из их источника. Словечки, употребляемые им, в роде: «спустить с административной лестницы», «флигель-ад'ютанта оставить без обеда» и многие другие в том же вкусе еще носят на себе аромат почвы, зародившей их. Когда читаешь выписки, пестрящие выражениями, которые г. Кистяковский определяет словом «ругань», то нельзя отделаться от впечатления, что на страницах «Вольного Слова» кто-то сводил счеты с личными недругами из «Священной Дружины». Если у Мальшинского хватило смелости в своих порицаниях «Священной Дружины» ставить ей в пример декабристов (стр. 40), то это еще ничего не значит. Почему не сделать ссылку на «Союз Благоденствия», которая ровно никого не соблазнит, а самого автора должна прикрасить в глазах его противников?

Г. Кистяковский находит аргумент для защиты Мальшинского в том, что «Народная Воля» в статье в № 4 (от 5 дек. 1880 г.) не называет Мальшинского шпионом (стр. 28). В этой статье идет речь о книге Мальшинского, составленной по материалам III отделения, и автор ее назван по фамилии. Разве этого недостаточно для определения Мальшинского? К секретным архивам допускаются близкие, а не дальние люди, и автор статьи в «Народной Воле», вероятно, считал излишним ставить точки над и.

Сам Мальшинский рассказывает по цитате г. Кистяковского (стр. 30), что, «когда начали возникать обвинения против него, он на одном из редакционных собраний «Вольного Слова», состоявшем из десяти человек, среди которых был и Аксельрод, сообщил, при каких обстоятельствах он составил свой «Обзор», а именно, что последний был составлен не для полицейских целей, а для императора Александра II, что в период его подготовки Мальшинский не состоял на службе в III отделении, а только работал в его архиве, что выводы его работы вообще неблагоприятны для правительства и что она подверглась строжайшему запрещению».

Сомнительно, чтобы Мальшинский изготовлял свой «Обзор» именно для императора Александра II. Ему была поручена работа, и он исполнял ее, а что позднее с ней будет, его не касалось, и он не мог влиять на дальнейшую судьбу своего произведения. То обстоятельство, что выводы «Обзора» неблагоприятны для правительства, не обеляет Мальшинского.

Единственный вывод, какой можно отсюда сделать, — тот, что Мальшинский не фальсифицировал данные, почерпнутые им из архива III отделения, но на это самостоятельно не решается ни один подчиненный чиновник. Вывод зависел уже не от Мальшинского. «Народная Воля» так определяет этот вывод: «Мальшинский констатирует факт, что социально-революционное движение составляет у нас не извне навеянное, а совершенно самостоятельное, вытекающее из условий жизни явление» (стр. 28). Это мнение «Народной Воли» основывалось на том, что из данных «Обзора» стало ясно, что большинство лиц, привлекавшихся по политическим делам, были крестьянского или духовного звания или же принадлежали к разночинцам. За редкими исключениями привлекавшиеся были православного вероисповедания и русского происхождения. Но, ведь, это просто факты жизни, и их сообщение на основании непосредственных данных не может быть поставлено в какую-то идейную заслугу Мальшинскому.

Знакомство с Бакуниным и Огаревым вряд ли также может служить аттестатом политической благонадежности для него, как предполагает г. Кистяковский на стр. 29. У обоих эмигрантов за границей, конечно, были обширные знакомства, но ручаться за доброкачественность каждого из них они не могли, даже в тех случаях, когда Огарев выпивал с новым знакомым, как это было с Мальшинским (заметка на стр. 29).

На той же 29 странице г. Кистяковский находит благоприятное для Мальшинского обстоятельство в том, что П. Л. Лавров, отказавшись принять участие в «Вольном Слове», тем не менее, рекомендовал Мальшинскому П. Б. Аксельрода в качестве сотрудника для его газеты. Узнаем мы об этом из письма М. П. Драгоманова. Но естественно предположить, что Мальшинский, желая скрыть от последнего отрицательный результат своих переговоров с Лавровым, уверил М. П. Драгоманова в том, что Петр Лаврович рекомендовал ему П. Б. Аксельрода. Доказать это или опровергнуть за смертью Лаврова невозможно.

Таким образом, на мой взгляд, г. Кистяковскому не удается защитить Мальшинского. Наоборот, трех фактов, приведенных им из биографии Мальшинского, достаточно, чтобы роль Мальшинского выступила в истинном свете. Он работает в архиве III отделения. Он издает за границей «Вольное Слово», конституционный орган, в котором ведет борьбу с террористами, т.-е. делает как-раз то, о чем заранее предупреждал Клеточников. Наконец, в 1883 году, когда

«Народная Воля» доживала свои последние дни, «Вольное Слово» прекращается, и его основатель и первый редактор едет в Россию. Он живет там [1] беспрепятственно, несмотря на свою близость к Драгоманову и на конституционное направление своей газеты, и затем становится, по определению г. Кистяковского, *«реакционным журналистом»*.

Все эти факты получают свое об'яснение, если допустить, что Мальшинский и есть то лицо, которое назвал Клеточников. Он был чиновником III отделения; был послан за границу для издания «Вольного Слова», издавал его, а когда миновала надобность и его командировка кончилась,—он вернулся в Россию и продолжал свою службу в качестве «реакционного журналиста».

Г. Кистяковский предполагает, что реакционным он сделался par dépit, рассердившись на революционеров. Но за что же он так рассердился? Он сам выступал против революционеров, поносил их, называл их «бычьими натурами», «уголовными преступниками» и пр. Что бы мы сказали, если б с досады на Мальшинского кто-нибудь из радикалов того времени сделался, ну, хоть «конституционалистом»?

---

[1] В Петербурге, в Эртелевом переулке, по моим сведениям.

VII. Критические статьи.

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ БОГУЧАРСКОГО «ИЗ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ» [1].

Статьи, печатавшиеся Богучарским в «Русск. Мысли» за 1910 и 1911 г.г., ныне появились новым изданием в виде отдельной книги. Нельзя не приветствовать идею составления связной истории партии «Народная Воля», каковой по замыслу является произведение Богучарского. Многое в нем для читателя будет новым, многого он ранее не встречал в русской литературе. Но все ли сведения о «Народной Воле», которые почерпнет читатель из книги Богучарского, будут верны? На этот вопрос и должны ответить настоящие «заметки».

Книга Богучарского не вполне удовлетворяет требованиям связного изложения: порою разнообразный и несведенный к единству материал лишь внешним образом пригнан так, чтобы составилась книга; как-будто в портфеле автора накопилось много данных, и ему захотелось из разрозненных элементов построить нечто цельное раньше, чем они естественно и свободно уложились в единую систему. Во многих местах книги приводятся выписки из весьма разнообразных источников, при чем ссылка на них вовсе не требуется ходом изложения и не необходима в смысле доказательств, а, наоборот, об'яснения автора следуют за цитатами и приноравливаются к ним; отсюда и разбросанность, и нередкие повторения.

До сих пор книга Богучарского вызвала один подробный критический разбор: я говорю о недавно появившейся в свет брошюре Кистяковского «Страницы прошлого». По своим взглядам на общественные и политические вопросы Кистяковский очень близок к П. Б. Струве и его «Вехам», следовательно, стоит еще гораздо дальше от «Народной Воли», чем Богучарский. И уверения Богучарского в об'ективизме и беспристрастии, которых он старался держаться, не спасли его от упрека Кистяковского в том, что его приговор относительно членов Исполнительного Комитета партии «Народная Воля» слишком снисходителен. Кистяковский даже допускает, что у автора книги «Из истории политической борьбы» есть «особые причины для умалчивания о некоторых обстоятельствах, касающихся

---

[1] Напечатано в журнале «Заветы», 1912 г., № 8.

исследуемого им общественного движения» («Страницы прошлого», стр. 109).

Такому упреку, разумеется, можно только подивиться.

Свою точку зрения Богучарский определяет словами: «Прежде, чем выйти окончательно на новую дорогу, а это случилось лишь через много лет,—мысль русских революционеров должна была пройти еще через один крайне неверный, ненормальный метод действий,—через террор» (стр. 11).

В предисловии к своей книге Богучарский приводит слова историка немецкой социал-демократической партии Меринга, который рекомендует революционной «рабочей партии» беспрестанную самокритику. Не нам возражать против этого. Но самокритика имеет место лишь там, где критикующие считают себя продолжателями и идейными наследниками тех, кого критикуют, а не порывают нити преемственности. Иначе приходится говорить уже не о самокритике, а о критике «со стороны». Критика же «со стороны» гораздо чаще, чем самокритика, грешит непониманием психологии критикуемого или же забвением условий времени. Последнее обнаруживается и на примере Богучарского хотя бы, когда он упрекает «Народную Волю» за то, что она не облекла в четырехчленную формулу требования всеобщего избирательного права (стр. 460), как-будто ныне традиционная «четыреххвостка» была такой же традиционной и тогда, или как-будто есть возможность заподозрить, не предпочитала ли «Народная Воля» открытое голосование закрытому, множественность вотумов—формуле «одному человеку один голос», или многостепенные выборы—прямым! Или, когда он упрекает ее в том, что она не издала важных государственных документов (стр. 214), как если б «Народная Воля» была ученой комиссией, обязанной издавать исторические труды.

Само собой разумеется, что вовсе нежелательно, чтобы в печати раздавались одни хвалы по адресу «Народной Воли» и о слабых местах и ошибках ее умалчивалось. Они были. И было бы странно, если б их не было у только-что народившейся первой социально-политической партии в России. Но в высшей степени важно, чтобы слабые места и ошибки отыскивались там, где они действительно находились; чтобы они не освещались односторонне в ущерб лучшим сторонам движения, оставляемым в унылом мраке забвения и невнимания.

Уже Кистяковский в своей брошюре отметил, что в подзаголовке книги Богучарского стоит—«Партия «Народной Воли», ее происхождение, судьба и гибель»; а между тем, вместо партии «Народная Воля» почти везде идет речь лишь о стоявшем во главе ее центральном тайном обществе—Исполнительном Комитете. На стр. 41 и следующих Богучарский перечисляет всех членов Исполнительного Комитета, входивших в его состав в течение 6 лет, и убеждается,

что их было 44 человека. Затем восклицает: «Вот были те силы, с которыми имело дело всемогущее правительство на протяжении целых шести лет—с 1879 по 1885 год». Но по народовольческим процессам судилось в одном Петербурге около 100 человек, не считая процессов в Одессе, в Киеве, Саратове и других городах. Административно-ссыльные народовольцы наполнили Якутск, улусы и городки Якутской области до Нижне-Колымска включительно, города Иркутской губернии, Забайкальской области, Западной Сибири.

О количестве народовольцев можно получить представление также иным путем, не прибегая к перечислению ссыльных в разных местах Сибири. Помимо интенсивной работы в Петербурге, партия основала во многих губернских городах местные комитеты, которые подготовляли молодежь к революционной деятельности, знакомились с рабочими и организовывали их в кружки, распространяли литературу, собирали средства для Исполнительного Комитета и оказывали ему много существенных услуг. Московская организация сыграла особенно большую роль тем, что открыла у себя типографию вскоре после провала типографии в Саперном переулке; и вторую, гораздо большую, летом 1881 г. после провала типографии на Подольской улице. История обеих типографий очень интересна и полна драматизма.

Для всякого непредубежденного человека должно быть понятно, что деятельность Исполнительного Комитета не смогла бы развернуться в столице в той мере, как это имело место, не встреть Комитет сочувствия и поддержки в окружающей среде.

Но Богучарский на многих страницах не устает доказывать, что у Исполнительного Комитета не было ни приверженцев, ни связей, ни знакомств. Была только горсточка людей, которой очень испугалось—и совершенно напрасно—русское правительство. И даже эта горсточка немногого стоила. Один Желябов отвечал за всех и, действительно, обладал необычайной энергией.

Так, или приблизительно так, рисует положение вещей Богучарский. Посмотрим, как он оперирует доказательствами и откуда он их черпает. Утверждение о полной изолированности «Народной Воли», т.-е. Исполнительного Комитета, по терминологии Богучарского, построено на том, что у него не было никаких денежных средств (стр. 238 и следующие). Это-то положение требовалось доказать, и Богучарский сделал это весьма быстро. У него была одна исходная цифра. При разделении народников и зарождении «Народной Воли» молодая партия получила в приданое 2.500 руб.—Н. А. Морозов, по словам Богучарского, находит эту сумму преувеличенной. Но допустим, как это делает сам автор, что это было 2.500 руб. Где же указания на дальнейшие доходы «Народной Воли»? Богучарскому и не нужно много данных; он пользуется теми, какие есть. В №№ газеты «Народная Воля» и в листках ее печатались небольшие отчеты денежных поступлений. Богучарский подводит им итоги,

и оказывается, что всего получено с 4 октября 1879 г. по 20 августа 1880 г. (вместе с 2.500 руб.) около 7.500 рублей. Сумма эта делится на число членов Комитета, и получается на каждого из них в месяц «нищенская сумма», по его выражению, в 40 рублей.

Так как очень трудно понять, как мог Исполнительный Комитет существовать и делать дела, наводившие панику на правительство, обладая всего-на-всего несколькими рублями, то Богучарский на этот раз готов признать высокие качества членов Комитета и говорит: «эти качества заменяли им и силы, и средства, и связи» (стр. 243). А все-таки интересно знать, как «высокими качествами» оплачиваются счета гостиниц, домохозяев, магазинов и проч., и проч.?

Однако, кем и где сказано, что доход партии, действительно, был таков, как об'являет Богучарский? Разумеется, этого никто не говорил, потому что ничего подобного не было. *В печатные отчеты попадали только небольшие суммы,* которые передавались неизвестными людьми таким лицам, которые имели связи с Исполнительным Комитетом. В этих случаях существовал только один способ уведомить, что взносы получены, это—печатание о них в официальном органе партии. Крупные пожертвования, доходившие до десяти и более тысяч, передавались по личному доверию кому-нибудь из членов Комитета. Печатать о них было излишне и могло быть опасно. Существование партии и ее деятельность служили лучшим доказательством, что суммы употреблялись по назначению. Немыслимо допустить, чтобы тайное общество в тогдашних исторических условиях имело гласный бюджет. Для любопытных людей такой бюджет, может быть, представляет интерес, но для партии он был бы вреден, и потому, когда однажды в Комитете возник вопрос о печатании отчета полученных и израсходованных сумм, он тотчас был решен в отрицательном смысле.

Большие суммы никогда не хранились на конспиративных квартирах, а отдавались на хранение друзьям партии, которые выдавали их по требованию Исполнительного Комитета. Некоторые цифры бюджета сохранились в моей памяти. Расход Исполнительного Комитета с октября 1879 г. до конца 1880 г. составил несколько больше 60 тысяч. Летом того же года были привезены из поездки на юг России Ал. Дм. Михайловым около 12.000 р., которые были употреблены частью на основание новой большой типографии на Подольской улице.

В день 1 марта, рано поутру, некоторые семьи вручали торопливо денежные суммы посланным от Исполнительного Комитета в том предположении, что в этот день некоторым лицам придется спешно покинуть столицу. После 1 марта и от'езда из Петербурга всех членов Комитета, кроме Савелия Златопольского и N, в партийную кассу поступило несколько раз по 1.000 руб. Златопольский или N являлись по приглашению неизвестных им жертвователей и, встретившись с хозяином или хозяйкой квартиры, произносили пароль,

который был установлен для данного случая лицом, служившим посредником между жертвователями и пришедшими. Деньги вручались с радостным, немного торжественным видом, какой бывает у людей, исполняющих гражданский долг. Часть этих денег была израсходована в апреле и мае того же года на отправку в провинцию многих лиц, снабженных партийной литературой.

Как же в действительности решается вопрос, был ли Комитет богат или беден? У него, как мы сейчас видели, бывали крупные получки, и без них никакая сколько-нибудь заметная революционная деятельность была бы невозможна. Но они были сравнительно редки. Потребности же в деньгах на партийные расходы были так велики, что деньги быстро таяли. «Без денег нельзя создать революцию,— говорил много раз Тихомиров, теперешний[1] редактор «Московских Ведомостей»; — если б у нас было в руках $1\frac{1}{2}$ миллиона рублей, революция была бы обеспечена. Даже Наполеон не мог совершить своих походов без громадных сумм. И когда у него нехватало золота, он печатал бумажки».—«Уже не собираешься ли ты, старик, печатать фальшивые деньги по примеру Наполеона?» — спросил его как-то шутя Ал. Дм. Михайлов, который услыхал последние слова Тихомирова. «Нет,—ответил последний, смеясь,—до этого я еще не дошел, но если б нам представилась возможность экспроприации казенных денег, я думаю, никто из нас не отказался бы воспользоваться ею».

Чаще всего средства, которыми располагал Комитет, бывали незначительны и, во всяком случае, по размерам гораздо ниже его планов и предположений. При расходовании сумм—качества членов Комитета, конечно, имели *свое* значение. Благодаря величайшей экономии и самоотверженному стоицизму народовольцев, значение и ценность денежных сумм в несколько раз увеличивались. Часто на собраниях Комитета устанавливались очереди расходам, изобретались остроумные меры, которые сокращали расходы. Несмотря на все это, безденежье неожиданно стучалось в двери конспиративных квартир и переступало их пороги.

Но вернемся к Богучарскому. После сокращения бюджета Исполнительного Комитета до баснословной цифры с целью убедить своих читателей в полной изолированности Комитета от всего внешнего мира, ему уже не стоило ровно никакого труда сократить деятельность Комитета. Притом же он, повидимому, упускает из виду, что «Народная Воля» была революционная партия, которая добивалась политической свободы и представительного образа правления, оставаясь вполне социалистической. Забывая об этом главном смысле существования «Народной Воли», Богучарский отмечает, например, отсутствие связей ее в высшем обществе Петербурга. Как-будто могли быть общие интересы у революционно-демократической партии,

---

[1] Статья писалась в 1912 г.

да еще социалистической, с себялюбивым, избалованным слоем столичного населения.

Богучарский вспоминает литературные связи «Народной Воли» и находит их крайне недостаточными. Но «Народная Воля» не была литературным обществом, никаких специально литературных целей не преследовала, и само писательство являлось для нее второстепенной и подчиненной отраслью деятельности. Ее издания служили целям пропаганды, агитации и воздействия на так-называемое общество и на трудовой народ. В этих видах ее связи с литературным миром не могут считаться незначительными и недостаточными. То же надо сказать о помощи со стороны специалистов в различных отраслях знания. У партии было несколько близких юристов, советы и знания которых всегда находились к услугам партии, были химики, проверявшие опыты Кибальчича и Исаева.

Этим я не хочу сказать, что большего для развития народовольческой литературы желать нечего, что связей было совершенно достаточно. Я только подчеркиваю, что партия «Народная Воля» не чувствовала себя младенчески беспомощной и не стояла одиноко посреди Петербурга. Если б это было так, она была бы вынуждена ограничиться одними пожеланиями, исчезла бы бесследно, и Богучарский не писал бы ее историю. Оценивая развитие «Народной Воли», размах, который получили ее издания, ее рабочие организации и все прочие отрасли ее деятельности, надо принимать во внимание, что возникла она в октябре 1879 года, а была подсечена уже в начале 1881 года, и тогда получается другое впечатление и другие выводы, чем те, к которым пришел Богучарский.

Лишив Исполнительный Комитет всякой силы и поддержки извне, Богучарский стремится доканать его фактом, который он считает «невероятным» и который заключается в том, что 1 марта 1881 года у Исполнительного Комитета была лишь одна квартира для собраний. Автор делает из этого обстоятельства вывод, что у Комитета не было знакомых, которые согласились бы уступить ему помещение для совещаний. Но дело в том, что Комитет собирался только на своих собственных квартирах. Это правило было постановлено в 1880 году и никогда не нарушалось. Открытием новой квартиры опоздали, потому что денежные средства и внимание Комитета были отвлечены. Тем не менее, все предварительные шаги для устройства новой квартиры были сделаны. Назначили хозяев, снабдили их соответственным видом на жительство, его прописали и проч., и 4 или 5 марта начала функционировать новая квартира для комитетских заседаний.

К разряду таких же фактов, которые рисуют изолированность Исполнительного Комитета, Богучарский относит безвыходное положение, в котором очутилась Т. Ив. Лебедева на улицах Петербурга летом 1881 года, о чем писала в своих воспоминаниях О. С. Любатович. Надо заметить, что у Богучарского ошибочно сказано, что из членов Исполнительного Комитета находились тогда в Петер-

бурге — О. С. Любатович, Тихомиров и Татьяна Ивановна Лебедева (стр. 241). Тихомиров здесь назван неправильно. Он жил тогда в Москве. В Петербурге же был только Савелий Златопольский. Что касается О. С. Любатович, то она не состояла в Исполнительном Комитете со времени своего выезда за границу.

Обстоятельства, сопровождавшие последние месяцы жизни на воле Татьяны Ивановны Лебедевой, таковы. Она выехала из Петербурга вслед за арестом М. Ф. Фроленко, и так как ее здоровье было сильно расшатано, то товарищи уговорили ее ехать на Кавказ. Но недолго вынесла Татьяна Ивановна образ жизни больной. Она тосковала вдали от всего, что было ей дорого, и вернулась в Москву. Денежные средства ее истощились, и я не знаю, успела ли она их пополнить, потому что вскоре по прибытии она встретила ехавшего на извозчике жандармского ротмистра, который знал ее в лицо и тотчас поехал за ней. С тех пор началась погоня за Татьяной Ивановной. Со слабой надеждой на спасение она уехала в Петербург; но преследование продолжалось и здесь. Силы покидали ее, и роковая развязка быстро приближалась. Правда, что в Петербурге летом 1881 года мало осталось народовольцев, но даже если б были конспиративные квартиры, Татьяна Ивановна не воспользовалась бы ими, преследуемая по пятам шпионами. При выдержанности ее характера и ее преданности революционному делу она предпочла бы скорее погибнуть, чем провалить партийные квартиры, но точно так же она не подвергла бы опасности квартиры партийных друзей и сочувствующих.

Один из неудачных приемов Богучарского в изложении исторических фактов проявился в том месте его книги, где говорится о Клеточникове (стр. 218). Повидимому, у автора не было никаких материалов для характеристики Клеточникова, а хотелось использовать обвинительный акт по процессу «20-ти». Он и перепечатал из него все касающееся Клеточникова. Собственно говоря, против этого ничего нельзя иметь. Обвинительный акт до известной степени есть исторический документ, поскольку он устанавливает неопровержимые даты и факты; но это не история, так как весьма часто обвинительные акты очень далеки от истины. Об этом не мешало бы напомнить читателям, не посвященным во все тайны печатного слова и легко могущим принять все напечатанное на 3½ страницах за подлинную биографию Клеточникова. В действительности это только материал, добытый следователем. Правда, он основывался отчасти на показаниях самого Клеточникова. Но при оценке этих показаний надо иметь в виду, что арест Клеточникова произошел для него совершенно неожиданно и произвел на него ошеломляющее действие. Состояние растерянности отразилось в значительной степени на показаниях, данных им на предварительном следствии.

Между прочим, он сам про себя показал, что революционеры за его услуги платили ему деньги. Представляя себя продажною личностью, Клеточников инстинктивно стремился ослабить гнев прави-

тельственных агентов, которых он в течение двух лет обманывал. Впоследствии Клеточников очень сожалел о своей слабости, высказал это во время процесса своим товарищам и просил их простить его. Душевное его состояние было очень тяжелое. Другие данные, касающиеся деятельности Клеточникова, в обвинительном акте тоже более или менее изменены. Постараюсь сообщить то, что мне известно об этом, во всяком случае, замечательном человеке, которому были свойственны идеалистические стремления.

В 1878 году в Симферополе жил мировой судья Николай Васильевич Клеточников. Около этого времени он испытал какое-то семейное крушение. Здоровье его, всегда слабое, внезапно подломилось, и появились признаки чахотки. В это тяжелое для себя время Клеточников собрал все свои духовные силы и решил умереть с наибольшею пользою для освободительного движения в России. Он наскоро ликвидировал дела и приехал в Петербург. Через длинный ряд лиц ему удалось познакомиться с А. Д. Михайловым, как с представителем Исполнительного Комитета. Они сразу оценили друг друга, эти два человека, которые из партии «Народная Воля» вскоре сделали неприступную крепость.

Как только Клеточников предложил свои услуги «Народной Воле», А. Д. Михайлов задумал провести его в III отделение, чтобы иметь в его лице постоянный источник столь важных для партии сведений. Исполнительный Комитет вполне одобрил этот проект. Таким образом, инициатива поступления Клеточникова в III отделение всецело исходила от Комитета; без его ведома и согласия во все время своей службы в центральных полицейских учреждениях Клеточников не делал ни шагу по собственному усмотрению, вследствие чего между Исполнительным Комитетом и им всегда царствовало полное доверие, и отношения между ними были искренние и дружеские. Клеточников не только никогда не брал от партии денег, но он радовался, и для него было большим праздником, когда он мог из своего небольшого жалованья накопить несколько десятков рублей, которые он передавал А. Д. Михайлову для партийной кассы. Он говорил, что ему особенно приятны эти взносы, потому что, делая их, он становится причастным к другим отраслям деятельности партии. С течением времени, жалованье его увеличивалось и превысило 100 р. в месяц. Сбережения были для него возможны, так как он вел в высшей степени скромный и бережливый образ жизни. Наружность Н. В. Клеточникова была специфически интеллигентская. Он был худ и бледен и носил золотые очки. Вся небольшая фигура его с темными, слегка вьющимися волосами и маленькой бородкой вызывала симпатию и дружеское расположение.

Зимой 1878 г. уже было известно, что содержательница меблированных комнат Кутузова служит в III отделении. Через нее Михайлов решил пристроить Клеточникова. С этою целью было предложено Н. В. поселиться у нее и постараться заслужить ее покрови-

тельство, что было достигнуто довольно быстро тем, что Клеточников по вечерам проигрывал ей аккуратно небольшие суммы в преферанс. Решение поступить на службу в III отделение было принято Клеточниковым бесповоротно, но не без колебаний. Когда он впервые услышал, какую жертву от него ожидает Исполнительный Комитет, он содрогнулся при мысли об омуте лжи и гнусности, куда ему ежедневно придется окунаться. Его пугало, что честные люди будут иметь повод смотреть на него, как на падшего и совершившего преступление человека. Свои опасения он высказывал А. Д. Михайлову, и они вместе обсуждали будущее положение Клеточникова. Было условлено и одобрено Комитетом, что Клеточников выйдет в отставку, если от него потребуется что-нибудь другое, кроме составления и переписки бумаг, заведывания ими и хранения: например, выслеживание или арестование кого-нибудь. Но, так как он служил в одной из канцелярий III отделения, то с подобными поручениями к нему никогда не обращались. Все же он чувствовал себя часто угнетенным и отдыхал душой в обществе своих новых друзей. Часто, когда обязательства, принятые им на себя, казались ему непосильными, он нуждался в словах утешения и ободрения. Дни торжества для него наступали, когда он мог принести на свидание важные сведения, предупреждавшие партию об опасности.

Когда Клеточников водворился в III отделении и приходилось думать о месте свиданий с ним А. Д. Михайлова, последний задумал обставить дело так, чтобы оно отличалось устойчивостью и безопасностью. Надо было отыскать лицо, согласное посвятить себя безмолвной роли хозяйки, принимающей гостей. Лицо это должно было быть облечено полным и безусловным доверием Исполнительного Комитета и соответствовать во всех других отношениях трудному положению, которое для него предназначалось. Оно нашлось. Это была молодая девушка, имя которой мало кому известно. Она и сейчас жива, и теперь стара и больна; но тогда цвела если не красотой, то привлекательностью лица, и была способна на великое и безусловное самоотвержение [1].

Ей наняли две большие, хорошо меблированные и удобно расположенные комнаты у квартирной хозяйки, которая была осведомлена о том, что у ее жилички есть друг сердца. Эту роль исполнял Клеточников и часто навещал молодую девушку. Изредка приходил А. Д. Михайлов в заранее определенные дни и часы. На случай

---

[1] Теперь можно назвать имя этой личности. Недавно печатались в журналах, посвященных истории революционного движения, некрологи Наталии Николаевны Оловенниковой, умершей в 1925 году. Это она с таким самоотвержением служила верным прикрытием для свиданий А. Д. Михайлова с Н. В. Клеточниковым. Можно сказать, пока существовала квартира Н. Н. Оловенниковой, Клеточникову была гарантирована безопасность.

А. П.

ареста Михайлова, с Клеточниковым познакомили Баранникова. Молодой девице ставилось условием ее функции абсолютное затворничество. Ей разрешалось выходить на прогулки и в магазины за покупками и изредка принимать у себя одну или двух приятельниц, которыми могли быть только лица, близкие к Исполнительному Комитету. Обставленная таким образом квартира была непроницаема для полиции, и сношения с Клеточниковым совершенно безопасны и могли продолжаться очень долго. Но нервы молодой девушки не выдержали. Около года продолжалась для нее жизнь, очень близкая к одиночному заключению. Здоровье ее расстраивалось все больше и больше. Она просила себе отпуск, и, наконец, после ареста А. Д. Михайлова ее квартира была ликвидирована. Для свиданий с Клеточниковым была назначена квартира Баранникова, но устойчивость и безопасность сношений сразу исчезли.

Мне предстоит исправить крупную ошибку, вкравшуюся в повествование Богучарского, затрагивающую честь и доброе имя Савелия Златопольского. Речь идет об изданной в 1881 году Исполнительным Комитетом прокламации по поводу еврейских погромов, явно антиеврейского направления. Факт издания этой прокламации, само собой разумеется, и предосудителен, и очень печален. Появление ее могло быть только следствием недоразумения и просто-таки политической ошибки. Но кто придумал инкриминировать ее покойному Савелию Златопольскому? Ясно, что именно его имеет в виду Богучарский, когда пишет в примечании к стр. 221: «Невероятный сам по себе факт издания такой прокламации революционерами становится еще более изумительным, если правда,—а в этом уверяло нас достоверное лицо,—что текст прокламации был одобрен членом Исполнительного Комитета, по национальности евреем (нам называли, кем именно)».

В Исполнительном Комитете был только один еврей—Савелий Златопольский, и Богучарский впал в большое заблуждение, приписывая ему одобрение прокламации. Я находилась совместно с Златопольским в Петербурге с января 1882 г. до самого ареста Златопольского и часто бывала свидетельницей того, как он снова и снова возвращался к теме о прокламации. Он не мог говорить о ней спокойно и всякий раз переживал сильное и тяжелое волнение. Он говорил, что это—несмываемое пятно на репутации Исполнительного Комитета, что он не в состоянии простить Комитету такое деяние. Когда прокламацию издали в Москве, С. Златопольский был в Петербурге, поглощенный текущими делами. Однако, узнав о появлении ее, он все бросил, поехал в Москву, и там тотчас состоялось решение об ее уничтожении. Кто же истинный виновник и автор злополучной прокламации? В августе 1881 года, когда она была выпущена, я находилась в Тифлисе. Как известно, Исполнительный Комитет в то время был в Москве. Однажды я получила от Тихомирова письмо. По расшифровании его, я прочла следующее: «Вы уже знаете, что мы приняли

в Комитет Романенко, и он уже успел сделать много вредного и нежелательного. Он настоял, чтоб Комитет выпустил прокламацию по поводу еврейских беспорядков, и выманил наше согласие. Если вы хотите знать мое личное мнение о прокламации, я скажу вам, что я очень против нее, но дело уже сделано». Как Романенко получил полномочие от Комитета на печатание прокламации, в письме не говорилось. Позднее мне рассказывали, как именно он «выманил» это согласие, но я теперь в точности всего не припомню и потому изложить не берусь. В конце 1881 года Романенко был арестован. Затем, когда в 1882 году Плеве предложил О. С. Любатович (тоже арестованной) быть посредницей при переговорах между ним и народовольцами относительно прекращения террора, она уклонилась от посредничества и предложила Плеве обратиться с тем же к Романенко, который содержался так же, как и она, в Доме предварительного заключения. Исполнительный Комитет не дал согласия на эти переговоры, никаких сообщений от Романенки не получал, и чем кончились разговоры с ним Плеве—неизвестно. Когда в 1883 г. Романенко очутился в арестантской партии, отправлявшейся в Сибирь, то его репутация, как революционера, была уже испорчена, и товарищи не имели к нему доверия. Вот кто был автором этой злополучной, уничтоженной Комитетом прокламации, к которой еще до сих пор со злорадным удовольствием возвращаются враги «Народной Воли».

Если в только-что приведенном примере обвинен в несовершенном им поступке член Исполнительного Комитета, то на стр. 33 мы находим обвинение—и также напрасное—по адресу составителей Липецкого с'езда, т.-е. все тех же народовольцев. Богучарский пишет: «Вот каким тореадором изобразил Фроленко Желябова, после чего он и был приглашен на липецкое совещание».

Вся соль этой заметки относится, конечно, не к Желябову, которого Богучарский называет «великаном революции» и которого он искренно отмечает, как человека, одаренного выдающимися качествами. Здесь имелось в виду показать читателям, что на Липецкий с'езд приглашались люди с тореадорскими наклонностями. Но, как мы уже не раз видели, Богучарский попадает мимо своей цели. Михаил Федорович Фроленко очень кратко передал эпизод из жизни Желябова, и в такой передаче Богучарский почерпнул совершенно напрасно повод к неуместному острословию. В действительности происшествие это носит характер обыденности, но, тем не менее, очень характерно для Желябова и было ему очень дорого, как одно из ярких воспоминаний его ранней молодости. Я передам его здесь в той безыскусственной форме, в какой слышала его от самого Желябова. Однажды его мать отправилась в поле, и случайно он пошел с нею. По дороге они расстались, и Желябов пошел домой, а мать продолжала итти по полю. Вдруг он услыхал отчаянный вопль матери; он оглянулся и увидал быка, известного в окрестности своим бешеным

нравом и страшной силой, мчавшегося по полю с опущенными рогами по направлению к матери. Первая мысль Желябова была об орудии борьбы. Он увидал недалеко от себя плетень, подбежал, вырвал жердь, размахнулся ею и попал по коленам рассвирепевшего животного. Бык упал на передние ноги, и мать была спасена. Желябов говорил, что им владела во время борьбы его с быком одна мысль, что от быстроты, ловкости и силы его движений зависит жизнь матери, и эта мысль удесятеряла его силы.

Как видит читатель, ничего тореадорского в событии нет, а есть только большая любовь Желябова к своей матери и его самообладание во время опасности. Если Михаил Фед. Фроленко теперь забыл подробности инцидента, то в 1879 году, когда он рекомендовал Желябова для Липецкого с'езда, он, конечно, передал его так, как я *это сделала* сейчас.

На странице 232 у Богучарского сказано, что «в *1884 году*, в эпоху уже полного упадка сил народовольцев, ими была сделана попытка войти в организационное соглашение с польской партией «Пролетариат». Это не совсем точно. Переговоры с польской социально-революционной партией велись очень деятельно еще в начале зимы 1880 года в Петербурге. Поляки тогда прислали трех представителей, поручили им отыскать членов Исполнительного Комитета и войти с ними в соглашение. Со стороны народовольцев вели переговоры: А. Д. Михайлов, Колодкевич и Баранников. Польская партия только-что начинала складываться и не носила еще названия «Пролетариат». Ее представители соглашались на всякое содействие Исполнительному Комитету, но отстаивали полную программную автономию для себя. Переговоры временно были прерваны арестами А. Д. Михайлова и других в ноябре 1880 г. и январе 1881 года, а впоследствии были доведены до конца уже другой группой лиц.

Приходится возражать не только против фактических неточностей, но и против предположений, высказываемых автором разбираемой книги.

Рассказав всю историю предательства Дегаева, его признаний в Париже перед Тихомировым и М. Н. Оловенниковой, его возвращение в Россию, окончившееся убийством Судейкина, Богучарский приводит (стр. 113) несколько строк из заявления Исполнительного Комитета по поводу убийства Судейкина следующего содержания: «Нет надобности прибавлять, что все выдачи были прекращены безусловно с того момента, когда Дегаев отдался в распоряжение Исполнительного Комитета». На эти слова Богучарский замечает: «Это сомнительно, ибо с момента покаяния перед Комитетом до убийства Судейкина, 16 декабря 1883 года, прошло семь месяцев, в течение которых Дегаеву, разумеется, было необходимо оправдывать доверие к себе Судейкина».

Выпустить эту ядовитую стрелу было легко в виду того, что М. Н. Оловенникова давно умерла, а Тихомиров перестал существо-

вать морально. Других свидетелей событий того времени тоже почти не осталось. Но имеется свидетельство Германа Ал. Лопатина, который отрицает выдачи Дегаева с мая по декабрь 1883 года, основывая свой вывод на том, что об арестах и обысках за это время не было слышно, а когда они бывали, то весть о них немедленно распространялась. Н. М. Салова говорила мне тотчас по прибытии своем на Кару в 1889 г., что для Исполнительного Комитета гарантией от новых выдач служила страстная жажда Дегаева сохранить свою жизнь и выехать за границу при помощи народовольцев. Ему было заявлено, что жизнь даруется ему только под условием прекращения всяких выдач и содействия при убийстве Судейкина. Точно так же только под этими двумя условиями ему было обещано содействие при переправе через границу. Сам он не знал тайных путей через границу и в этом отношении был беспомощен. Другой гарантией, по словам Саловой, были молодые народовольцы, которые по распоряжению Исполнительного Комитета вошли в сношение с Дегаевым и организовали при его содействии убийство Судейкина.

Принимая в соображение все обстоятельства развязки дела Дегаева—Судейкина, мне кажется, мы можем поверить словам Комитета, что дальнейших выдач со стороны Дегаева не было. Недопустима мысль, чтобы Исполнительный Комитет не предусмотрел такой вещи, как возможность новых предательств Дегаева. Мария Ник. Оловенникова была человеком большого ума и большой чести. Тихомиров того времени шел в ногу с семьей тех лучших, самых выдающихся деятелей освободительного движения, которым он был товарищем, а иногда и другом. С их стороны, конечно, было сделано все, чтобы никто не мог позднее упрекнуть «Народную Волю» в гибели товарищей.

Перехожу к другому утверждению Богучарского. Речь идет о переговорах в Париже между Комитетом и представителями некоторых петербургских сановников. Богучарский подробно доказывает, что сановники эти принадлежали к «Священной Дружине», вели переговоры ложно от имени «Земской Либеральной Лиги» и желали посредством переговоров погубить всех лиц, которые в России выступят от имени «Народной Воли». Мы не последуем за автором в его занимающем около 200 страниц исследовании вопроса, действительно ли были представители присланы от «Священной Дружины», от «Земской Либеральной Лиги» или от близких к правительству лиц, и кто стоял за этими названиями и входил в состав этих организаций.

Для нас в данный момент важно, что по поводу прекращения переговоров Богучарский говорит на стр. 341: «Лавров и Оловенникова так и умерли, не узнавши истины о «Земской Либеральной Лиге», с которой они вели переговоры». Однако, за кого бы формально ни принимали они посланцев,—за членов «Либеральной Лиги» или «Священной Дружины»,—одно для них было ясно: что *косвенно* переговоры эти ведутся лицами, являющимися *частью правительства.* После

смерти П. Л. Лаврова в его бумагах найден проект соглашения с лицами, которые вели переговоры с ним и М. Н. Оловенниковой. Пункт в) этого проекта составлен следующим образом: «Если Исполнительный Комитет увидит из *ряда действий правительства, что оно серьезно приступило к исполнению условий соглашения,* то, насколько эта уверенность будет длиться, Исполнительный Комитет не предпримет ничего против Александра III». Не ясно ли из подчеркнутых мною слов, что П. Л. отлично знал, что в последнем счете с ним говорили не члены «Земской Либеральной Лиги» и не члены «Священного Союза», а лица, снабженные подлинными полномочиями и соглашение с которыми может иметь существенные результаты. Интересно, что проект соглашения напечатан самим Богучарским в его книге на стр. 328, откуда я выписываю пункт в). И если б не знать, что начаты переговоры от имени лиц, близких к правительственным сферам, то для чего было бы тратить время на бесцельные и бессмысленные в таком случае разговоры? Но могут сказать, что П. Л. Лавров и М. Н. Оловенникова были убеждены, что с ними говорят лица, имевшие полномочия от правительства, тогда как на самом деле члены «Священной Дружины» только и думали о том, как бы заманить народовольцев в силки. Если бы это и было так, то они в своем намерении не преуспели. Поставленное в проекте соглашения условие «ряда действий» свидетельствует о том, что Исполнительный Комитет нельзя было обмануть простыми посулами, что он не полагался на слова, а требовал фактических доказательств того, что правительство «серьезно приступило к исполнению соглашения».

Посмотрим теперь, как Богучарский судит о крупных явлениях русской жизни, подобных народничеству 70-х годов.

Вот те немногие строки, которыми характеризуется размер народнического движения: «До возникновения «Народной Воли» русская социально-революционная партия не имела единой организации и состояла из значительного количества лиц, об'единенных между собой гораздо более солидарностью воззрений и настроений, чем какою бы то ни было связью формального характера. Существовавшее раньше общество «Земля и Воля» представляло собой организованную единицу, но оно, конечно, далеко не покрывало собою всю партию» (стр. 2). К этим словам имеется примечание, в котором весь центр тяжести рассуждения. В нем говорится, что общество «Земля и Воля» состояло из находившегося в Петербурге центра и живших «в народе» колонистов, которых было по деревням в России 10—20 человек.

Из скольких же лиц состояло общество «Земля и Воля»? Петербургский центр включал, положим, 10, даже 20 человек, да в провинции было человек 10—20, итого 40 человек. Общество «Земля и Воля» далеко не покрывало собою всего народничества. Следовательно, народников было, может быть, вдвое, втрое, а, может быть,

и в 10 раз более, т.-е. от 80 до 400 человек. Тогда как, на самом деле, народничество 70-х годов было всероссийским явлением, охватившим большую часть учащейся молодежи в России. Это был порыв, полный энергии и вдохновения, воплотить в жизнь идейное направление народничества, сделать его действенным. Это была попытка молодого поколения посредством громадного напряжения всех своих умственных и этических сил прорвать преграду, которая стояла во все времена между светлою культурною жизнью и русским трудовым народом.

Связь, которая сплочивала народников, было более тесной, чем то изображает Богучарский. В первой половине 70-х годов существовали в разных местах России кружки молодежи, которые не имели писаных уставов, но были чрезвычайно строги в выборе членов и столь же требовательны относительно их обязательств. На юге были кружки долгушинцев, Ковальского, Чубарова, Осинского, Витенберга и других. Большою известностью пользовался петербургский кружок чайковцев, который был составлен особенно удачно и счастливо в смысле выдающихся качеств и талантливости его членов.

Радикальные кружки существовали также в Орле, в Саратове, в Вятке, на Урале и во многих других местах. Они входили в сношения друг с другом, и, в свою очередь, каждая личность, которая желала итти «в народ», редко делала это за свой страх и риск, а чаще входила в более или менее обязательные отношения к тому или иному кружку. А по Богучарскому всех народников было максимум несколько сот человек. Но даже по процессам можно насчитать тысячи привлеченных и судившихся. К так-называемому «большому процессу»,—или процессу «193-х» привлекалось первоначально более 2.000 человек. Подсудимые процесса «50-ти» составляли самостоятельную организацию с разветвлениями в Москве и на Кавказе; а сколько сотен радикалов дали другие процессы и административная ссылка!

Нельзя думать, с другой стороны, что все участвовавшие в тогдашнем движении были переловлены и посажены в тюрьмы. Так чисто не работает бюрократическая машина, и кто-нибудь остается «на развод».

Нравственная оценка народничества выражена у Богучарского следующим образом: «Вера в социальную революцию и полнейший аполитизм были характерными чертами этого чисто интеллигентского, действительно абсолютно оторванного от жизни страны движения. В высокой степени мечтательное, романтическое и утопическое, оно непременно сошло бы само собою на-нет, если бы не привычка русских правящих сфер пугаться проявлений в стране буквально всякого шороха» (стр. 2).

Остановимся на этих словах. Движение, конечно, было интеллигентское, так как возникло в среде учащейся молодежи и поддержи-

валось ею. Но большинство этой последней состояло из провинциалов, часто принадлежавших к беднейшим слоям населения. Жизнь народа и его бедствия были им хорошо известны, и в книгах они находили только подтверждение собственного опыта. Молодежь стремилась изменить в корне жизнь народа, его материальное и правовое положение и просветить его умственно. Поэтому народники называли себя *радикалами,* и гораздо позднее это имя заменилось названием революционеров. Молодежь была социалистична несомненно; но вдохновляло ее на подвиг, на «хождение в народ» и гнало вперед очень реальное сознание, что народ гибнет от бедности, забитости и невежества. Сознание это было почерпнуто из самой жизни, а не из книг. Социализм был идеалом, которым следовало заменить неприглядное настоящее; но само настоящее взывало о своих из'янах, звало на помощь, поднимало энергию и решимость, вселяло чувство самоотвержения, доходившее до желания принести свою жизнь в жертву для блага народа.

Об идейном содержании народничества можно отчасти судить по двум книгам, имевшим решающее значение при выработке этого миросозерцания и его активной программы. Это «Исторические письма» Лаврова и «Положение рабочего класса в России» Флеровского. Первая звала молодое поколение к уплате долга русскому народу, вторая изображала жизнь рабочего класса и испытываемые им бедствия и высоко поднимала волну самоотвержения и сочувствия к народу.

В сказанном уже отчасти выясняется, полагаю, ошибочность упрека в оторванности от почвы. Но в опровержение такого определения можно сказать еще многое, и прежде всего надо указать на близкое соприкосновение действенного народничества с идейным. А последнее составляло почти сплошь содержание русской литературы в 60-х и 70-х годах. Все выдающиеся или блестящие писатели и поэты, каждый публицист, пользовавшийся влиянием и популярностью, были народники.

Если не всегда представители литературы умели разбираться в новом явлении, какое представляло собою народничество, и, может быть, не все сразу поняли тип народника, то это не отрицает жизненности явления. Оно было сложно и потому с трудом поддавалось анализу. Мы отчасти видели, что оно слагалось из острого чувства сострадания к народным бедствиям, из стремления найти способы к сближению с народом и двинуть Россию по пути прогресса и счастья, а также из желания познакомить русский народ с социалистическим учением. Вместе с тем, народничество было протестом против гнета и насилия над крестьянством и в этом отношении являлось видоизмененным продолжением прежних революционных течений. Формы, в которые выливалась деятельность народников и в особенности «хождение в народ», казались многим современникам и кажутся еще теперь иногда непрактичными и недостигшими цели.

Но, уличая тогдашнее молодое поколение в непрактичности, надо иметь в виду, что оно шло неизведанными путями к смутно рисовавшимся целям. И если мы примем это во внимание, мы должны будем признать, что результаты движения громадны.

Народники-радикалы первые в России завели систематические сношения с рабочими, организовывали их и таким образом положили начало рабочему движению в России.

Чайковцы в Петербурге знакомились с рабочими на фабриках и заводах, устраивали в своих квартирах небольшие собрания рабочих. На этих собраниях, прежде всего, рабочие стали говорить о том, как сильно их гнетет собственное невежество и как, вследствие него, они чувствуют себя бессильными. Между ними было даже много безграмотных. Немедленно в квартире Сергея Силыча Синегуба была открыта вольная школа для рабочих. В ней преподавали, кроме грамоты, также географию, историю и арифметику. Для грамотных рабочих была устроена маленькая библиотека. Собрания рабочих и беседы с ними на политические и социальные темы шли своим чередом.

Подобные же сношения с рабочими и учебные занятия с ними велись в южных кружках и несколько позднее были основаны в Москве Т. Ив. Лебедевой.

Некоторые связи с рабочими от времен первых народников сохранились вплоть до «Народной Воли». А на дальнейшее значение сношений с рабочими указывает и сам Богучарский на стр. 139 в следующих словах: «Многие из социал-демократических деятелей встретили при своих посевах почву, уже более или менее приготовленную политическими идеями народовольцев».

На жизни крестьянства народничество, может быть, непосредственно не отразилось; но, как последствие движения, создалась в науке целая отрасль, посвященная всестороннему изучению экономических условий крестьянской жизни, бывшие народники основали и развили земскую статистику, земскую медицину и отчасти школьное обучение.

Народничество не заглохло. В 1876 году оно выделило из себя общество «Земля и Воля», которое в свою очередь в 1879 году преобразовалось в «Народную Волю». Народничество заключало в себе юную мощь, которой хватило бы, может быть, на создание целой преобразовательной эпохи. Оно помогло бы стране расцвесть духовно и материально. И в этом его великое значение. Но история России сложилась иначе.

Что значат перед такими соображениями слова Богучарского, когда он говорит, что предоставленное себе «народничество непременно сошло бы на-нет», или, что «при ином отношении к этому движению со стороны властей народолюбцы *обратились бы по существу в самых обыкновенных культурников*». (Стр. 3).

Все на той же 3 странице Богучарский не счел возможным обойти молчанием очерк Гл. Ив. Успенского «Не суйся» и уверяет

своих читателей, что очерк этот «рисует непроходимую пропасть, разделявшую воззрения народа от воззрений народников». Недоразумение, заключенное в этих словах, в свое время было достаточно выяснено Н. К. Михайловским в статье «Мой промах», напечатанной в X томе его сочинений.

В заключение еще раз вернемся к «Народной Воле». В моих «Заметках» приходилось указывать на то отрицательное отношение, с каким Богучарский подходит к основному методу борьбы, практиковавшемуся ею, и на ту недооценку многих сторон движения, которая окрасила его книгу в односторонний и пристрастный цвет. Тем не менее, когда Богучарский заканчивал свой труд, он должен был взять другой тон и на последних страницах не поскупился на похвалы по адресу «Народной Воли». Так, на странице 471 мы находим строки: «История освободительного движения в России в конце 70-х и первой половине 80-х годов, это—история постепенного перехода мысли русской передовой интеллигенции от социального утопизма к социально-политическому реализму. В победе политических идей народовольчества над аполитическими идеями народничества явление это сказалось с особою выразительностью». И, наконец, заключительные слова: «Историк освободительного движения всегда должен будет признать, что в лице народовольцев перед ним, несмотря на все ошибки их деятельности,—первые действенные пионеры политического реализма в России».

Вывод этот был бы гораздо более обоснован, если бы Богучарский не впал в те ошибки, исправить которые было целью моих «Заметок».

ЛЕГЕНДА О С. Л. ПЕРОВСКОЙ [1].

Помещенные в № 19 «Былого» за 1922 год «Воспоминания» О. В. Аптекмана интересны по содержанию и по живости изложения. Тем не менее, в них встречается ряд недоразумений, которые мне хочется раз'яснить в целях истины. Желание мое тем естественнее, что вопрос касается С. Л. Перовской, память о которой сияет неувядаемой красотой и славой. Но, говоря о Перовской, мы должны быть особенно осмотрительны. Выдающийся человек не нуждается во внешних украшениях, чтобы влиять на окружающих силой и блеском своих духовных качеств. Подобно всем смертным, такой человек в своем физическом существе подвержен общим законам природы и с чародействием и мифологией не имеет ничего общего.

В виду этих соображений я не могу не протестовать против строк, напечатанных на стр. 126 упомянутой статьи: «Молодая девушка 18 лет проникает в самое логовище чудовищного, можно сказать,

---

[1] «Былое», 1922, № 20.

апокалиптического зверя—в III отделение, это «высшее в государстве полицейское учреждение», как оно само важно величает себя. Девушка через одного подкупленного жандарма заводит сношения с сидящими там товарищами, получает и передает им записки и всякие поручения, имеет с ними свидания в камерах и совершенно сказочным образом выводит своих товарищей для свидания с товарищами на воле, получает все следственное их дело из III отделения и т. д., и т. д.,—словом, девушка не больше не меньше, как хозяйничает в III отделении. Эта девушка — Софья Перовская. Сколько доверия надо было иметь к 18-летней девушке, чтобы поручить ей такое рискованное дело».

В этом месте находится выноска, ссылающаяся на статью Л. Э. Шишко «Кравчинский и кружок чайковцев», а также на воспоминания В. В. Берви (Флеровского).

Раскрываем статью Шишко и находим следующие 6 печатных строк, единственные во всей статье, относящиеся к Перовской: «Всеми делами такого рода (как хранение печатного станка) заведывала (в кружке чайковцев) особая конспиративная комиссия, к которой принадлежала, между прочим, 18-летняя Перовская. В ведении Перовской находились также сношения с арестованными, сидевшими в III отделении, через одного подкупленного жандарма, который регулярно приносил ей записки и принимал от нее поручения».

Все, что так просто и ясно у Шишко, превратилось в статье О. В. Аптекмана в таинственное повествование, более замысловатое, пожалуй, чем некоторые рассказы из «Тысячи и одной ночи», где, например, требовалось запомнить слова «Сезам, Сезам отворись», а перед С. Л. Перовской тяжелые тюремные замки сами собой отворились, заключенные оказывались переодетыми, выходили на улицу и проч., и проч. Лично я не думаю, чтобы под пером О. В. Аптекмана шесть незамысловатых строк книги Шишко превратились в туманную мифологию.

Я думаю, что свой рассказ О. В. Аптекман взял не из статьи Шишко, а из воспоминаний В. В. Берви («Голос Минувшего», 1916, февраль, стр. 82—83). В этих воспоминаниях, в рассказе о Перовской, действительно, трудно отличить быль от небылицы, и в подтверждение своих слов я приведу целиком несколько длинную выдержку для того, чтобы читатель сам мог судить о преобразовании, которое претерпел простой факт заведывания Перовской перепиской с заключенными в III отделении. «Между всеми (пропагандистами),—пишет Берви,—выдавалась Перовская; ее смелость, ее изобретательность и хитрость поражали и удивляли. Ей удалась вещь до того беспримерная—свидание с преступником, осуждавшимся на каторжные работы, в камере одиночного заключения Третьего отделения». Затем следует подробное описание устройства тюрьмы при III отделении, а дальше рассказ снова возвращается к Перовской: «Вы думаете, м.-б., что свидание устроено было через крышу и потолок—

нисколько! Лицо, которому нужно было видеть будущего каторжника, было введено открыто жандармом в кордегардию; ему любезно отперли дверь в арестантские помещения, провели в верхний этаж; столь же обязательно отперли камеру каторжника и скромно удалились, чтобы дать им на свободе беседовать между собой. По распоряжению Перовской, заключенные III отделения надевали платье жандармов и свободно разгуливали по Петербургу, а жандармы переодевались в гражданское платье. Ей приносили из III отделения всякое дело, какое ей было нужно, и относили к тому из заключенных, которого она указывала. То, что составляло секрет для жандармов, не составляло секрета для нее. Она могла указать камеру, в которую должен был быть посажен заключенный; она пожелала сидеть рядом со мною, и ее посадили. Три девушки, из которых я знал только одну, пожелали проводить меня в Москву. Жанд. офицер ввел меня в вагон и посадил у окна, предупредив о появлении посетительниц, и, действительно, посетительницы явились. Самые отчаянные вещи проделывались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать большое усердие и доносить о всяких пустяках. Самое главное достоинство Перовской заключалось в том, что любимцы начальства могли вполне на нее положиться; там, где она распоряжалась, никогда никаких историй не выходило. Первые шаги на этом поприще требовали больших усилий и стоили очень дорого. Для жандармов это было новостью, они не решались действовать и сильно боялись наказания. Свидание, о котором я говорил, стоило несколько сотен рублей. Однако же, скоро дело пошло очень успешно: в Москве я низвел плату за передаваемое письмо до 10 коп. Между политическими заключенными в разных тюрьмах этого города пошла такая переписка, что я завален был письмами от совершенно незнакомых мне людей. В мою камеру вводили заключенных, желавших меня видеть; мне это ничего не стоило, не знаю, стоило ли это им. Такое развитие дела вытекало из того, что жандармы, по мере того как они знакомились с политическими, начинали сочувствовать им и увлекаться ими. Они мне не раз повторяли: «Если бы графу Шувалову назначить такое же жалованье, как простому жандарму, было бы справедливо».

Источники приведенного мною неудачного рассказа ясны. Это, прежде всего, преклонный возраст автора, когда-то обладавшего светлой головой и ясными мыслями, увлекавшими русскую молодежь на служение родному народу.

Другая причина ошибок В. В. Берви кроется в том, что автор мало знаком с условиями заключения и тюремного режима вообще. Если действительно однажды, по желанию Перовской, ее посадили в камеру рядом с В. В. Берви, из этого, конечно, не следует, что Перовская распоряжалась в тюрьме по своему усмотрению.

Маленький пример: когда я сидела в Доме предварительного заключения (в 1882 году), заведующей женским отделением тюрьмы была черносотенная дама, вдова какого-то высокого чина. Тем не менее, если кто-либо из политических заключенных просил перевести ее в такой-то свободный номер, она иногда соглашалась на эту просьбу, зная, что исполнение такого незначительного желания благотворно подействует на психическое состояние заключенной, которая станет спокойнее и менее будет причинять хлопот заведующей и надзирательницам. Из этого, однако, не следовало, что политические заключенные распоряжались в тюрьме и могли назначать, в какой камере должна сидеть та или другая заключенная.

Еще один повод к ошибкам В. В. Берви лежит в том, что он принимает на веру все то, что ему говорили жандармы, которые, может быть, желали подладиться к известному писателю и льстили себя надеждою, что он сохранит о них хорошее воспоминание. И он. действительно, сохранил его. Он говорит, между прочим: «Самые отчаянные вещи проделывались именно теми жандармами, которые были на лучшем счету; они мне рассказывали, как они вкрадывались в доверие начальства: нужно было показывать большое усердие и доносить о всяких пустяках». И В. В. Берви чистосердечно верит, что карьера жандармов вполне зависела от пустяков. Чем больше пустяков они донесут, тем милостивее будет к ним начальство, а серьезных доносов оно станет требовать от плохих жандармов.

О логических ошибках я не стану даже говорить: так их много, и так они очевидны. Но тот факт, что силлогизмы В. В. Берви неправильны, должен был навести О. В. Аптекмана на мысль, что и самый рассказ его о С. Л. Перовской не верен.

В ОТВЕТ Л. Г. ДЕЙЧУ[1].

Л. Г. Дейч напечатал недавно в № 8 издающегося в Москве журнала «Пролетарская Революция» статью под заглавием «О сближении и разрыве с народовольцами». В некоторых своих частях, касающихся «Народной Воли», эта статья требует раз'яснений и опровержений, которые я намерена дать в том об'еме, в каком соответствующие факты мне лично известны.

Прежде всего, о присоединении Стефановича к «Народной Воле» и об избрании его в Исполнительный Комитет.

Вскоре после 1 марта 1881 года в Комитете получилось письмо из Женевы от Стефановича. Оно было выдержано в безусловно искреннем тоне, граничившем с нескрываемым энтузиазмом. Начиналось письмо с заявления, что ни он, ни его ближайшие друзья

[1] «Былое», 1924, № 25.

не ожидали, чтобы событие, подобное тому, какое произошло 1 марта, могло так сильно потрясти их и произвести такое глубокое впечатление, какое оно на самом деле вызвало, что он и его друзья, когда весть о цареубийстве дошла до них, почувствовали себя крайне плохо, сознавая, что они проживали за границей без всякого серьезного дела в то время, как в России подготовлялись события первостепенной важности; что теперь пока он один отдается всецело в распоряжение Исполн. Комитета, предлагая работать совместно, но он уверен, что со временем Дейч тоже не преминет соединиться с «Народной Волей». В конце письма Стефанович предлагает по первому зову Исполнительного Комитета выехать в Россию.

Ответ И. К. был вполне дружеский; в нем выражалось удовольствие по поводу присоединения к «Народной Воле» Стефановича, а также надежда совместной работы в полном согласии и единении. С приездом просили несколько обождать в виду массовых арестов, производившихся повсеместно в России в связи с 1 мартом.

Одно обстоятельство оставалось неизвестным эмигрантам: звезда «Народной Воли» уже прошла свой зенит и клонилась к закату. Незаменимые потери конца 80 и начала 81 года да многочисленные аресты, начавшиеся тотчас после 1 марта, обескровили партию и ее Комитет. Было ли это явление временное и поправимое, или оно должно было привести к быстрой смерти партии, так недавно еще бывшей в расцвете своих сил, этого еще нельзя было ни выяснить, ни определить, а следовательно, это обстоятельство не могло обсуждаться в письмах.

Таким образом, несомненно, эмигранты представляли себе размеры и силы партии после 1 марта соответствующими тому впечатлению, какое получилось от одержанной народовольцами победы. Поэтому, когда Стефанович осенью 1881 года приехал в Москву, где тогда пребывал Исполнительный Комитет, увидел его поредевший состав и ознакомился с делами партии, которые были тогда не блестящи, он, может быть, пожалел о том, что вернулся в Россию.

Как бы то ни было, его встретили радушно и по-братски и предложили ему тотчас вступить в Комитет, как было предрешено заранее между членами Комитета.

При приезде Стефановича я не присутствовала и не знаю подробностей его первых шагов в качестве члена Комитета «Народной Воли». Я вернулась из поездки на Кавказ в конце ноября 1881 года, но от членов Комитета, Тихомирова, Богдановича, Грачевского и других, бывших тогда в Москве, я не раз слышала рассказ о его приезде, о встрече с ним и проч. В самый день моего прибытия в Москву произошел памятный мне разговор между мною и Марией Николаевной Ошаниной.

Мы были одни и сидели в гостиной квартиры, которую М. Н. занимала с Богдановичем. Она сообщила мне, что Тихомиров и она сочли

нужным прочесть письмо Стефановича, забытое им открытым на письменном столе в кабинете Богдановича. Когда я воскликнула, что могло заставить их прочесть чужое письмо, М. Н. отвечала: «Мы вынуждены были это сделать. Двойственность поведения Стефановича замечалась всеми нами. Он держал себя особняком от других членов Комитета. Имел своих знакомых, о которых никому не говорил, строил свои планы и работал над их исполнением, а комитетскими делами мало интересовался. Мы не были уверены, что он не замышляет козней против «Народной Воли». Вот почему, когда представился случай узнать его истинное настроение и его намерение относительно «Народной Воли», мы должны были этим случаем воспользоваться». Чтение письма подтвердило опасения членов Комитета. Стефанович писал Дейчу, что его соединение с «Народной Волей» мнимое; силы ее ослаблены, и она вряд ли оправится; следовательно, не стоит подлаживаться к ней. Его старания направлены на то, чтобы в России вызвать сочувствие к марксистским воззрениям и подорвать значение террористических актов.

Когда Стефанович вернулся за своим письмом, ему было сказано, что оно прочитано, и изложены мотивы, вызвавшие со стороны Тихомирова и Марии Николаевны действие, неприятное для всякого развитого и интеллигентного человека, но в данном случае требовавшееся обоюдным ответственным положением как Тихомирова и М. Н., с одной стороны, так и Стефановича—с другой.

Последовала более или менее бурная сцена со стороны Стефановича. Ему в ответ на выражение негодования и гнева предложили на выбор: или немедленно возвратиться за границу, или уничтожить письмо и изменить свой образ действия относительно «Народной Воли». Он выбрал второе. Но доверие было уже подорвано, и прежние дружеские отношения не могли вполне восстановиться.

При мне в декабре 1881 года действия Стефановича были корректны. Он участвовал в комитетских собраниях, принимал участие в текущих делах, брал на себя исполнение некоторых поручений Комитета и проч. По его инициативе был поднят вопрос о попытке завязать сношения со старообрядческим миром. Стефановичу было написано послание к старообрядцам, с кипой которого, уже в отпечатанном виде, он и был арестован в феврале 1882 года на квартире Булановых.

В последних числах декабря 1881 года при моем участии состоялось собрание Комитета, на котором предстояло решить окончательно вопрос, должно ли состояться покушение на Стрельникова, или нет. Здесь же в качестве члена Исполнительного Комитета за столом, за которым собрался Комитет, сидел Халтурин, который в начале заседания произнес небольшую, но энергичную речь в подтверждение того, что устранение Стрельникова необходимо.

На этом собрании Стефанович не выдержал своей роли корректного члена партии «Народная Воля» и ее Комитета. Предвидя, по общему

настроению, отчасти по речи Халтурина, что все присутствующие будут голосовать в утвердительном смысле, Стефанович покинул свой сдержанный тон, и плохое настроение духа, в которое привели его сложившиеся условия этого вечернего заседания, вылилось в довольно грубых и резких выражениях. Выпад этот, однако, ему нисколько не помог. При голосовании он один подал голос за сохранение жизни Стрельникову.

На стр. 14 своей статьи Л. Г. Дейч повествует нам о том, что в письме к нему Стефанович выдал ему тайну Комитета о захвате власти. Так как у Комитета подобной цели в то время, при подорванных силах, не было и не могло быть, то из рассказа Дейча получается клубок лжи: Стефанович выдает якобы доверенную ему тайну; Дейч приписывает своему другу преступление, которое тот, может быть, и не совершал.

Но на стр. 15 клубок еще более увеличивается. Теперь уже сам Комитет сообщает Дейчу о своей великой тайне и поручает ему написать о ней Лаврову, Кравчинскому и Кропоткину, что Дейч и выполняет.

На это я могу ответить, только спустившись из мира фантазии, куда нас уносит статья Дейча, в область действительных событий.

Как сказано выше, я пробыла в Москве декабрь и первые дни января. При мне письмо Дейчу с сообщением намерения захватить власть не было отправлено Комитетом. Затем я уехала в Петербург в качестве представителя Исполнительного Комитета. Нас было двое таких представителей—Савелий Златопольский и я. Мы находились в постоянном общении с Москвою, и все важные вопросы наши решались сообща. Златопольский два раза ездил в Москву для совещания с членами Комитета. Но ни одного слова о том, чтобы Комитетом предполагалось произвести захват власти, ни Златопольский, ни я не слыхали.

Правда, существовал подобный проект, выработанный военной организацией, в которую входили офицеры балтийского флота. И так как проект этот был составлен сведущими и не глупыми людьми, вполне проникнутыми революционным настроением, то само собой разумеется, что он не был таким жалким лепетом, каким изображает его Дейч. Но это был только проект. Очень возможно, что с этого рода проектами кто-либо познакомил Стефановича, как члена Комитета.

С полнейшим недоумением я прочла письмо Кравчинского на стр. 19. Для того, чтобы он заговорил таким тоном о членах Комитета, среди которых были лучшие и испытаннейшие друзья его, нужны были причины, которые трудно себе представить. Надо было, чтобы груды клеветы и лжи дошли до Кравчинского, чтобы он стал членов Комитета считать глупее «ослов» и, пожалуй, столь же развращенными в политическом отношении, как были главы царского правительства.

И опять в письме Кравчинского—уже в третий раз на протяжении 9 страниц статьи Дейча—встречается фраза: «Мы не социалисты и не политики (в данном случае на стр. 19—«не радикалы»), а просто народовольцы». Такую фразу не мог сказать никто из народовольцев, ибо программа партии «Народная Воля» начиналась со слов: «По основным своим убеждениям мы—социалисты и народники». А программа «Народной Воли» до самого конца существования партии не подвергалась ни изменению, ни пересмотру.

Значит, фраза, три раза употребленная Дейчем, есть фальшивая монета, пущенная в обращение кем-то во вред Исполнительному Комитету.

В конце своей статьи на многих страницах Дейч силится доискаться причины озлобления или ненависти к нему Тихомирова. Это напрасно. Никакой злобы в Комитете никто не питал против него. Отношения к нему, правда, были очень далекие, а это одно исключает возможность сильных чувств. Далекими эти отношения сложились вследствие бездеятельной жизни некоторых эмигрантов за границей в то время, как в России народовольцы надрывали свои силы в борьбе с правительством.

Озлобление против Дейча могло создаться у Тихомирова только после вскрытия большого письма Стефановича весной 1883 года. Но Тихомиров негодовал на Дейча, конечно, не потому, что он был адресатом Стефановича, как предполагает Дейч, а потому, что из письма явствовала неразрывная дружба Стефановича и Дейча, настолько прочная, что Стефанович откровенно сознавался своему другу в деяниях, которые никто не назовет иначе, как низкими, даже преступными. Я имею, конечно, в виду полупризнание Стефановича в выдаче Богдановича и сношения его с Плеве. Но, если он откровенно сознается другу в безнравственных поступках, значит, он уверен, что этот друг простит и прикроет его.

МНИМОЕ ПИСЬМО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА „НАРОДНОЙ ВОЛИ“.

Ответ Л. Г. Дейчу[1].

В прошлом году мы, старые народовольцы, напечатали коллективный ответ Л. Г. Дейчу в № 25 журнала «Былое». В статье А. Вас. Прибылева указывалось на то, что ссылка Дейча на статью в № 7 «Народн. Воли», помеченную 8 декабря 1881 г., неправильна. Тех слов, на которых Л. Г. Дейч строил свои нападки против «Народной Воли», не оказалось налицо. Но такое маленькое недоразумение

[1] «Былое», 1925 г., № 6 (34).

нисколько не подействовало на Л. Г. Дейча. В. Н. Фигнер и я—мы являлись в наших ответах живыми свидетелями того, что Исп. Комитет никакого письма о предстоящем государственном перевороте не писал и за границу не отправлял. Я сослалась, кроме того, на факт, что в январе 1882 года Савелий Златопольский ездил в Москву и, вернувшись оттуда, сообщил мне все, что знал о комитетских делах, но не сказал ни слова о намерении Комитета произвести переворот. Теперь я добавлю еще один подобный же случай с Грачевским. В марте Златопольский вторично уехал в Москву и был там арестован. Чтобы заменить его в Петербурге, в апреле был прислан Грачевский. Он приехал с наказом из Москвы от Комитета убрать с дороги Судейкина. И опять о перевороте ни слова не было сказано.

Как можно было ожидать, наше свидетельство не возымело никакого действия на Л. Г. Дейча. Совсем недавно в № 3 сборника «Группа Освобождения Труда» он напечатал на стр. 143—151 то самое мнимое «письмо Исп. Комит.», подлинность которого мы оспаривали еще в прошлом году.

Чтение документа, о котором идет речь, производит на нас, старых народовольцев, самое тягостное впечатление. Не знаешь, чему больше удивляться,—нахальству или лживости автора. Но возмущение—одно, а беспристрастное исследование—другое. Я и перехожу к последнему.

Прежде всего, встает вопрос, подлинно ли это письмо Исп. Ком. «Народной Воли», или оно подложное. Категорический и ясный ответ мы получим, рассмотрев, прежде всего, содержание самого документа. Но раньше еще я скажу, что женевские эмигранты, несомненно, получили мнимое письмо И. К. из Москвы. В своей статье в № 8 «Пролет. Рев.» на стр. 15 Л. Г. Дейч пишет: «В феврале 1882 года мы получили обстоятельное письмо от Исп. Ком. Так как Исп. Ком. «Народной Воли» в то время находился в Москве, то ясно, что письмо пришло именно оттуда».

Две темы составляют главное его содержание, это—выступление Павла Бор. Аксельрода на Хурском международном социалистическом конгрессе осенью 1881 г. и государственный переворот, который народовольцы якобы решились совершить в России немедленно, в ближайшем будущем.

Просматривая «письмо Исп. Ком.» и будучи хорошо знакомой с прошлого года со статьей из № 7 «Народн. Воли», стр. 2—5 [1], посвященной речи Аксельрода на Хурском конгрессе, я легко могла заметить, что мнимое «письмо Исп. Ком.» черпало свои фразы из той же самой статьи, пользование которой было так неудачно для Л. Г. Дейча в прошлом году. Странное совпадение, и, однако, оно существует!

---

[1] «Литература партии «Народная Воля». «Русская Ист. Библиотека», № 10. Под редакцией В. Богучарского.

«Письмо» 4 раза в различных своих местах возвращается к Хурскому конгрессу; и каждый раз это—фразы из статьи «Народной Воли», но не просто заимствованные, а изуродованные и искаженные. Пусть читатели сами убедятся.

Статья «Народной Воли», стр. 2:

«Мы готовы были бы поблагодарить Русского Гостя (т.-е. Аксельрода), взявшегося раз'яснить перед конгрессом положение русского революционного движения. К прискорбию мы имеем, однако, гораздо более оснований высказать сожаление, что конгресс не имел перед собой человека, лучше осведомленного относительно этого предмета».

«Письмо» из сборника «Группа Осв. Труда», стр. 144:

«Недавний пример представляет речь Павла (Аксельрода) на конгрессе, речь, по слухам, имевшая цели примирительные и, однако, не только запутывающая дело, но и прямо для нас вредная, да и вообще вредная».

Статья «Народной Воли», стр. 2:

«Прежде всего, едва ли основательно прилагать к «Народн. Воле» слишком буквально европейские клички «политических радикалов», «социалистов» и т. п. В задачах народовольчества есть элементы и политического радикализма и социализма, но они совершенно неразрывно слиты в одну цель и в одно дело. В России переворот политический настолько же необходим, как и переворот экономический. Никакие экономические реформы, никакая организация труда не может помочь русскому народу, если не будет изменена существующая государственная система; точно так же, как, наоборот,—политическое самодержавие народа не может быть достигнуто без экономического его освобождения».

«Письмо» из сборника «Группа Освоб. Труда», стр. 148:

«Перейдем теперь к другому вопросу, возбуждающему, кажется, толки за границей, именно,—о нашем политическом радикализме и социализме. Павел (Аксельрод) здесь опять ошибается в своей речи, будто мы были политические радикалы, а теперь перестали. Мы какие были, такие и есть, т.-е. не радикалы и не социалисты, а просто народовольцы. Задачи наши заключают в себе элементы политического радикализма так же, как и социализма, и иначе быть не может».

Статья «Нар. Воли», стр. 4:

«Не менее серьезное замечание мы должны сделать по поводу отношений народовольства к народу. Р. Гость (Аксельрод) говорит, что мы сначала игнорировали народные массы, а потом убедились в не-

возможности даже временно делать это... Когда же это мы игнорировали народные массы? Нам кажется, что мнение Русского Гостя происходит просто от привычки прикидывать к России европейскую мерку... На самом деле, это вовсе не так. Основные принципы народовольцев проникнуты сознанием значения масс и уважением к ним... Мы полагаем, что, задаваясь целями чисто практическими, народовольцы должны были помнить значение масс лучше, чем кто другой».

Письмо из сборника «Группа Освоб. Труда», стр. 145:

«Прежде всего, скажем о деятельности в народе. Павел, между прочим, говорит в своей речи, что мы прежде считали возможным игнорировать народные массы, а теперь одумались. Стыдно говорить такие вещи! Незнание—не оправдание; тот, кто не знает, не должен и говорить. Вдумайтесь, друзья, в числа и факты и судите сами. Возьмите наши слова и наши дела» и т. д.

Статья «Народной Воли», стр. 5:

«Надеемся, что Русский Гость никогда не увидит уклонения нашей партии от нашего основного принципа: делать лишь то, что наискорее и наилучше ведет к перевороту, низвергающему правительство и передающему государственную власть в руки народа или, на худой конец, его революционных представителей» (курсив «Народной Воли»).

Письмо из сборника «Группа Освоб. Труда», стр. 148:

«Но, к несчастию, для того, чтобы крестьянскую скалу низвергнуть на правительство, нужны пуды пороха, а у нас его только несколько фунтов».

Но не довольно ли выписок и сравнений? Их ряд можно продолжить на несколько страниц, и результат получится один и тот же. Автор письма выхватывает фразу из статьи № 7 «Народной Воли», искажает ее и придает ей пошлый вид. Ясно, что он поставил себе целью вложить в уста Исп. Комит. побольше низменных выражений и выставить членов Комитета низкими и вульгарными.

В «письме» попадаются такие фразы: «Мы никого не надуваем», или: «Весь смысл нашего существования в захвате власти». А также: «Ведь, мы Земский Собор требуем у правительства, а не у жизни, не у революции. У революции мы требуем, конечно, побольше, а чего—смотри опять в программу Исполн. Комитета». И еще: «Что касается нашего якобинизма, то опять не знаем, как сказать. Беда с этими иностранными словами! Поэтому мы лучше об'ясним вам. Во-первых, слово якобинизм в Рос-

сии очень загажено болтунами, а потому, что бы оно ни означало, мы себя якобинцами назвать не согласны... Но, если мы даже якобинцы, то этого не проповедуем, потому что это была бы болтовня», и т. д.

Получается такая картина: две главные темы мнимого письма Исп. Комитета заимствованы из статьи, незадолго перед тем появившейся в собственном органе партии, «Народной Воле» [1], печатавшейся в то время в Москве в тайной типографии, хозяевами которой были Г. Ф. Чернявская-Бохановская и Суровцев. При этом в «письме» ни одним словом не упоминается, откуда сделаны позаимствования. Значит, если на минуту допустить, что Исполн. Комитет является автором письма, то он совершал плагиаты у самого себя, а также наполнил свое письмо фразами, каждое слово которых является оскорблением ему же самому.

Но так как подобное предположение приводит к нелепости, то ясно, что мы имеем дело с подложным письмом. Таким образом, главная часть моей задачи выполнена. Отныне никто не будет иметь возможности назвать это «письмо» подлинным письмом Исполнительного Комитета «Народной Воли».

Посмотрим, однако, кого это «письмо» выставляло невежественными и даже лживыми людьми. Например, на стр. 148 говорится: «Фактически же действовать в крестьянстве нам до сих пор приходилось очень мало, теперь же несколько больше». Это сказано о «Народной Воле» в феврале 1882 года, когда силы партии были повсеместно подорваны арестами 1881 г. Ясно, что это—ложь!

На кого «письмо» стремилось наложить печать низких и своекорыстных побуждений, кого оно выставляло почти маниаками захвата власти?

Находившийся тогда в Москве Исп. Комитет «Народной Воли» состоял из шести лиц. Это были: Богданович, Теллалов, Грачевский, Мария Ник. Оловенникова, Тихомирова и Стефанович. Убедимся, насколько их моральный облик подходил к тому, что рисует нам «письмо» из сборника «Группа Освобождения Труда».

Юрий Ник. Богданович был талантливый человек, которому удавалось наложить печать дарования на всякую работу, за которую он брался. Исполнение роли продавца сыров в лавке Кобозева несомненно требовало большого таланта, и специально неописуемо трудна была своей неожиданностью сцена полицейского обыска 28 февраля 1881 г., т.-е. накануне 1 марта. Малейшее проявление тревоги, даже малейшее волнение могло погубить Богдановича и весь план цареубийства. Но, очевидно, Юрий Николаевич был одарен гениальным самообладанием. Он сдержал всю тяжесть обрушившегося на него события, как-будто ничего особенного не случилось, как-будто он поверил

[1] Статья помечена 8 декабря 1881 г.

в истинное назначение санитарной комиссии, и, таким образом, он спас себя и дал возможность состояться событию 1 марта.

В Москве Богдановичу не сиделось. Крупных задач не предвиделось, а с текущими делами справлялись другие члены Комитета. Тогда в голове Юрия Николаевича сложился план поездки его по Сибири с целью основать повсеместно в городах пункты революционного «Красного Креста» для материальной поддержки ссыльных и для помощи им при побегах. Этот план был выполнен с изумительным успехом. Сеть предполагавшихся пунктов была основана, и «Красный Крест» начал функционировать. Не вина сибиряков и Богдановича, если осенью того же года большая часть организации была провалена при обыске у Яковенки в Москве, который не сумел скрыть незашифрованные еще сибирские адреса.

В апреле 1882 года Юрий Николаевич был арестован в Москве под именем Прозаровского. В квартире у него была небольшая мастерская художника, так как он хорошо владел карандашом и кистью. После суда (по процессу «17-ти») Богдановича заперли в Алексеевский равелин, а позднее перевели в Шлиссельбургскую крепость. Здесь, предвидя скорую свою смерть, он написал известное свое стихотворение, носящее название «Завещание Богдановича», которое всегда будет рождать в сердцах молодежи мужество и смелость для борьбы с угнетением и несправедливостью.

Теллалов был одним из основателей Московской группы «Народной Воли», одним из деятелей среди московской учащейся молодежи, любимым учителем ее в вопросах социализма и революционного движения в России. Надо думать, что человек, неотразимо влиявший на окружавшую его среду своими высокими моральными качествами, сам образованный и полный энтузиазма и веры в лучшее будущее России, надо думать, что такой человек знал, чего сам хотел и чего добивались «Народная Воля» и ее Исполнительный Комитет.

Точно так же, как Теллалов, Мария Ник. Оловенникова-Ошанина была одним из основателей Московской группы «Народной Воли». С самого основания партии до своего от'езда в Москву весной 1880 г. она жила в Петербурге и имела неоспоримое влияние на выработку программы и деятельности «Народной Воли». Ей же принадлежала видная роль во время московского периода Исполн. Комитета. Все писавшие о ней признавали ее выдающуюся образованность, ее начитанность, большой ум и влияние на идейное направление ее современников из революционного мира.

Биография Грачевского в самых кратких словах такова: с целью пропаганды в крестьянстве он, сам уроженец Саратовской губернии, стал в своем родном краю сельским учителем и оставался им в течение двух лет. Когда ему было запрещено учительствовать, он отправился на юг России, прослужил несколько лет на железных дорогах в качестве слесаря, кочегара, машиниста, в то же время занимаясь пропагандой среди рабочих.

Попав в административную ссылку в Пинегу, Грачевский решился бежать и прошел пешком один с единственным проводником—маленьким компасом—тундры и лесные дебри Архангельской губернии. Хотя с перерывами и остановками, все же он добрался до Петербурга. Здесь он присоединился к «Народной Воле» (1880 г.), работал и сражался в первых рядах ее. Вскоре он приобрел необходимые знания в деле производства взрывчатых веществ и стал одним из помощников Кибальчича в технической комиссии. Часть снарядов для вооружения метальщиков 1 марта 1881 года была сделана руками Грачевского. Во время суда над нами он переслал мне рукопись, содержавшую подробное описание приготовления динамита и нитроглицерина, а также чертежи и описание устройства метательных снарядов. Эти документы были переданы на волю.

Финал жизни Грачевского не имеет себе подобного не только в истории русского революционного движения, но и вообще в истории человечества. После суда Грачевского, Богдановича и Теллалова перевели в Алексеевский равелин, а в 1884 году—в Шлиссельбург. Здесь режим, установленный Александром III и его прислужниками, был таков, что смерть всех заключенных являлась неизбежной и составляла только вопрос времени. Грачевский решил положить конец пыткам и бескровной смерти, которой предавались заключенные. Он сжег себя, облив белье на себе и арестантский халат керосином из маленькой лампочки, которая имелась в каждой камере. Стража заметила горение живого человека, жандармы бросились за ключами, но они были у смотрителя, который куда-то ушел. Когда, наконец, отперли камеру, где на полу лежал Грачевский, об'ятый пламенем, спасти его было слишком поздно. Он умер через два дня в неописуемых страданиях. Он умер, но ценой его смерти были спасены жизни наших дорогих шлиссельбуржцев. В системе содержания заключенных в Шлиссельбургской крепости наступил перелом. Не только питание было улучшено, но были разрешены совместные прогулки, открыты мастерские для работ; тюрьма перестала быть склепом живых мертвецов. Главным образом, эти преобразования были вызваны героической смертью Грачевского. А теперь ставится вопрос, годился ли этот стальной человек для роли низкого глупца, какими подложное письмо силится выставить членов Исполнительного Комитета, находившихся в Москве в феврале 1882 года?

Перейдем к анализу личности Тихомирова. Не подходит ли он к тому отпечатку, который остается в представлении читателя от изображений подложного письма? Мы видели, что другие члены Комитета московского периода были люди с прямыми, открытыми характерами, с чрезвычайно сильной волей, которые смело ставили себе цели жизни и напрягали все силы для их достижения. До известной степени Тихомиров составлял исключение из этих лиц. Его характер был менее резко выражен, сила воли иногда казалась в нем надломленной. Но настолько прямоты, искренности и честности было в Тихомирове,

что никогда он в своих статьях в органе «Народной Воли» не отступал от направления, которое вырабатывали Комитет и сама партия «Народная Воля». Его литературный талант, как автора «Письма Исполнительного Комитета к Александру III», в свое время был признан всей читающей Россией. Его слава выдающегося писателя покоилась, кроме того, на том, что ему принадлежала большая часть передовых статей «Народной Воли». Но, может быть, враги «Народной Воли» будут утверждать, что все это было до марта 1881 года, а потом Тихомиров покатился вниз по наклонной плоскости, которая для него кончилась позорною ролью ренегата и монархиста. Однако, факты опровергают такое мнение. Падение Тихомирова началось не ранее 1887 года, а в 1883 году, между прочим, он поместил в сборнике, изданном в Женеве под названием «На Родине», свои примечания к автобиографии А. Д. Михайлова. Никто, читавший эти примечания, не станет отрицать, что они принадлежат перу талантливого писателя. В начале 1884 года в Париже Тихомировым была напечатана известная его статья по поводу убийства Судейкина и измены Дегаева. И в том же году, также в Париже, вышла в свет на французском языке его книга: «Conspirateurs et Policiers». Во все это время, вплоть до своего падения, Тихомиров оставался добросовестным и выдающимся вожаком партии «Народная Воля».

Теперь обратимся к Я. В. Стефановичу, вернувшемуся из заграничной эмиграции в сентябре 1881 года и тогда же принятому в члены Исполн. Ком. С того времени до своего ареста он оставался жить в Москве. На других народовольцев, только-что помянутых мною, он мало походил. Он прямо и откровенно никогда не действовал. Если он говорил о каких-либо планах в будущем, вы никогда не знали, который из них он выберет; если он говорил о своем намерении, каком бы то ни было, вы не могли быть уверены, что оно не за сто верст от его действительного намерения. Но углубляться в психологию Стефановича не входит в мою задачу.

Мы ищем автора подложного письма, и в этих поисках нам поможет Л. Г. Дейч. В своей статье в № 8 «Пролетарской Револ.», на стр. 14, он пишет: «Осенью того же года (1881) мы из одного письма Стефановича узнали об их (народовольцев) намерении—не больше не меньше, как захватить в свои руки власть». И далее на той же стр. 14: «Стефанович в своих письмах сперва лишь глухо стал намекать на имевшийся у народовольцев какой-то особенно важный план, о котором пока преждевременно заявлять открыто; а затем в декабре или январе он сообщил нам, что Исполн. Комитет задается целью захватить власть в свои руки». И далее, на стр 15: «Но в феврале 1882 года мы получили обстоятельное письмо от Исполн. Комитета, в котором под большим секретом нам сообщалась неподлежавшая опубликованию и сколько-нибудь широкому распространению «тайная цель»—намерение захватить власть».

Итак, с самого своего прибытия в Москву Стефанович извещает своих женевских друзей о намерении народовольцев захватить власть в свои руки. Затем, уже не в одном письме, а вообще «в своих письмах» намекает и «сообщает» о том же предмете, и так продолжается зимой—«в декабре и январе», пока, наконец, в феврале 1882 года появляется само письмо Исп. Комитета. На этот раз Л. Г. Дейч становится скуп на слова и не договаривает, что это письмо прислал ему также Стефанович. Но это само собой разумеется, так как никто другой из членов Комитета с женевскими эмигрантами не переписывался, ибо общих дел у них не было.

Боюсь утомить читателя, но по необходимости приходится еще на несколько минут занять его внимание тем же предметом. В конце стр. 14 Дейч пишет: «Эта задача (т.-е. захват власти со стороны Исп. Комитета) представлялась ему (Стефановичу) вполне осуществимой, так как будто бы решительно все сколько-нибудь прогрессивные слои населения только и ждут этого акта». А далее на стр. 15 (после сообщения о намерении Исп. Комитета захватить власть): «Считая Стефановича человеком чрезвычайно уравновешенным, нисколько не склонным к увлечениям и оптимизму, мы были поражены, когда прочли это сообщение. Несмотря на спокойствие и практичность, он, очевидно, все же поддавался окружавшей его среде».

Таким образом, одним размахом пера Стефанович сообщил своим друзьям две неправды. Одна—что Исполнительный Комитет думает немедленно совершить переворот; вторая—он, Стефанович, разделяет мнение Комитета, что переворот следует совершить. И друзья ему поверили.

Ясно, что Стефанович не считал себя обязанным говорить правду ни своим врагам (в данном случае народовольцам), ни своим друзьям. Такое свойство говорить неправду по всякому поводу и без повода считается признаком «аморальной натуры». Но этот вывод об аморальности Стефановича является доказательством того, что он и есть автор подложного письма Исполнительного Комитета.

Дело в том, что в непосредственной близости Комитета не было другого аморального человека, который решился бы злоупотребить его доверием и отправить подложное, в высшей степени компрометирующее письмо от его имени с поручением разослать это письмо именно тем лицам, мнением и дружбой которых Комитет особенно дорожил. Это были эмигранты—Лавров, Кропоткин и Кравчинский. Итак, автор подложного письма найден. Это не кто другой, как Я. В. Стефанович. Помечено письмо: «Начало февраля 1882 года». Стефанович арестован в Москве 6 февраля 1882 г. Следовательно, дата не может служить опровержением того, что письмо писал и отправил именно он.

Решив сфабриковать свой памфлет на «Народную Волю», Стефанович нуждался в подходящей теме. Писать о русских делах? Но они

мало известны эмигрантам. К тому же, они чаще всего окрашены в траурные цвета и носят на себе следы трагизма. Для глумления это плохой материал.

Совсем иначе обстоит дело с конгрессом в Хуре, где П. Б. Аксельрод добровольно выступил защитником «Народной Воли». При удачной обработке этого сюжета можно было достичь больших результатов. Надо сыграть на оскорбленном самолюбии эмигрантов, возбудить страсти, а под шумок выставить идею о государственном перевороте, как задачу ближайшего времени. Это подымет на дыбы эмиграцию. В волнах негодования против «Народной Воли» погибнут все симпатии к ней, и эмиграция перестанет прославлять ненавистную партию.

Так должен был рассуждать Стефанович, решив пустить в оборот свое облыжное письмо. И эти соображения правдоподобны; иначе рассказ, хотя бы искаженный, о Хурском конгрессе не мог бы вызвать среди эмигрантов той бури, на которую рассчитывал Стефанович. Вопрос о Хурском конгрессе был искусственно взмылен, а рядом с ним поставлен другой, несравненно более серьезный; это—вопрос о захвате власти деятелями «Народной Воли». Так как эмигранты сочли письмо, которое, в сущности, целиком должно быть отнесено к «желтой прессе», за подлинное, то народовольцы предстали перед их глазами разукрашенными всеми свойствами, которыми наделило их «правдивое» перо Стефановича.

Автор подложного письма попадал в цель без промаха. Он безошибочно рассчитал впечатление, какое произведут на эмигрантов отравленные слова его произведения. Свидетельством того, как подействовало подложное письмо на С. М. Кравчинского, являются два его письма, так любезно опубликованные Л. Г. Дейчем в новейших его писаниях.

Стефанович знал, что сеет ветер, но был совершенно спокоен. Бурю пожнут его политические враги, с которыми он соединился под видом друга и товарища.

А теперь несколько слов по адресу Л. Г. Дейча. Находя, что мне удалось разоблачить автора подложного письма, а также все обстоятельства, сопровождавшие появление этого письма, я считаю наш спор решенным и прекращаю всякие разговоры с Л. Г. Дейчем.

12 июня 1925.

Приложения к статье «Мои воспоминания о Каре».

Список политич. каторжанок, отбывавших каторгу на Каре.

Они перечислены в том порядке, как прибывали на Кару.

1. Екатерина Константиновна Брешковская.
2. Наталия Александровна Армфельд.
3. Софья Александровна Лешерн-фон-Герцфельд.
4. Екатерина Петровна Сарандович.
5. Мария Павловна Ковалевская.
6. Мария Игнатьевна Кутитонская.
7. Юлия Осиповна Круковская.
8. Виктория Викторовна Левенсон.
9. Софья Наумовна Шехтер.
10. Елена Ивановна Россикова.
11. Мария Александровна Коленкина.
12. Софья Николаевна Богомолец.
13. Елизавета Николаевна Ковальская.
14. Софья Андреевна Иванова.
15. Фанни Абрамовна Морейнис.
16. Антонина Игнатьевна Лисовская.
17. Татьяна Ивановна Лебедева.
18. Надежда Семеновна Смирницкая.
19. Анна Павловна Корба.
20. Прасковья Семеновна Ивановская.
21. Роза Львовна Прибылева.
22. Анна Васильевна Якимова.
23. Мария Васильевна Калюжная.
24. Мария Александровна Ананьина.
25. Неонила Михайловна Салова.
26. Генриета Николаевна Добрускина.
27. Екатерина Михайловна Тринитатская.
28. Надежда Константиновна Сигида.

Отбывали сроки каторги в Вилюйске и на Каре были в вольной команде:

29. Вера Самойловна Гассох-Гоц.
30. Евгения Яковлевна Гуревич.
31. Анисья Давыдовна Болотина.
32. Полина Исаевна Перли.
33. Наталия Осиповна Коган-Бернштейн.

Об'яснения к плану № 1.

1. Камера, в которой жила долгое время и умерла Т. Ив. Лебедева от туберкулеза.

2. Камера, в которой жила Елена Ивановна Россикова, где впервые проявились признаки ее психического расстройства.

3. Камера, в которой жила одно время Н. А. Армфельд, умершая затем от скоротечной чахотки в 1887 году.

4. Камера, где долго жила С. А. Лешерн, умершая в первый год поселения от хронической болезни легких.

5. Камера, где долго жила С. Н. Богомолец, умершая на Усть-Каре от туберкулеза легких в начале 1892 года.

6. Камера, где А. И. Лисовская заболела туберкулезом гортани в феврале 1885 г. Она умерла в октябре следующего года в вольной команде на Нижне-Карийском промысле.

9. Камера, где жила Е. К. Брешковская, когда отбывала вторично каторгу на Каре за побег из Баргузина.

10. Входная дверь.

11. Крыльцо.

12. Скамейка, табуретка и стол, где мы обедали и пили чай. Табуретки приносились из камер.

13. Стол, где приготовляли обед.

14. Скамейка, где мылась посуда и ставилась чистая.

15. Щель в стене, где прятались 2—3 листа бумаги, перо и маленький пузырек чернил. Это было подсмотрено из коридора дежурным жандармом, в чем он очень каялся, когда почувствовал себя обиженным комендантом Николиным.

16. Помещение жандармов.

17. Жандармский дворик без выхода.

18. Тюремный двор без выхода и доступа.

19. Место, куда мы летом приносили стол, скамейки и табуретки и где мы проводили тогда дни за книгами и работой.

20. Тюремный двор.

21. Место, где подвергали уголовных арестантов телесному наказанию, откуда крики истязуемых были слышны у нас на дворе и в ближайших камерах, вследствие чего у нас поднималось волнение и вызывался смотритель.

22. Домик, носивший название «Карцера государственных преступниц».

23. Галлерея, где разрешалось нам сидеть летом.

24. Амбар, подожженный в 1885 году заведующим Карийской каторгой и его служащим по его приказанию, за что оба были преданы суду.

25. Место, где происходили очень часто экзекуции над уголовными арестантами.

26. Сопки, которые одни услаждали наши взоры в продолжение многих лет.

Об'яснения к плану № 2.

1. Камера, в которой помещались: Салова, Добрускина, Ковалевская, Смирницкая, Калюжная и Тринитатская.

2. Камера, в которой помещались: Лешерн, Ивановская, Якимова, Ананьина, Сигида и Корба.

План тюрем в Усть-Каре

План № 1.

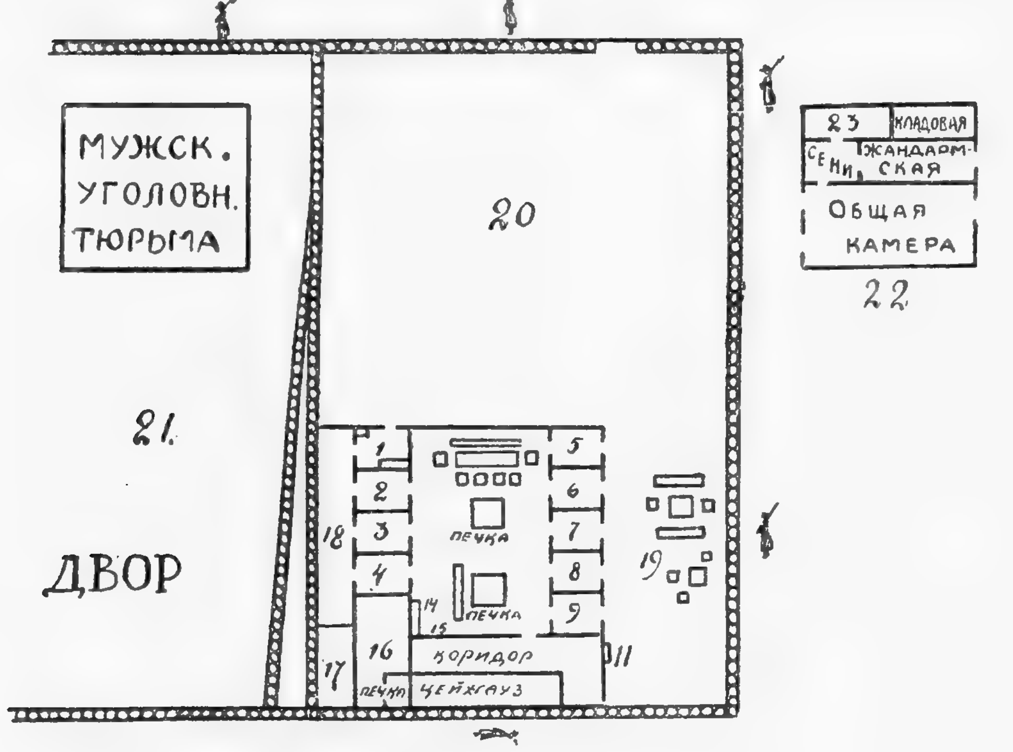
24

26

ДОМ СМОТРИТ. УГОЛОВ. ТЮРЕМ

25 КОРДЕГАРДИЯ

АМБАР



План тюрьмы государственных преступниц, 1888-1890. Так называемая тюрьма „на Отряде или Новая Тюрьма"

План № 2



ДОРОГА С УСТЬ-КАРЫ НА НИЖНИЙ ПРОМЫСЕЛ

← до Усть Кары 11 в. До Нижнего 4 версты →

КОРДЕГАРДИЯ

КАЗАРМА

КОНЮШНЯ

САРАЙ

ПОМЕЩЕНИЕ ЖАНДАРМОВ

ДВОР БЕЗ ВЫХОДА

1

КУХНЯ

КУХНЯ

СЕНИ

2

ТЮРЕМНЫЙ ДВОР

ПРОУЛОК

СОПКИ

Именной указатель.